



Ахарон Мегед • ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО

Ахарон Мегед

ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО



Ахарон Мегед

ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО

עבריה וצבי עופו
קבוץ יפעה



АХАРОН МЕГЕД

Ахарон Мегед
ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1977

אהרון מגד

החי על המת

THE LIVING ON THE DEAD

a novel by Aharon Megged

עיריית חיפה
מערכת תרבות חסנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

342

Перевел с иврита В.Глоzman

Редактор А.Гинзай (Газов-Гинзберг)

Художник Л.Ларский

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספריה-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

דפוס "גרפ-פרס" בע"מ, ירושלים

OCR Давид Титиевский, июнь 2021 г., Хайфа

ПРЕДИСЛОВИЕ

Два поколения

Сквозная тема произведений Ахарона Мегеда — пропасть, разделяющая поколение пионеров-халуцов, проложивших путь к созданию Государства Израиль, и городскую молодежь Израиля пятидесятых—шестидесятых годов.

И, пожалуй, глубже всего эта тема раскрывается в романе "За счет покойного" (1965). Процесс воплощения идеалов в жизнь, который всегда и везде влечет за собой "моральный износ" социальных и духовных ценностей, показан здесь на фоне предшествовавшей борьбы за возрождение еврейского народа на древней родине; и чем стремительнее происходит этот процесс, тем гуще становится тень, которую отбрасывает реальность на яркие образы богатырей недавнего прошлого.

Молодой писатель, типичный представитель тель-авивской богемы начала шестидесятых годов, получает заказ: написать биографический роман об одном из выдающихся представителей Третьей алии. Третья алия — это люди, приехавшие в двадцатые годы в подмандатную Палестину: те, кто осваивал земли, основывал сельскохозяйственные поселения, создавал организации самообороны, помогал нелегальной иммиграции, боролся против английских властей — словом, делал все, чего требовала преданность идеалам сионизма.

Писатель начинает собирать материалы для романа: читает документы, разговаривает с друзьями и соратниками своего героя, который к этому времени уже умер. Но чем дальше продвигается его работа, тем острее он чувствует разрыв между идеалами, за которые боролся его герой, и сегодняшней действительностью. Он чувствует, что и сам чужд своему герою: нет общего языка между ним, проводящим жизнь в тель-авивских кафе, и тем человеком, у которого и личной жизни почти не было. Он начинает видеть себя его глазами. И так как собственный образ в этом освещении выгля-

дит не слишком привлекательно, то и к своему герою он начинает испытывать двойственное чувство. Разумеется, он не может не чувствовать восхищения, даже благоговения перед его цельной личностью. Но каким наивным он ему кажется — и как смешна эта наивность, эта детская вера в осуществимость идеала, эта прямолинейность, это существование в одном единственном измерении!

В результате сложных внутренних отношений, возникших между ним и его героем, писатель оказывается не в состоянии написать свой роман.

Но Мегед понимает не только психологию изображенного им "собрата по перу"; ему ясны психологические, социальные и исторические процессы, сопровождавшие становление Государства Израиль. Все это он показывает в двойном преломлении: через образ героя Третьей алии, каким видит его молодой автор, у которого пошатнулась вера в ценности, казавшиеся предыдущему поколению неизблемыми.

С тех пор прошло двадцать лет. Государство в поисках новых путей созрело, развилось и окрепло. Представители его духовных, творческих сил — в науке, литературе и искусстве, — отделившись от прошлого на расстояние, позволяющее разглядеть его в некоторой исторической перспективе, успели уже в процессе своих исканий взлелеять ростки новых ценностей. Образы "богатырей прошлого" уже не парализуют творческую мысль — напротив, они нередко являются источником вдохновения.

Роман Мегеда, в котором сосуществуют два временных пласта, построенный как музыкальная fuga, читается с огромным интересом. Несмотря на свою кажущуюся беспросветность, он помогает читателю осознать психологическую последовательность явлений и разобраться в запутанных дебрях интеллектуальных исканий израильской интеллигенции с точки зрения человека конца семидесятых годов.

И.Орен (Надель)

Третье заседание закончилось несколько часов тому назад. Всякий раз, когда мой адвокат выпаливал в воздух выражение "свобода творчества", меня охватывало дерзкое желание заткнуть ему глотку, закричать: "Нет, не то! Тут как раз свобода *не творить!* Я не согласен, ни в коем случае не согласен обменять эту свою свободу на... И Бога ради, да ведь нельзя же меня *заставить*, нельзя же...". Но нет. Никогда я не смогу сказать это там, в зале суда, потому что сейчас же полетит в меня стрела с трибуны обвинителя, острая, как перо, которым он метит мне меж глаз: "Но ведь подпись-то *твоя!* Твоя подпись!" Да, он прав; так же, вероятно, думает и судья, изредка косящийся на меня из-под покрыва своей мантии, похожей на перепончатые крылья; его скептический взгляд, полный слепой подозрительности, заставляет меня опускать глаза в землю. Видимо, так думает и немногочисленная публика, с удивлением глядящая на эту мою попытку защищаться в бою, исход которого предначертан заранее. Я уверен, что так же думает и мой защитник, этот лысый очкарик, толстоголовый и толстопалый, обитающий в паутине собственных доводов, цепляющийся на нее горы пустых речей (по давней привычке в минуты неловкости он проводит рукой по лысине, словно приглаживая спутанную шевелюру — зрелище, при виде которого я всякий раз краснею); эта история и тянется, в основном, по его вине, из-за его дурацкой манеры вновь и вновь откладывать суд, пока, якобы, не иссякнет у них порох... Да, все они правы. Признаю. И если я сейчас пишу приводимые далее строки, то не

в силу заблуждения, что, мол, они когда-нибудь послужат оправдательным документом, а для того, чтобы справедливость накололась на истину. Да, я хочу видеть ее упавшей к ногам истины с мечом меж лопаток.

15 июля состоится следующее заседание; а это значит, впереди у меня пять недель. Мне следует успеть до тех пор, пока не вынесен приговор, после которого у меня будут отняты последние гроши, закупорятся мои источники, захлопнется предо мною дверь моей комнаты. Сейчас время в моих руках — с утра до вечера, с вечера до полуночи. Я способен писать по двенадцать, по четырнадцать часов в сутки, если только мне не помешают. Не нужно выкапывать слова — только выкатывать их, как горох из кучи, и выстраивать в строки. Мне следует отступить на два года в прошлое и рассказать — со всей искренностью — как развивались события, день за днем, с тех пор, как я взял на себя это разрушительное обязательство, и до этой вот минуты, когда я оказался под судом за злоупотребление доверием, злоупотребление чужими средствами, труположество, разврат, плагиат и просто за кражу. Я говорю "со всей искренностью" и в то же время знаю, что искренность, как невинная девушка, тоже лицемерна по своей природе, кокетничает, подкупая этим честных простачков; даже если просто станет в сторонке — не подмигивая, не строя глазки, ничего не зная — она *знает*. И ты тоже знаешь. И все-таки я дам событиям говорить самим за себя. Не стану делать их ушербными с тем, чтобы они вызвали милость к себе. Хватит с них того, чем они были, и да будут мои последние дни не хуже этих!

Пятого мая, чуть больше чем два года тому назад, состоялась встреча у могилы Давидова. Седьмого июня того же года я развелся с Ахувой...

Так намечались вехи этой истории, так это осталось в моей памяти: в один из вечеров между двумя названными датами, когда я сидел за письменным столом, а

позади меня, в углу, в кресле — сидела Ахува, спокойная, уверенная в своем муже, и вырезала бумажные буквы для своей группы в детском саду, я сказал, как бы между прочим, не поворачивая к ней головы: "Настало нам время развестись, не так ли?" Что-то у меня внутри оборвалось. Шоковая тишина, бледная как известка, воцарилась в комнате, как только прекратился скрежет ножниц. Слышался лишь шорох мотылька, бьющегося о лампу, свисающую с потолка. Я не смел оторвать глаз от листа бумаги, лежащего передо мной, и не видел, проявила ли она как-нибудь свои чувства, застыли ли у ней слезы в глазах или хлынула кровь из сердца. После нескольких долгих минут снова послышалось чирканье ножниц, и она что-то тихо произнесла. Мне показалось, что она сказала "сволочь". — "Что ты сказала?" — спросил я, охваченный приятным чувством, что именно сейчас, вроде бы, предстоит то "основательное разбирательство", которым я давно бы рад заняться, вооруженный до зубов победными доводами. Но она тихо повторила, очень тихо, так что с меня, как всегда, свалились блестящие доспехи: "Я сказала: как хочешь". (Ах ты, покорная душонка! Если б заплакала, если б раскричалась, запустила бы в меня ножницами!) Лист лежал передо мной, а на нем не было написано ни фразы; я чиркал по нему пером, как это часто бывает со мной — слишком часто — чертя лишь геометрические формы: треугольники, круги, пирамиды, налегающие одна на другую. А спустя еще несколько минут спросила, снова очень тихо, не прекращая щелкать ножницами: "Когда?"

"Когда" — это слетело с ее столь мягкого, столь нежного, как перышко, рта, что я готов был вскочить с места, броситься к ножкам кресла, вцепиться ей в руку и сказать: "Ох, хватит. Я просто валял дурака..." Но вместо этого я сказал голосом, рассыпающимся на черепки: "Назначим время". Я уже знал, что жребий брошен, словно тяжелый камень, в эту тишину, и переиграть невозможно. Я напрягал свое сердце, чтоб затвердело, как кулак. Позже послышался шорох бумаг,

слетающих с ее колен; она встала, подошла к кровати и стала снимать платье, готовясь ко сну. И только потом, лежа возле нее в темноте, я почувствовал, что ее щеки влажны.

Слезы не размягчают меня. Я съеживаюсь, выстав-
ляя им колючки. Становлюсь злым, противным. Я по-
старался отвлечься от нее. Подумал о Давидове. О пред-
стоящих поездках по стране. О предполагаемых встре-
чах с прежними временами, с прежними людьми. О
большой *авантюре*, в которую я сейчас пускаюсь,
словно отправляясь в страну, знакомую мне из грез,
но еще ни разу не виденную, — и на каждой извилине
дороги разеваю рот от изумления. О чем-то непред-
виденном, что случится на моих глазах. Неожидаемости
со следами тайн. Да, и о славе — о том, что буду ска-
кать на коне погибшего рыцаря, неся его знамя в руке!
Эгей, Давидов, — таким я его видел впервые, как-то,
много лет назад: бегущим с соляной тележкой по соля-
ному полю, искрящемуся в полуденном свете — высо-
кий цыган с глазами-угольками и дегтярным чубом на
лбу... Или лунатической ночью голосащим раздольную,
как степь, песню... Эгей, великий поход, в который я
отправляюсь сейчас, завтра же...

— Пойдем туда завтра.

Дрожь пробежала по мне. Ее голос в темноте — ти-
хий, как песок, пропитанный дождем — сбросил меня
с коня ударом тупого деревянного меча.

— Куда? — я сдавливаю собственную дрожь.

— В раввинат, — ответила она мертвым голосом. —
Это ведь там делают, а?

Эх, "это ведь там делают"! — "Что? Зачем? Как опе-
рацию", — подумал я. Словно в больницу, от запаха ко-
торой я слабею. И чего это она торопится? Может, я
еще передумаю. Если она не станет говорить об этом.
Если мы будем молчать, молчать недели, месяцы, и это
решение будет висеть — как всегда — на паутинке, спус-
кающейся с потолка...

— Ладно, — ответил я.

На это она ничего не сказала. Лежала с открытыми

глазами, скрестив руки под головой, пока на ветке возле окна не защелкала одна-единственная птица, издавая жизнерадостную трель, очень дневную; сквозь щели жалюзи подкрадывался к пододеяльнику бледноватый свет.

Эта трель клюнула меня в сердце. "Нельзя же, — подумал я, — нельзя же отплатить ей так, этой молчаливой голубице, два года собиравшей для меня зернышки и подносившей ко рту, принести ее сейчас в жертву — памяти о Давидове..."

Памяти о нем? — После всего, что случилось — после всего, что не случилось — когда я думаю о...

Стук в дверь оторвал меня от писания. Всякий топот на лестнице отзывается во мне в последнее время приливом крови: судейский писарь? Мальчик, посыльный моего адвоката? Почтальон с заказным письмом? Исполнитель из налогового управления? Нет, слава Богу, это была госпожа Зильбер. Пришла именно сейчас, в этот опасный вечерний час — выяснить насчет платы за квартиру.

— Я не помешала? — спросила она от двери.

— Садитесь, — ответил я.

Она уселась на край кровати, расставив колени, и положила розовые руки себе на колени. Всегда кажется, что эта мамаша неопределенного возраста с линиялыми волосами приходит не денег требовать, а доставить себе капельку удовольствия. "Она любит людей искусства", — так говорили мне перед тем, как я въехал на этот чердак, который прежде был обителью престарелого скульптора, скончавшегося в нищете — здесь, на этой кровати, на которой я ворочаюсь по ночам.

— Я только хотела спросить... Вы знаете, теперь уже июнь... — и румянец расцвел на ее щеках: два круглых пятна, которые мгновенно расползлись до самых висков.

Я опустил взгляд, уставившись на среднюю точку между нею и мной, и молчал. Молчать я был готов до

тех пор, пока она не околеет. "Эта мелкая пакостность во мне" — если воспользоваться монетой, которую бросила как-то Ахува к моим ногам — побуждала меня изводить ее молчанием за то, что она помешала мне писать. Пусть проникнется до самой шеи, до ушей чувством неловкости.

— Вы же знаете, что у меня суд, — сказал я наконец с важностью.

— Я только спросила, — она теребила край полосатого платья. — Конечно же, я знаю...

И покраснев еще больше:

— Я вот не понимаю, такой талантливый человек, как вы... Могли же вы просто... Зачем давать им повод?

Мои губы свела улыбка. (Что говорит *народ*? Что говорит *народ* об этом моем падении?...)

— Вы знали Давидова? — спросил я.

— Не лично, разумеется. Как все. Я знаю, что это была большая история, этот человек. Именно поэтому я и думала...

Затем она одарила меня улыбкой, заигрывающей и виноватой:

— Простите, что я вмешиваюсь, но слишком уж вы много пьете. В этом ваше несчастье.

Тут она встала и разгладила подол, словно стряхивая с него кучку картофельной кожуры.

— Я заплачу, не волнуйтесь, — сказал я, открывая ей дверь на открытую площадку.

— Я и не сомневалась в этом ни секунды, господин Йонес! — обиженно ответила она, и поспешила исчезнуть, стуча башмаками по ступенькам до самого низа.

Давящий жар лежал на крыше, а возле двери стояла, торча из пьедестала, высокая статуя, завернутая в тряпки, затвердевшие от древности и присохшие к глине. Незавершенный труд скульптора Полищука. Эта мумия, одетая в мешок, с которой я никогда не пытался содрать чехол, чтобы обнажить ее лицо.

Седьмого июня я развелся с Ахувой, и только этим утром обратил внимание на то, что и вчера, в тот день, когда я начал писать эти страницы, тоже было седьмое июня; насмешливые размышления вызывает во мне тот факт, что жизнь моя протекает двухгодичными периодами: два года от развода и до сего дня; два года супружества с Ахувой; два года учебы в университете; два года службы в армии; два года в кибуце... и так я могу продолжать, спускаясь по лестнице собственного восхождения скачками в два года до четвертого года моей жизни, на исходе которого у меня умер отец; или до второго года, когда мои родители уехали из Кфар-Гилеади, везя меня, уложенного в ванночку, на телеге на юг...

Нет, меня не мучит раскаяние из-за этого развода. На это обречен был мой брак с самого начала, так было, вроде бы, предназначено ему свыше; мы жили — ни то, ни се, ни холодно, ни жарко. Я полагаю, что и Ахува не была счастлива в этом браке, хотя и чувствовала себя беззаботно в тот вечер, перед тем, как услышала эту вскользь брошенную злодейскую реплику: "Настало нам время развестись, не так ли?"... И как это у нее еще хватило духу дорезывать эти бумажные буквы? Ведь никакие бури не предвещали этого землетрясения. А может, я и ошибаюсь. Может, она его предчувствовала, ждала его каждый день, каждый час, даже и заждалась слегка. Может, шептала про себя: "Ну, вот, сейчас, сейчас", — пока не наступило это самое "сейчас", и она приняла его, как приговор. Я не припоминаю никаких ссор между нами. Помню, что я *изнывал* по ссорам: например, возвращаясь домой за полночь после праздных ночных скитаний, я ждал, в полной боевой готовности, что она захлопнет передо мною дверь или расколется горшок о мою голову, или — по крайней мере — станет допытывать меня расспросами... Но ничего такого никогда не случилось. Я входил на цыпочках во тьму, и почти всегда — да, *всегда!* — витала по комнате,

словно пух по гнездышку, ее тихая невинная душа, не знающая тревог. А на утро, подавая мне завтрак, перед выходом на работу в детский сад, она тоже ничего не спрашивала о моем уходе и возвращении. Нет, я вовсе не был ей признателен за то, что она никогда не подозревала меня. Задевалась моя мужская гордость. Я *ненавидел* ее в такое утро, когда она прилежно выполняла обязанности домохозяйки! Я с трудом удерживался от того, чтобы не взорваться: почему ты не подозреваешь меня, ко всем чертям? Откуда ты знаешь, где я был? — Я выпроваживал ее взглядом в детский сад, учреждение, подходящее для таких, как она. А по вечерам... Вечера остались в моей памяти только нервной дрожью в спине от ее вечного присутствия — там, на кресле позади меня; она вырезала бумажные цепочки или буковки, чтобы складывать из них потом изречения типа "человек рожден для труда" или "работа — смысл нашей жизни", эти изречения, из-за которых я возненавидел ее праздники, ее детей, ее работу. Можно ли было обвинять ее в этом молчаливом невинном присутствии? У нас была одна-единственная комната — пусть и просторная — с моим столом, стеллажом, шкафом, кроватью... Но именно поэтому! Вечно слышать эту возмутительную тишину! Часами сидел я за столом с пером в руках, и не занимался ничем, только грыз собственную печень, копил возмущение, до мурашек по спине и жжения в пальцах. Ничего я не писал. А ту главу, которую написал, — одну из причин моего нынешнего несчастья — писал в те дни, когда она уехала в отпуск к своей старшей сестре в *кибуц*.

Нет, я не сожалею о самом разводе. Но все, что сопровождало его — не должно было бы так выглядеть. Я повторяю и подчеркиваю: не так! Если ты режешь птицу, режь ее острой бритвой, а не тупым ножом, и делай это одним взмахом, острым и плавным, раз — и кончено; а не колеблясь, не пиля так, чтобы она билась, полуживая, с надрезанным горлом.

Назавтра, вернувшись из детского сада и подавая мне обед, она спросила, стоя между плитой и столом:

”Ты был там?” — ”Где?” — удивился я. — ”Ты знаешь. Сам говорил”. — ”Не было у меня с утра свободного времени”, — ответил я. Глянув на нее, я увидел, что щеки ее запылали, от них шел мягкий свет, какой исходит от больного, делавший ее красивой и желанной. Ко мне закралось сомнение, не влюбляюсь ли я в нее, именно сейчас. После обеда она ушла — что было не в ее обычае — и вернулась не раньше, чем в десять или половине одиннадцатого. Впервые я тосковал по ней и, сидя за столом, прислушивался к шагам с улицы. Меня охватила паника, когда я подумал, что она может и не вернуться или, кто знает, сделает что-нибудь... Когда, наконец, я услышал скрежет ключа в дверном замке, я почувствовал облегчение, словно она спаслась от беды. Или будто это я ее спас. Когда она вошла, я не встал и не сказал ни слова. Продолжал сидеть, делая вид, что пишу. Но, затаившись, следили за ней все мои инстинкты. И когда я услышал, что она, пошуршав, сняла с себя платье... Да, это я имею в виду, говоря: не так! не так! — Это было что-то вроде прелюбодеяния, низменный разврат! — тихо-тихо, словно кошка к мышке, я приблизился к ней и сжал ее в своих объятиях. Она отдалась — после короткого недоумения — пылая страстью, как и я, будто это была какая-то ворованная, запрещенная любовь. Но насладившись... Это молчание, лежащее навзничь, не знающее, куда себя деть. Эта пустота, насмехающаяся над всяким произносимым звуком. Это мучение, причиной которому не что иное... Нет, лучше уж я не буду продолжать. Помню только жизнерадостную трель в предраассветной мгле, эту нахальную трель, которая будто бы была протестом невинности против обмана, творящегося за окном.

После этого началось вмешательство ее родственников — отца, сестры Геулы. Два-три дня спустя после той ночи, в предвечерний час, послышался робкий звонок в дверь. Открыв, я изумился, увидев его, бледного, с дрожащими губами, в потрепанных брюках, висящих на плетеном ремне, в пропотевшей блузе, словно только что из лавки. ”Ох, только бы его не хватил инфаркт, только не здесь, не на моих глазах!” — молил я.

— Заходите, — сказал я, в то время как он оставался на пороге, удивленно вглядываясь в меня.

Вошел, оглядел комнату, словно отыскивая следы несчастья, как вернувшийся в дом, из которого только что вынесли покойника, уселся на край кровати и словно лишился дара речи. Он был маленьким человеком, хозяином маленькой чемоданной лавки. Когда он стоял в этой лавке, его плечи занимали большую часть пространства. Если он садился от усталости, меня охватывало размышление о том, что когда он умрет, то наверняка уложится в один из своих чемоданов, и так сотрется память о нем. У него было болезненное, изъеденное заботами лицо, а голова болталась, словно от тяжести. Идя, он волочил ноги по тротуару, быстро чиркая башмаками, точно боясь опоздать, так что мы заблаговременно узнавали о его приходе. На сей раз я не уберегся.

— Это правда? Скажи мне, это правда? — промямлил он, тряся головой.

Его водянистые глаза, голубизну которых он оставил в наследство дочери, требовали от меня признания.

— Да, правда, — ответил я в конце концов. Во мне кипел бунт, не против него, а против Ахувы, пославшей его ко мне, чтобы пробудить во мне милосердие, замучить меня угрызениями совести при виде больного, упавшего духом человека, на котором отразились результаты моего злодейства.

— Я не верю... — он нахмурил брови.

Да, я! Я! А что тут такого? Не слыхал никогда?... Он издавал тревожное мычание, что, мол, он вообще не может этого понять, что между мною и его дочерью все было в порядке, не было даже ни единой претензии, даже голоса ни разу не повысили — пример семейной гармонии — а когда он и мама видят нас... И как это ни с того, ни с сего?... "Скажи мне, в конце концов я, твой отец, имею я право знать или нет?... Что случилось?"

Я сжал губы. Решил наказать его за проступок Ахувы, попросившей его вмешаться. К этому делу имеем

отношение только я и она, и не нужно мне судей.

Он поглядел на меня, словно пытаюсь понять, я ли это, или кто-то другой, кого он никогда не знал. Снова спросил — что случилось, не нашел ли я в ней какого-то недостатка, не обманула ли она меня как-нибудь, мешала ли она мне делать все, что заблагорассудится, или может, была недостаточно старательна. Ты скажи, мол, только. Скажи, чтобы я, мол, тоже знал...

Я молчал, как камень. Видел, как голубизна его глаз превращается в зелень, как вспыхивает в них вражда.

— Этим ты ей платишь, — покачал он головой, — за то, что целых два года она кормила тебя, работала на тебя, чтобы ты, здоровый парень, мог сидеть дома, за столом, и писать. Что ты написал, вообще-то, за эти два года? Один рассказ...

— Главу из рассказа, — нарушил я обет молчания.

— Скажи-ка мне, — он испытующе уставился на меня, — когда я читал этот рассказ...

— Главу, — повторил я.

— Когда я читал твоего "Героя нашего времени", — он сокрушенно покачивал головой, — я думал: и вправду, какая честность! И видит здорово, и разит то, что нужно разить. Там было много правды. А теперь, когда я думаю об этом... Ох, Йонес, Йонес, мне кажется, что ты и есть тот самый "герой", да, ты и есть...

Тут он повернулся к двери и вышел.

Часок спустя, когда вошла Ахува, я собирался начать ту ссору, которая была заперта в моих костях все время — все эти тихие дни — и для которой наконец-то нашелся повод. Но и тут она успела остудить мою горячность прежде, чем та набралась сил. Опередив меня, она сказала:

— Тут был папа, я знаю. Я хочу, чтоб ты имел в виду: я не посылала его. Я запретила ему говорить об этом. Только когда он вернулся отсюда, я узнала, что он был у тебя. Я могу лишь пообещать тебе, что это больше не повторится.

Ох, эта чертова невинность, губящая меня своими поцелуями!

Неосознанно или со злым умыслом тянул я с этим делом? — Теперь уже трудно сказать. "Пограничный случай" — как говорят юристы. Я откладывал со дня на день поход в эту операционную. Словно я сказал мимолетному мгновению: "Остановись, до чего же ты отвратительно!" По утрам я занимался подготовкой черновиков книги о Давидове; после обеда таскался в издательство и к адвокату для составления договора. Так или иначе, Ахува худела на моих глазах. Ее мучили тайные сомнения, а спросить меня она не смела. Я же не делал ничего, чтобы подтвердить их или опровергнуть. Я создавал для них, как для глистов, благоприятную среду; днем изводил ее молчанием, по вечерам приглашал прогуляться со мной, чтобы помучить ее догадками о моих тайных намерениях: может, я передумал? или все еще тверд в своем решении? может, я откладываю это на более удобное время? Я относился к ней с прохладцей: то отдаюсь, то приближусь, то оставляю ее на вечер одну, то выйду вечером с ней гулять, обвивая рукой ее талию при виде знакомых... Пугливая надежда, разумеется, мерцала ей по ночам, когда она лежала возле меня — до приходящего им на смену утра...

Еще дважды пытался ее отец взять мою крепость, но был отброшен. Как-то рано утром, как только Ахува вышла из дома... Я был предупрежден заранее — чирканьем шагов по тротуару. Застыл, прислушиваясь. Услышал, как он поднимается по лестнице, останавливается возле двери. Первый звонок, второй, третий (до чего было велико его упрямство!)... Я насчитал шесть звонков. Затем, когда я уже был уверен, что он убрался, я подошел к окну и глянул вниз, полюбоваться его отступлением. Видел, как он останавливается на тротуаре, около дома, задирает голову вверх. Я прижался к стене. На мгновение все же наши взгляды встретились...

В другой раз это было вечером. Поднялся, как вор. Не топал, не шуршал. Но я был осторожен; когда слышался звонок, я подошел на цыпочках к двери и

глянул в глазок: это было его желтое, исчерченное морщинами лицо, размах ушей, редкие, линиялые волосы, тревожный взгляд. Я вернулся в комнату и погасил свет. Затаился. Четыре звонка царапнули тишину. Затем я видел сквозь щель в жалюзи, как он расхаживает около дома — туда-сюда, туда-сюда, иногда останавливаясь и вознося свой тяжелый, озабоченный взгляд вверх. Вдруг он повернулся и поволок свои ноги прочь, одну за другой, знакомым быстрым волоком, словно тащил бревна.

Как-то в полдень появилась — словно знойный ветер, несущий запах галилейских рощ, — старшая сестра Ахувы, Геула. Скинула с плеча соломенную сумочку, уселась на кровати, отерла платком пот с лица, покрасневшего от солнца и дороги, и сказала:

— Ты, разумеется, догадываешься, для чего я сюда пришла. Не пугайся. Я не собираюсь вмешиваться в дела, которые касаются только вас с Ахувой. Я очень расстроилась, когда услышала об этом, но что же можно поделать? Такие вещи случались, случаются и будут случаться. Дай мне, пожалуйста, стакан воды, страшная жара у вас... — обмахнула себя платочком.

Я отправился на кухню, набрал стакан холодной воды и рассудил хладнокровно: эта Геула ушла от мужа за год до нашей женитьбы, будучи матерью двух малышей, и вышла за парня из молодежной алии, который был на шесть лет моложе ее, — что она может мне сказать? Что?

— Тут жарче, чем в Галилее, — хлебнула она из стакана. — Наверно, влажность с моря.

И, поставив стакан на стол и помахав краем платья над коленями, продолжала:

— Смотри, Йонес, я не об Ахуве забочусь. Она устроится. Устроится! Работающая девушка, молодая, красивая, — поверь мне, она не пропадет! Разумеется, будет ей тяжело. Поначалу *всегда* тяжело. Живешь с человеком два года, есть воспоминания, есть определенный осадок, возникла привязанность... Не просто. Но что?...

Ее взгляд наткнулся на глиняную вазу посреди стола. Встала, взяла ее, повертела в руках, подивилась на глазурь, рассказала, что и у них делают что-то вроде этого, потом поставила на место и вновь уселась.

— Значит, как я уже сказала тебе, — продолжила она, — не это меня беспокоит. Не страшно. Она сейчас, разумеется, переживает кризис, но это естественно. *Должно* быть так, без этого мы бы не были людьми, верно? Но посмотри, Йонес... Странно, что я обращаюсь к тебе так... — она улыбнулась мне быстрой девичьей улыбкой. — Но я надеюсь, что ты поймешь меня. Смотри, — сделалась серьезной. — Ты не можешь причинить *такое* папе! Он сломлен! Он разбит! Не человек, развалина! Не знаю, видел ли ты его в последнее время. Поверь мне — я не узнала его! Тень!...

— Ты хочешь сказать, что ради... — начал я.

— Я знаю, знаю, — поспешила она прервать меня. — Разумеется, нет. Само по себе ясно. Не подумай, что у меня такие мелкобуржуазные представления. Я знаю, что ради родителей и все такое — не отказываются от того, что в сердце!... Но я хочу, чтоб ты меня понял. Дай ему привыкнуть к этой *мысли*. Не сейчас. Некоторое время спустя. Я просто боюсь за него... Пойми, это было очень внезапно! Никто не был *готов* к этому! Даже я сама, имея свои взгляды в этом вопросе, — правда ведь? Я сама... Но это и в самом деле уже не важно. Подумай, Йонес, к чему бы мне зря распространяться? Ты человек понимающий, чувствующий... Ты *писатель*! Ты прекрасно знаешь...

Глаза поблескивали на ее смуглом здоровом лице. Забота не омрачала их блеска.

— Кстати, — сказала она. — У нас все получили колоссальное удовольствие от твоего рассказа...

— *Главы* из рассказа, — поправил ее я.

— Главы? Ах, верно. Твоего героя зовут Дорон, точно? Ты видишь — я помню. А инженер — просто классный! Я должна сказать тебе, что сцена Дорона с секретаршей правления в комнате — это *то самое*! На-

столько то самое, что некоторые ребята говорили, что они знают именно такой вот случай! Где ты раскопал такого типа? Ты слушаешь? — четыре или пять лет тому назад пришел к нам один парень...

У нее был теплый голос, вибрирующий, как стебель от летнего ветерка. Тело ее было зрелым, полным, и я устоял на кустики черных волос, выбивавшихся из подмышек, из-под капелек пота. Я подумал о том, что это за парень, которому она доставляет удовольствие.

— Перекусишь что-нибудь? — спросил я.

Нет, она торопится. Встала, повесила сумочку на плечо, прошла взглядом по комнате, разглядела две картинки, висевшие на стене, потом снова обратилась ко мне:

— Я надеюсь, что ты не обиделся. Правда, Йонес? Я просто не могла не сказать тебе этого. Я получила от папы письмо, это был вопль о помощи. Кстати, Ахува вообще не знает о том, что я сюда ходила, и не рассказывай ей.

Глянула мне прямо в глаза и расхохоталась:

— Смешно, что я говорю с тобой обо всем этом.

— Почему смешно?

— Смешно... Я и не знаю, почему... Но по правде сказать, мне очень горько. В самом деле горько. Я-то думала, что как раз вы... Кто бы мог подумать! Вы были настолько... Так вот оно, никогда не знаешь, что делается у человека внутри.

— Йонес, — схватила она меня за руку, — сделаешь то, о чем я тебя просила?

— Постараюсь, — ответил я.

— Отложи это. Хотя на несколько недель. Он очень страдает, этот человек. Но он примирится, в конце концов примирится и он, — пожалела она меня.

Повертелась еще немного по комнате, размахивая сумочкой вовсю, постояла у стеллажа, пробежав взглядом по книгам, а потом приблизилась ко мне:

— Кстати, что у вас в самом деле случилось? Вечный треугольник, а?

— На сей раз нет, — улыбнулся я.

— А, знаем мы вас, писателей! — воскликнула она. — Но вообще-то это не мое дело, — и направилась в сторону двери.

— Идет у вас какой-нибудь хороший фильм? — развернулась на каблуках.

— Хороший фильм? — попытался я припомнить.

— Не важно, — сказала она. — Лучше уж вернусь домой. Детей-то моих ты уже, думаю, больше года не видел.

— Как они поживают?

— О, большие уже! Я должна рассказать тебе хохмочку Цури, — вцепилась она мне в пуговицу. — Иду я с ним вечером в детский уголок, и видим мы падающую звезду. — "Мама, — говорит он мне, — что будет, если все звезды упадут и не останется ни одной звезды на небе, ведь луне будет страшно скучно!" — Хорошо, а? Весь коллектив прямо с ума от него сходит! Приезжай как-нибудь, несмотря на все это... — и радостно подмигнула.

А с порога сказала:

— Отложи это. Сделай это для меня, хорошо? Сам же потом убедишься, что я была права.

Она, Геула, была настолько права, что завтра же утром я отправился в раввинат и назначил срок оформления развода.

3

Я полагал, что напишу эти страницы единым дыханием, а сюжет будет разворачиваться передо мной, как коввер. Нет. Не дают мне. Иногда кровь приливает к моей голове, и я теряю хладнокровие, вспоминая об этом суде. Я швыряю перо на стол и как бревно валюсь на кровать. Лежу и размышляю: как бы мне выбраться из этой ловушки. Моя вина? — Да, моя. Так что же? За ошибку я заплачу тем, что буду прикован к этому при-

видению семь лет? Четырнадцать? Утром снова вызвал меня адвокат и снова повторил все то, что я уже слышал от него несколько раз: "Мы, разумеется, сделаем все, что в наших силах; проиграем здесь — обжалуем в окружном суде, проиграем в окружном — обжалуем в Верховном, но эти процедуры могут затянуться и на долгие годы, а пока что вы погрязнете в расходах, из которых потом не сможете выбраться. Может, все-таки предложим компромисс? Обязуйтесь перед ними, что в течение года, скажем..."

— Я не могу, — сообщил я ему в сотый раз.

— Почему, собственно, не можете? — заблистали передо мной его очки теми искрами изворотливости, которые всегда появляются вместе с зарождением в его нелепой голове очередного способа обойти закон. — Вы ведь вообще никак не обязуетесь относительно *качества*, и даже относительно *точности*! Вы обязались относительно пятидесяти тысяч слов. Напишите им пятьдесят тысяч слов околесицы, которую даже нельзя будет никак использовать — и вот вы уже выходите чистым перед законом!

— Я не могу, — сказал я.

— Ладно, будь по-вашему, — согласился он, поглядев на меня с минуту, как на дурачка, которому он все-таки вынужден выражать почтение. — В конце концов я только исполнитель вашей воли.

(И этот визит обошелся мне в 25 лир.)

А вечером, когда я вернулся к себе в комнату и взялся за перо, — словно рука отсохла. Словно проклятье — если я не вспомню о... Передо мной лежит рванный конверт, и я покрываю его каракулями. Что это за каракули? — цифры, цифры, подсчет долгов, подсчет расходов, остаток сбережений, тающий на глазах — сумма, собранная... да, нечестным путем, по правде сказать.

Я вышел на крышу, подышать свежим воздухом. Море было поблизости, его рев долетал до меня, немного смягчая зной. Звезда процарапала небесную гладь. В далеком радиоприемнике растаяли последние

звуки "Хатиквы". Как же я докатился до того, что сначала сломилось мое перо в уже начатом рассказе, затем взбунтовалось по ходу романа, который я обязался написать, а теперь бастует в повести о ненаписанном романе? Я вспомнил ту главу из "Героя нашего времени", напечатанную в журнале с двумя продолжениями, сделавшую меня известным, так что поговаривали — вот, мол, восходящая звезда... Если бы не эта глава, может, и не было бы всех этих несчастий. После опубликования этой главы (главы, да, главы, а не рассказа! Почему-то все с этим путались, хотя под названием — заимствованным, разумеется, у известного русского произведения — ясно было написано: "Отрывок из романа") я пытался продолжать, но ничего у меня не вышло. Словно сглазили. Я приписывал эту вину добрым глазам Ахувы, всегда погруженным в рукоделие. Я ерзал на стуле. Мне казалось, что эти ножницы обрезают пучки волос с моей головы. Как-то, когда я возвращался с кладбища, с той поминальной встречи, шагая по склону холма через полосы кипарисовых теней, ослепляясь озерами света, блистающими меж тенями, меня поймал Авраам Шай и уговорил взяться за книгу о Давидове. "Я? Почему я? — не скрыл я удивления. — Я ведь и знаком с ним был только так, слегка, два коротеньких эпизода с промежутком лет в десять..." — "Э, тот, кто сумел создать такой изумительный образ Марголина в "Герое нашего времени", — сказал он, положив мне руку на плечо, — разумеется, сумеет воссоздать и образ Давидова, не говоря уже о том, что Марголин — личность вымышленная, а Давидов...". В материале у меня не будет недостатка, сказал он. Сотни людей по всей стране будут готовы помочь. А ведь это и *национальный* долг. Долг настоящего перед прошлым. Долг вершины перед корнем! (Да уж, этот Авраам Шай был человеком из верхов!) А кроме того — ведь и в моих жилах течет что-то от крови Давидова (он подразумевал, конечно же, моего отца, одного из первых поселенцев Кфар-Гилеади, позже одного из создателей Хаганы в Тель-Авиве...).

(Тут я обязан отметить — со смешанным чувством — что легенда о моем отце преследовала меня долгие годы, еще с детства. "Ты не сын ли Шаула Рабиновича?" — с нежностью спрашивали у меня ветераны или поглаживали меня по головке, а я смущенно опускал голову. А если я распускался в школе, учительский взгляд молча обличал меня: "Так, значит, сын Шаула Рабиновича...". И много лет спустя, когда я был взрослым парнем, ко мне обращались иногда "ты не сын ли Шаула Рабиновича?", да только я уже научился отвечать на это, чванливо вскинув голову: "Да, я сын Шаула Рабиновича!", словно говоря: "А что тут такого? Должен я тебе что-нибудь?")

Я отказывался. Что за связь между Марголиным из "Героя нашего времени" и Давидовым? Нет между ними никакого сходства. А какая связь между Давидовым и моим отцом? И почему это я должен брать на себя такой груз? И вообще... Но в конце концов (э, как будто старый, неподвижный осадок встряхнулся во мне и лишил покоя: не является ли это исполнением тайного стремления?...) я размяк и согласился. А согласившись (и почувствовав себя летящим на крыльях этого орла), — настолько возгордился, что набрался духу сказать Ахуве в тот тихий вечер: "Мне кажется, что настало время...".

Стоит, наверное, сказать несколько слов о той главе из "Героя нашего времени", которая принесла мне столько похвал, рукопожатий, похлопываний по плечу; той главе, на которую многие критики, спешащие открыть новые "таланты", набросились, как куры на пшеничное зернышко, выражая свой восторг фразами типа: "Вот восходящая звезда!" — а сам я... Мне кажется, что многие ее поняли не так, как надо, поэтому и расхвалили: им казалось (так толковали и некоторые критики), что я противопоставил Габриэлю Дорону инженера Марголина, сделав их образцами зла и добродетели в нашем поколении. Вот молодой франт, лжи-

вый, испорченный, грешник и соблазнитель, а в противовес ему — опытный инженер Марголин, из лучших представителей третьей алии, прекраснодушный, деликатный, образованный, широко мыслящий — пример чистоты и благородства, которых становится в мире все меньше и меньше. Дорон, якобы, дурной отпрыск мощного, но уже засохшего ствола. Не это я имел в виду. Разумеется, это иронический рассказ; но я удивляюсь, как это никто не почувствовал, что его ирония направлена не только на Дорона, но проглядывается и в образе Марголина, и в то же время — в описании кибуца, в котором гостили эти двое.

Тем из моих читателей, которые пролистали в свое время эту главу (остальные могут пропустить данный отрывок, ничего не потеряв), я хотел бы указать на некоторые детали, возможно, недостаточно подчеркнутые:

1. Приезд Дорона в кибуц, как вы помните, обусловлен предложением, изобретенным самим Дороном: написать роман о жизни кибуца и вместе с тем поработать в поле ("как простой крестьянин"). Принятие его без лишних расспросов (в то время как на самом деле это было для него чем-то вроде убежища, после того как в городе от него забеременела девушка, а он обманул ее и бросил) — уже содержит в себе намек на определенное бессилие жителей кибуца в отношениях с этим красивым "богемщиком", принесшим с собой в провинцию атмосферу чарующего городского декаданса.

2. Тот факт, что за столь короткое время этот зазнайка, изображающий из себя борца и мыслителя, успевает наставить рога полдюжине здоровых парней (и вместе с тем завоевать их доверие) — указывает, с одной стороны, на его авантюристичный характер, но с другой стороны, свидетельствует о слабости того общества, в которое он влился. Напомню, что не только свет, горящий допоздна в его комнате, влечет к нему многочисленных девушек, попавших в его сети; его еще приглашают каждый вечер члены кибуца посидеть

с ними на балконе и жадно впивают — вместе с арбузным соком — его рассказы о тяжелом детстве в поселке, о его странных приключениях в городе, — а заодно и его "оригинальные" суждения о литературе, театре, политике и т. д.

3. Эпизод с секретаршей правления, неприступной девственницей, предупредившей его об опасности, грозящей ее подруге из-за его "аморального" поведения: как вы помните, Дорон приглашает ее вечером к себе в комнату, читает ей несколько страниц из начатого "романа" и просит ее высказать свое мнение. После того, как она роняет несколько прохладных слов о том, что это, мол, слабо, происходит та самая мелодраматическая сцена, в которой он сжигает написанное у нее на глазах, а затем пытается овладеть ею — и овладевает. Этот эпизод произвел большое впечатление, особенно на кибуцников. Однако не является ли это падение "оплота" пуританства в том кибуце поводом для осуждения отдавшей, а вовсе не овладевшего?

4. Меня удивляет, как это ускользнул от многих читателей *сложный, двусмысленный* характер отношений между Г.Дороном и инженером-бурильщиком Марголиным. Верно, что Дорона влекут к Марголину меркантильные соображения — чтобы набраться суждений, которые он мог бы потом выдавать за *свои*; но верно и то, что спустя некоторое время он начинает *искренне* преклоняться перед ним, почти что по-детски, и таким образом обнаруживает способность к подлинным переживаниям. С другой стороны, хоть Марголин и достаточно благоразумен, чтобы видеть недостатки этого юнца, но в то же время он находит в нем и нечто хорошее: мужскую прямооту, скрытую под внешней личиной, — и стремится приблизить его к себе. Следует напомнить, как протекал процесс их сближения: они как бы не замечают друг друга, но именно Марголин первым обнаруживает любопытство по отношению к Дорону и первым приглашает его к себе. Он стремится поделиться с юношей своими суждениями не меньше, чем тот стремится выслушать их. Их беседы — о Данте,

Шагале, Толстом, Агноне — не носят характер одной лишь купли-продажи; по ходу этих бесед Дорона временами посещает настоящее откровение в делах общечеловеческих и его собственных.

5. Провал Дорона у шестнадцатилетней дочери Марголина, приехавшей навестить отца (незрелый плод, возбудивший его аппетит): мне кажется, что описание этого провала не содержит предосудительного оттенка по отношению к Дорону. Напомню некоторые подробности: Г.Д. приглашает Ноа на вечернюю прогулку (испросив сначала согласия ее отца на это). Как только они входят в рощу, она убегает от него, вбегает в комнату к отцу и с плачем валится на кровать. Дорон возвращается домой с чувством *настоящего* провала: именно на свидании, где он ведет себя совершенно искренне, его подозревают в дурных намерениях. Он ждет "наказания", и эти минуты размышления наедине с собой могли бы оказаться поворотными в его жизни...

Если бы, конечно, не дурацкое поведение Марголина: вдруг исчезает вся широта мысли этого просвещенного мужа, и он превращается в ревнивого отца, честь дочери которого, якобы, "задета". Он спешит к Дорону и *приказывает* ему в эту же ночь покинуть кибуц!

6. Тут, как вы помните, происходит сцена с пистолетом. Это, разумеется, фарс; его задача — подчеркнуть "театральность" поведения Дорона, в котором на сей раз больше растерянности, чем злого умысла. Он достает из чемодана пистолет, бросает его на стол и обращается к Марголину: "Застрелите меня, я отвратительный тип..." и т. д. За этим следует "раскаяние" Дорона — смесь надрывной искренности и лукавства, — которое он заканчивает просьбой дать ему еще один "шанс", чтобы "начать жизнь сначала".

7. Мне кажется, что к концу этой долгой главы становится совершенно ясно, что вся ирония тут направлена на Марголина: этот положительный, "добрый человек" — чистейшее порождение расы первостроителей — спешит встать пораньше, подходит к комнате Дорона

и сует под дверь нужное тому письмо, рекомендательное письмо в одно из городских учреждений, благодаря которому начнется быстрое восхождение "отрицательного героя" по общественной лестнице...

Этим кончалась глава, напечатанная в журнале с тремя продолжениями, которая принесла мне столько похвал, потому что в ней нашли "кусочек настоящей жизни", как сказала Геула, или "освещение характерного столкновения между представителями старого и нового в нашей стране" — как писал один из критиков, считая при этом Марголина примером всего лучшего, что есть в поколении строителей, а Дорона — образцом испорченности нового поколения... В мои намерения входило продолжить рассказ о приключениях Г.Д. в городе, о его головокружительном взлете по ступенькам общества (вначале — с помощью марголинского рекомендательного письма, а затем — в силу собственных качеств) — до превращения его в известного общественного деятеля. Но, как я уже говорил, я застрял в конце первой главы, не сумев сделать дальше ни шагу.

Неудивительно все же, что изредка кто-нибудь из читателей спрашивал меня: "Кто же в конце концов у тебя *герой нашего времени* — Габриэль Дорон или инженер Марголин?"

4

Скульптор Полищук. Я живу два года на чердаке, который был его обителью. Эти стены впитали в себя его дыхание, растрескались то тут, то там от ударов его резца по камню, содрогались, наверное, и от его предсмертного хрипа. Эта тахта, пружины которой кряхтят подо мной, была его кроватью. Этот стул нес на себе тяжесть его одиночества. Если б он знал, в какой проходной двор превратилась его комната за эти два года! Кто сидел тут, кто лежал, какие слова говорились, какие разыгрывались трагедии! Только теперь, когда я затворился здесь, почти никуда не выхожу, почти нико-

го не привожу — я иногда размышляю о нем. Нет, не размышляю, а — особенно по вечерам, когда дыхание близкого моря крадется сюда, — иногда поеживаюсь от того, что кажется мне шорохом его бессмертной души. Ковыряется в темноте жучок-древоточец — я вздрагиваю: Полишук. Потрескивает притолока — это он, шепчу я. Зашуршало — это он обернулся тараканом. Или эта скульптура, стоящая у входа, закрученная в тряпичный саван. Я не верю в духов, но она просто изводит меня молчанием... По ночам я иногда выхожу на крышу проветриться — и побаиваюсь ее. Может, у нее меч на бедре. Что я знаю о нем, о Полишуке, кроме того, что от случая к случаю рассказывает хозяйка, заходя за квартплатой или поучать меня насчет пользования водой и электричеством? Упоминая о нем, она всегда постанывает, а глаза ее влажнеют: "Он страдал, этот человек; о, как он страдал! Иногда, слыша, как он расхаживает по комнате туда-сюда — часами! — я думала: и как это стены не сотрясаются?... Вы понимаете, что это значит, когда такой человек, как он, оказался забыт? Вдруг как будто его и нет уже? Тридцать лет тому назад, когда он сделал тот памятник неизвестному строителю, вся страна говорила о нем, как о гении. *Усышкин* писал о нем, писали все великие современники, а потом — нет Полишука! Он работал, работал — я-то знаю! — и не просто работал, а всей душой, сгорая, прямо-таки сгорая в работе! Нечто такое, я вам говорю, когда страдание изнутри передается через руку и становится... нежным, очень нежным, настолько нежным, что нельзя и почувствовать, что человек тут вырывает из себя кусок сердца... И что же? Слышать о нем больше не желали. Просто *не принимали* его. Я-то знаю, что у него было с этим кибуцом, когда он предложил им памятник погибшим. Я видела эти письма. Видела макет. Уже и деньги ему заплатили, и работать начал, и рекомендации были — чьих там только не было! — а в конце концов... Как старый ботинок выбрасывают! А он был *чистый* человек, настолько чистый... Слышали вы о Марке Антокольском? Нет,

ваше поколение о нем не знает. Он земляк мой, из Вильнюса. Я как сейчас помню его "Дмитрия Донского", и "Ивана Грозного", и "Талмудистов", и... Поверьте мне, Полишук был нашим Антокольским. Я не преувеличиваю. Но что же? Теперь любят совсем другое! Памятник погибшим героям — так чтобы был вроде сожженной машины, словно какая-нибудь авария или я уж не знаю что — и про такое вот говорят, что это гениально! Что это искусство! Стоят и смотрят на это с восторгом, и вспоминают, разумеется, наших героев, пожертвовавших жизнью. Так-то вот. Все изменяется — в худшую сторону..." Как-то она показала мне его фотографию: плечи грузчика, на которые посажена упрямая лохматая голова.

Я въехал в эту комнату недели через две после его смерти, смерти одинокого старика, не имевшего наследников, на похороны которого пришло человек десять. Как-то я открыл дверь кладовой, куда хозяйка снесла остатки его собственности. Известковая пыль ударила мне в лицо. Солнечный свет лег на кучи гипсового лома. В большом тазу были нагромождены головы из глины, мрамора, бронзы — будто отрубленные. Одна кадка была полна глиняной массы, затвердевшей и потрескавшейся, как опаленная земля. В другой были сложены плиточки с рельефными миниатюрами, изображавшими группы людей. В несколько ящиков были втиснуты книги, блокноты, большие листы, испещренные набросками. Какие там были молодцы, в тазу и в кадке! Машущие молотками, навалившиеся на лопаты и заступы, сжимающие винтовки; работники в платочках, беременные женщины, танцоры, бюсты вождей. Ух, как их всех пыль покрывала!...

Продолжаю эту историю с книгой:

Поставил я свою подпись. "И в подтверждение тому поставил я свою подпись" — такова была последняя строчка в договоре на книгу о Давидове, состоявшем из двадцати трех пунктов, уместившихся на четырех

страницах; а внизу — моя фамилия, договаривающаяся сторона Б, поскольку стороной А было заинтересованное учреждение. Да, я хотел бы подчеркнуть эту важную деталь — сторона А была заинтересованной, ибо это была не моя инициатива; по правде сказать, я сначала отказывался и настаивал на своем отказе, и если была здесь ошибка — а ошибка здесь, разумеется, была! — она была не только моей: в договоре было ясно написано, прямо в самом начале — "поскольку сторона А заинтересована в подготовке и публикации книги о жизни и смерти..."

Я возвращаюсь к той встрече в иерусалимских горах, пятой годовщине его смерти. Годовщина смерти, говорю я. Чушь! Когда я вызываю в памяти колонну блестящих автомобилей, плывших по шоссе и взлетающих, радостно сигналив, от развилки к кладбищу, сверкая в солнечном море стоянки; радостных людей, жмущих друг другу руки, мыча приветствия, обнимая за плечи старых товарищей; когда я вспоминаю, что это общество группами расползлось между надгробиями, как коровы по пастбищу; как оно было похоже на брошенное стадо, когда сухощавый человек, тощий как голодный конь, в брюках хаки, которые на нем чудом держались, сказал надгробную речь, унесенную ветром ко всем чертям, — я понимаю, что это был пикник с танцуйкой, а не годовщина смерти! Я склонил ухо, чтобы уловить хотя бы одну фразу из того, что говорил тот кибуцник, шутившийся от солнца, на губах которого лежала засохшая пена, — и ничего не услышал. Я стоял и жевал соломинку, опершись одной ногой на потрескавшуюся плиту, а когда попытался уловить долетающие до меня слова, порхающие в воздухе, ко мне подошла белокурая девушка с глазами-васильками и спросила: "Скажи-ка, ты не Йоси Гал?" А когда я помотал головой, снова спросила: "Ты не был в литературном кружке у профессора Галкина?" А когда я снова помотал головой, улыбнулась: "Прямо смешно, до чего ты серьезный".

Потом, когда я спускался по кипарисовой аллее,

меня поймал Авраам Шай, кусавший огромное яблоко здоровенными укусами, вызывавшими у меня оскормину, — и заговорил со мной об этой книге.

— Есть у тебя машина? — швырнул он огрызок колючим сорнякам.

— Пока нет, — ответил я.

— Пошли, подброшу тебя, — положил он мне на плечо начальственную лапу.

В машине его ждала жена, сидевшая там, как видно, в течение всей церемонии. Глаза ее таились под темными очками.

— Хава, ты знакома с писателем Йонасом? — выудил Шай ключи из кармана.

Сухая ручонка вытянулась из окна, потная ладошка сдавила мою кисть.

— Ты не читала "Героя нашего времени?" — спросил он.

Нет. К стыду своему, она давненько ничего не читала на иврите. У нее был неприятный голос, словно давили стекло. Лицо будто молью трачено.

Шай устроился поудобней за рулем, протер лобовое стекло, завел мотор, развернулся и, выехав на шоссе, снова принялся расхваливать ту самую главу (которую называл, конечно же, "рассказом") перед своей женой. Та изредка поворачивала ко мне рябое лицо, не то чтобы получить мое подтверждение, не то — чтобы одарить меня улыбкой.

— Кстати, — сказал он, — тот кусок, когда Гавриэль Дорон кладет пистолет на стол и говорит Марголину: застрелите меня, я тряпка, я ничтожество, — это Достоевский! А я не раздаю комплименты по дешевке, спроси у Хавы.

— Он очень скуп на комплименты, — подтвердила Хава, и грустная улыбка обозначилась на ее тонких губах.

Потом, когда мы спускались с Иудейских гор, он вернулся к книге о Давидове. Он уверен, что я смогу это сделать. И не стану раскаиваться в этом. Только начну — и загорюсь. Потому что Давидов — это не прос-

то человек. Это целая эпоха, которая ни в коем случае не должна быть забыта. Все доброе, все прекрасное, вся юность этой страны, настоящее которой так быстро заслоняет все прошлое. А я как раз тот человек — и потому, что встречался с Давидовым, и потому, что... "Я разбираюсь в людях", — сказал он.

— Авраам очень хорошо разбирается в людях, — повернула ко мне его жена впалые щеки.

Я поблагодарил его за то доверие, которое он мне оказывает. Сказал ему, что я сейчас полностью погружен в продолжение "Героя нашего времени".

— Сколько там у тебя еще?

— Половина книги. Даже больше.

(Хава спросила, не может ли писатель заниматься двумя произведениями сразу. Если вдруг у него, например, появляется идея. Ну нет, я бы точно не смог, — ответил я.)

Когда мы заехали заправиться, он продолжал уговаривать меня, как будто решил во что бы то ни стало доказать самому себе умение преодолевать любое препятствие. Он не требует, чтобы я оторвался от произведения, которым сейчас занят. Так или иначе на работу по сбору материала уйдет полгода. Я должен буду встретиться с десятками людей по всей стране и записать то, что они расскажут. Тем временем я смогу заниматься своим делом и, разумеется, закончу до тех пор. Только после этого я начну перерабатывать сырье в роман или что-то вроде романа. (Острроверхие сосны на склонах бросали длинные тени, игольчатый ковер распространял острый сухой запах, напомнивший мне сумеречную, осторожную, полную шорохов поездку в сторону позиций Легиона.)

Потом, в продолжение поездки, он продолжал закидывать удочки воспоминаний о временах Безр-Шевы-52, когда он был руководителем общественных работ и встретил меня, а вместе со мной — Давидова. Помню ли я тот вечер в кафе, когда мы приехали на джипе из Курнуба-3, а Давидов немного перебрал и стучал кулаком по столу: "Поилки я хочу здесь ви-

деть, поилки для скота, а не белые дома!”

Да, я прекрасно помню. Помню и то, что произошла какая-то ссора между ним и Давидовым. Не стал его спрашивать. С тех пор, как он работает в Министерстве обороны, мы встречались с ним всего несколько раз, случайно.

— А все что касается оплаты... — начал он...

Он уж позаботится об этом. Карпинович — издавший серию “Великие люди” (и сделавший на ней большие деньги) — его старый друг. Нет сомнений в том, что он будет счастлив издать такую книгу, популярность которой обеспечена. К тому же он честный человек, да и щедрый тоже.

Я отказывался. Неделю, две. Но Давидов! Давидов, витязь на летящем скакуне! Рыцарь этой дикой земли, ныне укрощенной и одомашненной. Самсон, рвущий ремешки ее упряжи и отпускающий ее на волю. Да, Давидов, которого я и сам помню, имя и облик которого обдают меня теплой волной; а теперь его плащ набрасывают мне на плечи!...

Я отказывался. Какое я имею отношение к “заказным” произведениям? Мне нужно продолжать “Героя нашего времени”. Да и еще с десятков книг вертятся в моей голове. Но я помню тот вечер, вечер бессмысленного шатания по улице, детское время (женщина с огромной продуктовой кошелкой проходит мимо; культовые сувениры поблескивают в витрине; колосальная Лолобриджида в надорванной комбинации, обнажающей бедра, движется по улице; с верхушек шумят скворцы), песня “Анемоны”, вырвавшись из чьего-то радиоприемника, провожала меня из того вот окна, и из другого, и еще из одного, сдавливая мне горло, — и я решил: да, я берусь за это! Берусь!... Вошел в ближайшую аптеку, набрал эти самые пять цифр и спросил: “Могу я поговорить с Авраамом Шаем?”

Карпинович оказался сухим немногословным педан-

том. Он владел инвестиционной компанией, а издательство было побочной ветвью его многочисленных предприятий. Когда я пришел к нему в управление, мне пришлось с полчаса прождать и пролистать с дюжину брошюр, из которых я узнал, каковы сейчас курсы акций, облигаций и каков баланс Центральной строительной компании.

— Господин Йонес? — он встал из-за стола, высокий, седоватый, с мешками под глазами. Его пальцы сжали мою кисть, как клещи. Кабинет у него был просторный, с кондиционированным воздухом, стоявший в углу фикус придавал этому кабинету свежесть аквариума.

— Рад был услышать от господина Шая, — сказал он, когда мы расселись, — что вы готовы писать книгу о покойном Давидове. Мы верим, что это дело пойдет. Давидов был личностью известной, тысячи людей были с ним знакомы, и нет никакой причины для того, чтобы они не купили книгу, которая будет написана о нем. Я понимаю, что вы должны будете провести длительную подготовку, прежде чем начнете писать саму книгу. Четыре месяца? Шесть?

— Что-то около того, — ответил я.

— Около шести?

— Да.

— Сама книга займет... год? Полтора года?

— Вроде того.

— Полтора года?

— Да. Приблизительно.

— Мы имеем в виду, разумеется, роман. Биографической роман на документальной основе. Сходны ли наши мнения по этому вопросу?

— Да. Я полагаю, что да.

— Я понимаю, что вы должны на что-то жить в течение этого времени, — мелькнуло некое подобие улыбки в его усталых глазах. У него было длинное, вытянутое книзу лицо, как бы присыпанное белой пылью. — Есть ли у вас какие-нибудь соображения по вопросу о ежемесячных авансах?

Я обхватил руками затылок и задумался. Уже два года все денежные дела были переданы в руки Ахувы. Я не знал даже, каковы наши расходы. Двести пятьдесят лир — самое большое число, которое пришло мне в голову.

— Пятьсот лир в месяц хватит? — спросил он, видя мои затруднения.

Я вытаращил глаза. (Но успел вовремя их прикрыть.)

— Пятьсот пятьдесят? — выяснял он.

— Пятисот хватит, — сказал я. (Какой-то колокольчик все-таки позванивал во мне, было тут что-то неладно.)

— Пятьсот на восемнадцать — это девять тысяч, — походя записал он. — Эта сумма будет рассматриваться как аванс. Гонорар по принятым ставкам будет выплачен вам с поступлением книги в продажу. Если он превысит размеры аванса — на что я надеюсь — вы получите разницу. Если окажется меньше — вы не должны будете ничего возвращать. Есть что-нибудь еще?

Никакого "что-нибудь еще" не пришло мне в голову. Мелькнула мысль, что его порядочность слишком обязывает меня. Присыпанное мукой лицо застыло в ожидании.

— Стало быть, это все, — заключил он. — Да, я хотел бы добавить, что все расходы, связанные с работой, как, например, командировочные или там письменные принадлежности, — все это мы берем на себя. Представьте квитанции — оплатим.

Я поблагодарил его.

Карпинович встал, давая понять, что заседание окончено, скривил в скупой улыбке губы и, протягивая мне руку, сказал:

— Черновой вариант договора вы сможете получить у секретарши завтра, приблизительно в это же время. Есть у вас адвокат, господин Йонес?

— Нет, — ответил я.

— Стоит завести, — посоветовал он. — Господин Шай, разумеется, сможет порекомендовать вам кого-

нибудь. Желательно, чтобы все было вам ясно до того, как вы подпишете договор, чтобы у вас не было такого ощущения, что вас обобрали или что закралось нечто могущее помешать вашей работе — и так тоже бывает. Кажется, на сегодня все. Приятно было с вами познакомиться, господин Йонес.

Когда я принес черновой двухстраничный вариант договора адвокату Шило, он пробежал его глазами, иронически улыбаясь, словно говоря: "Ах, какие сволочи!", иногда гневно вскрикивая: "Абсурд, абсурд!"; снова прошелся по договору, царапая пером сердитые линии под каждой третьей или четвертой строкой; потом отбросил его на стол и заявил: "Нет, друг мой!" С его слов стало ясно, что меня обманули, обжулили, обвели вокруг пальца. В каждом пункте было по семь соблазнительных прорех, вызывающих к нарушителям закона; но большее зло, чем в том, что уже имелось, таилось в том, чего не доставало: где пункты относительно права переиздания, инсценировки, экранизации, радиотрансляции? Где что-нибудь о передаче прав третьему лицу? Где тут бухгалтерский контроль? Или задержки, которые могут быть вызваны вмешательством высших сил? А главное, главное — Шило взял договор, будто мышонка за хвост, и стукнул тыльной стороной ладони по второй странице — нет ни одного пункта о компенсациях!

— Каких компенсациях? — спросил я.

— Что тут сказано? — Шило с размаху перевернул первую страницу и нервно зашуршал второй. — Вот, пункт 12, последний: "Обе стороны отказываются от необходимости посылать нотариальные предупреждения, а уведомления, посылаемые заказным письмом..." и т. п. и т. д. Но где же пункт, рассматривающий нарушения договора одной из сторон?

— Каким образом можно нарушить этот договор? — заморгал я.

— Всякое может случиться, друг мой! — глянул он

на меня, словно предупреждая об опасности, войне и смерти. — Что будет, если сторона А передумает? Откажется? Не издаст книгу? Что случится, если рукопись не понравится им по какой-либо причине? Или если тот же самый Карпинович обанкротится? И такое может случиться.

— В этих случаях, — заметил я, — согласно договору все авансы, выплачиваемые мне ежемесячно, остаются моими, и я не обязан их возвращать.

— И вам этого достаточно? — загорелись его очки. — А если вам причинен ущерб, во много раз превосходящий эти несчастные авансы, которые вы получите?

— Девять-то тысяч! — удивился я.

— А если прекратят после первого же месяца? После третьего? А если, не дай Бог, Карпинович помрет на четвертый месяц? Мы должны все учесть. Для этого и составляют договор!

— Какой ущерб могут мне причинить?

— Какой ущерб? Допустим, к примеру, что вам предложили другую литературную работу, за вдвое большие деньги, а вы отклонили предложение, потому что были связаны этим договором. Допустим, что из-за этого обязательства вы не согласились на почетную должность, с окладом большим, чем вы получаете здесь. Или даже, что вы прекратили заниматься каким-нибудь великим, бесценным произведением. Не говоря уже о моральном ущербе, огорчениях, позоре и тому подобном. Нет, друг мой, сюда следует ввести подробный пункт, касающийся возмещения ущерба, который сторона А уплатит стороне Б — и наоборот, разумеется, сторона Б — стороне А, в случае нарушения договора каким бы то ни было образом!

Через неделю у меня был новый вариант договора, составленный адвокатом Шило, содержащий четыре страницы вместо двух и 23 пункта вместо 12, в том числе пункт о возмещении ущерба, которое выплатит каждая сторона в случае нарушения ею договора, в размере 5000 лир. Когда я представил этот вариант госпо-

дину Карпиновичу, он хладнокровно проглядел его, а потом сказал:

— У вас хороший адвокат. На мой взгляд, есть тут много лишнего, но никаких возражений у меня нет. Я думаю, мы сможем подписать этот вариант.

Первого июня я подписал договор на книгу о Давиде. Седьмого числа того же месяца я вручил разводной лист своей жене, Ахуве.

5

Мы стояли на тротуаре, на самом солнцепеке, и не знали, куда податься. Распрощаться? Идти вместе? Куда? Свет бил нам в глаза, как будто мы вышли из темного кинозала, посмотрев мрачный фильм. Что-то от мертвечкой нечистоты было там, в этой процедуре, не то бюрократической, не то культовой, ведомой кладбищенскими служками. Пыльной, шумной улицы было недостаточно, чтобы стереть этот кошмар. Повернуть ли мне налево? Проводить ли ее? В конце концов Ахува глянула на меня, выдавив улыбку, словно это я нуждаюсь сейчас в милосердии, и сказала: "Давай я обед приготовлю. Все равно некуда тебе сейчас идти". Странно было слышать ее голос, после того, что она стояла там, как обрученная наложница¹, и ей приказали сложить обе ладони, чтобы принять пергамент, который я бросил туда со скоростью плевка. "Может, отпразднуем это событие?" — пробовал я отшутиться.

Мы спустились в Яффу и бессмысленно потащились вверх по улице. Ахува иногда задерживалась около витрин, словно мы решили подыскать себе свадебные подарки. Возле магазина мужской одежды она сообщила мне, что больше всего мне подходит черная блуза. Если бы у меня были деньги, подумал я, купил бы ей прощальный подарок. Она была очень легка, словно

¹ Левит, 19:20.

хорошо выплакалась. Мы вошли в ресторанчик, погруженный в зеленую полутьму, и уселись по обе стороны баночек с маслом и уксусом.

— Поминки, — улыбнулась Ахува.

Еда была настолько переперченной, что слезы жгли мне глаза. Когда мы приступили к кофе, она обняла фарфоровую чашечку ладонями и долго вертела ее.

— Что ты сейчас пишешь? — подняла она на меня робкий взгляд.

— Посмотрим... попробую продолжить то, что начал...

Она перевела взгляд на чашечку, а когда снова подняла голову, в глазах ее поблескивала горькая улыбка.

— Почему ты мне не рассказывал... о книге про Давидова?

— Еще не все было ясно... — покраснел я.

Ахува глянула на меня, как на провинившегося мальчишку.

— Как поживает мама? — спросил я.

— Нормально, — ответила она.

А потом, с печальной улыбкой:

— Она вообще-то и не жалеет.

Я глотнул с горечью. Мама была человеком властным и гордым. Я относился к ней с трепетным почтением. Все эти недели она у нас не появлялась, и я представлял, как она там сокрушенно покачивает головой. Если бы она пришла ко мне защищать свою дочь...

— Ты же знаешь, что она всегда относилась к тебе с недоверием, — сказала Ахува.

— Да, — глотнул я слюну. Вдруг мне сделалось важным, что там она думает обо мне. — А почему? — спросил я.

— Какое это теперь имеет значение? — задрожала улыбка на ее губах.

Две мухи нарушали тишину над нашим столом. Я собирался сказать что-нибудь о двух прожитых годах, как полагается при прощании — что-нибудь торжественное, печальное и волнующее — и ничего не придумал. Если скажу что-то примиряющее, будет фальшиво.

Извиняться или что-нибудь вроде того я не хотел. Что ни скажу — все будет резать ухо.

— Ты не должен был брать на себя...

— Что?

— Эту работу, книгу...

— Почему? — встряхнулся я.

— Не знаю... такое ощущение...

— Почему? — взмолился я.

— Тебе не подходит... Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что ты не сможешь понять его, Давидова...

— Почему?

— Нет у тебя ничего схожего с ним...

— А это необходимо?

Она откровенно разглядывала меня, словно видя впервые или подытоживая свои размышления обо мне за эти последние дни.

— По сути, ты не такой уж честный... — она слабо улыбалась, без злобы, с сожалением. — Я всегда думала, что ты очень честный. Но ошибалась. Есть в тебе что-то... какая-то такая... мелкая пакостность...

— А еще что? — улыбнулся я, скрывая свою взвинченность. Я хотел, чтобы она говорила обо мне. Побольше, с осуждением. Чтобы отплатила мне той же монетой, чтобы я вышел невиновным. Я прогоняю ее, а она плюет мне в глаза, и игра кончается вничью. И я ничего не должен.

— Это доставляет тебе удовольствие? — рассмеялась она, как бы видя меня насквозь.

— Интересно послушать, — ответил я.

— Тебе важно, что я о тебе думаю? — задрожали ее глаза в печальной улыбке.

Мне было странно, что она что-то там "думает" обо мне. Я все это время полагал, что она только преклоняется предо мной.

— Да, — сказал я.

— Вообще-то, я всегда знала, — грустно размышляла она, глядя мне в лицо, — но как-то не хотела знать. Я отталкивала это... Я помню, как ты мучил свою маму молчанием, когда она к нам приезжала. Когда она

умерла, ты стал мучить меня. Какая-то сварливая пакостность, — не смелая, не открытая... Ты думал, что я не ощущаю... я старалась не обращать на это внимание... не знаю, почему я так боялась всякой плохой мысли о тебе и всегда тебя перед собой оправдывала. Может, потому, что я думала... что это из-за твоего недовольства собой... Я хотела, чтобы ты писал. Только чтоб писал. Я молилась за твои успехи. Я верила, что тогда ты излечишься от этого, и все будет по-другому, как вначале... Но и это не то...

Вдруг встряхнула волосы, вскинув голову, и сказала:

— А, это я просто болтаю... — поставила чашечку на стол и смело улыбнулась.

Ах эта молчаливая голубица! Я и не думал никогда, что она эдак выворачивает меня наизнанку, сидя там за моей спиной! Я готов был послушать.

— Говори, — потребовал я.

Помолчала. Потом обеими руками разгладила воротничок и сказала:

— Ты знаешь, сколько мне досталось за последние недели. Очень много. Всякие страшные мысли. Иногда по ночам мне казалось, что у меня все волосы поседели. Если бы у меня хватило таланта писать, я бы описала все, что происходило со мной. Но мне ужасно странно, что сейчас... Я не испытываю к тебе никакой ненависти... Даже злобы никакой нет... Мне трудно понять это... Я даже... А, не важно.

Странно. Странно, подумал я, что у меня на сердце сейчас тяжелее, чем у нее.

— Я даже искренне желаю тебе успехов, — снова смело глянула на меня.

Подошел хозяин рестораника и представил счет. Пока я доставал из кармана кошелек, Ахува раскрыла сумочку и заплатила. Я продолжал сидеть. Это знакомство заново — нужно было еще немного продлить его.

— Ты никогда не говорила мне, что ты думаешь об этой главе, которую я написал, — выдавил я.

— Ты никогда не спрашивал, — парировала она.

— Я сейчас спрашиваю.

Ахува помедлила, а потом ответила с некоторой натяжкой:

— Нормально...

Я проглотил обиду. Думал, что она скажет что-нибудь еще.

— Пойдем, — стряхнула она размышления.

Когда мы выходили на улицу, дома уже порыжели. Снова мы стояли на тротуаре и не знали, куда податься.

— Пошли домой, — сказала она. — Все равно тебе сегодня негде спать.

Мы шли вдоль моря, а когда пришли домой, то уже был вечер. Как только Ахува зажгла свет, она вздрогнула, увидев большого таракана, замершего на полу, вскрикнула "ой!", упала в кресло и закрыла лицо руками. Я снял сандалию и погнался за этим существом, в панике носившимся по комнате, прятавшимся под мебелью, петлявшим и бросавшимся на прорыв, пропадавшим и появлявшимся снова. Я отодвинул кровать, скинул все вещи со своих мест, а Ахува все это время рыдала, закрыв лицо руками. Никогда она не боялась тараканов, а сейчас плакала так вот, не прекращая. И после того, как я настиг это насекомое и прибил его сандалией, она все плакала и плакала.

Вот так я напоил Ахуву "водой проклятья"¹ и объявил ей: "вот ты позволена всякому мужу". На следующий вечер, когда она оставила меня в одиночестве, я сложил часть своих вещей в чемодан и отправился к Эфраиму Авербуху, моему другу детства, жившему в южной части города.

Когда я позвонил в дверь убогого бревенчатого дома, он вышел мне навстречу в пижаме, удивляясь тому, что я с чемоданом, и шепнул мне "заходи". Я спро-

¹ Древнее гадание относительно верности жены (Числа 5:18–31), которое могло стать основанием для развода.

сил, смогу ли я переночевать у него, он ответил "конечно, конечно". Лишней кровати у него нет, но он может дать мне свою, а сам будет спать с женой. Завел меня в маленькую кухню и спросил, что случилось. Когда я ответил ему, он не поверил. "Да, так вот", — горько покачал я головой, как человек, сломленный судьбою. Он хотел поутешать меня, но не знал, как. Потом грустно сказал: "Только несколько дней тому назад мы с Ципорой о вас говорили. Я рассказал ей сон, в котором видел тебя". — "Что же ты видел?" — спросил я. — "Ты, конечно, будешь смеяться, но я видел тебя умершим", — печально улыбнулся он. — "Умершим?" — запрыгали во мне чертики. — "Очень странный сон, — заметил он. — Я ехал в джипе по большому полю с колючками; вдруг джип застрял в глубокой яме. Я вылез, хочу вытащить машину и вижу — стоит около меня старый бедуин. Я спросил его, что это тут за яма, а он мне по-арабски: а ты что, не знаешь? Это могила Йонеса. Йонес умер? — испугался я. Да, говорит, умер, а его жена, Марта, приходит каждый день и приносит немножечко камней на могилу. Чего это вдруг мне снилось, что жену твою Мартой зовут — не знаю. Такие вот сны. А что у вас произошло?" Как только я начал рассказывать, он остановил меня, сказав, что лучше бы нам выйти, чтобы не мешать детям спать. Тут он сообщил мне, что у них родился третий сын — два месяца тому назад. Оделся — и мы вышли.

— Кстати, — сказал он, закрывая за нами дверь, — читал я твой рассказ, "Герой нашего времени". Получил большое удовольствие. Сердился на тебя, но удовольствие получил.

— Чего же ты сердился?

— Что ты журнал мне не прислал. Он мне случайно в руки попался. Вдруг вижу — Йонес, печатными буквами! Я подумал, может быть есть другой Йонес, потом мне сказали, что это ты. Йонес Рабинович. Правда, я очень радовался. Помнишь, что я тебе еще в школе пророчил? Я уже тогда знал, что ты будешь писать. Только не понравилось мне, как ты его назвал. Нет, не

рассказ, тут как раз все в порядке, а героя как назвал. Что это за имя такое — Габриэль Дорон? Имя должно быть именем! А это так, какая-то выдумка. Марголин — это имя! Только ты взглянешь на имя — и уже увидишь человека! Но это в самом деле мелкая деталь. Я даже хотел послать тебе открытку. Но куда? Я и адреса твоего не знал.

Ночной воздух дышал теплотой, со дворов доносились запахи детства — хвороста, машинного масла, пыли, пропитанной бензином. Пустырь, огороженный деревянным забором, стоял, как и много лет тому назад; тот самый пустырь, на котором Эфраим побил мальчика, дразнившего меня: "Йонес-нуда, не сдувает никогда, Йонес ябеда-корябеда". Эфраим преклонялся перед моими талантами, перед тем, что его мать называла "тонкостью души", и взялся быть моим телохранителем; я любил его за его прямоту и за то, что он преклонялся предо мной, и укрывался за его спиной. Потом наши пути разошлись. Я пошел в гимназию, а он — в "Макс Файн"¹; после войны — во время которой мы встречались несколько раз — я поступил в университет, а он завел маленький гараж в том же районе, где мы жили. В трудные минуты я вспоминал о нем, о давней дружбе с ним, и вваливался к нему в дом, чтобы излить душу, а более того, чтобы убедиться, что он все еще верит в меня. И сейчас он оставался подростком, тяжеловесным, немногословным. Мы шли вдоль железнодорожного полотна, и я рассказывал ему кое-что о своей жизни с Ахувой. Всю дорогу он молчал. Руки сунул глубоко в карманы, голову втянул в плечи. Вдалеке уже чернел тенистый массив роши Миквэ-Исраэль.

— И все это время ты не работал? — он остановился и нахмурился, глядя на меня.

— Я писал, — ответил я.

— Весь день писал?

¹ Профессиональное училище.

Я объяснил ему, что писательский труд не измеряется часами. Что иногда человек может просидеть за письменным столом с утра до ночи и не выдать из себя ни строчки. Что требуется *свобода*, свобода для размышлений, свобода для безделья, свобода для грез. Что произведение сочтется, как смола из дерева, капля за каплей, понемногу, и все это время корни тайно втягивают воду, а ствол тайно впитывает ее...

— Два года не работать! — удивленно разводил он руками. — Я честно тебе скажу, — усмехнулся он, — если бы я был на месте Ахувы, я бы *сам* тебя бросил... Жена меня будет кормить, а я буду дома сидеть?

Не было у меня терпения вникать в его трудовые идеи. Только в силу той благодарности, которую я испытывал к нему за прием, оказанный позднему гостю, и за его веру в меня, я продолжал говорить. Легко было повергнуть логическими ухищрениями эту простую душу. Я поставил ему мат в пять ходов:

— Ты оцениваешь работу по ее оплате? — пошел я королевской пешкой.

— Конечно нет! Но...

— Если бы пришел к тебе человек и сказал, что он тяжело трудится с утра до ночи и не видит плодов своего труда, ты бы отнесся к нему с презрением? — выставил я левого коня.

— Ох, Йонес, ты же знаешь, что...

— Допустим, что два года подряд засуха губит его урожай — упрекнул бы ты его за это? — вытянул я слона на центр доски.

— Да это не то, тут ведь дело...

— Ты бы предложил ему оставить его хозяйство и заняться другим ремеслом, в котором он ни черта не понимает?

— Глянь-ка, Йонес...

— А если бы он не принял твоего предложения и упорно продолжал бы заниматься своим делом, обвинил бы ты его в бездельи?

— Я не говорил про лентяйство! Я только сказал, что...

И на следующем ходу — мат:

— Если так, то почему же ты думаешь, что моя работа — пусть я и не вижу, чтобы она приносила плоды, признаюсь, — менее достойна, чем всякая другая работа?

Добрый Критон моргал маленькими, глубоко посаженными глазками на смуглом лице, глядя на Сократа. Против воли он был вынужден сказать: видимо, так оно и есть, Сскрат! Нет, нечего мне на это возразить, Сократ!

— Возможно, ты и прав, — сказал он. — Я только думал, что это очень странное ощущение — оставаться дома, когда жена твоя утром уходит на работу... Но может я в этом и не понимаю ничего...

Моя победа больше не доставляла мне удовольствия. Я вынужден был совершить какую-нибудь уступку.

— Да, по части ощущений, — ответил я, — это ты прав. Очень неприятно...

Мы пошли обратно. Теперь говорил он, а я молчал. Размышлял о тех многих вещах, которые несет в себе мое новое холостячество: трапезы в кафе... новые лица... свобода птичьей ловли... Краем уха я вслушивался в излияния борца за справедливость, шедшего подле меня: страна все больше и больше становится страной паразитов. Все богатеют, не работая. Делают капиталы, ворочая землей, за которую честные парни лили кровь. Наживают барыши на репарациях, цветут на золе сожженных. Гниль точит фундамент. Живут за счет мертвецов! Вся страна! Что же удивительного в том, что коррупция распространяется от корня до вершины! — "Скажи вот ты, Йонес, что же с нами будет? Разве можно так жить дальше?" — кривя душой, я попробовал смягчить краски, но его цельная натура не поддавалась.

Когда мы подходили к дому, он спросил:

— А теперь, когда ты остался один, с чего ты будешь жить?

Я рассказал ему о книге про Давидова.

Этот праведник не сказал ни слова. Шагал подле

меня с опущенной головой и молчал.

Когда мы входили в дом, было уже два часа ночи. Его жена повернулась на своем ложе, а в углу, возле моей кровати, витала цыплячья душа младенца. Утром, проснувшись, я обнаружил, что я один в комнате. Окно было залито белым светом, пустоватым светом южного района, сиянием неозелененной улицы. Я вспомнил о своей маме, будившей меня приблизительно в такое же время, чтобы я сбегал в лавку и принес булки. Да и та комната была такая же, как эта: низкая, оштукатуренная, со смятыми постелями по утрам, отмеченным бедностью. Из кухни доносилось шумное сосание.

Несколько дней спустя я прочел в газете сообщение о кончине скульптора Полищука, умершего в одиночестве и забвении на чердаке; о похоронной процессии, которая выйдет из его дома. На следующий день после похорон я отправился в этот дом и снял эту самую комнату, в которой сейчас сижу.

6

Клайв — какой он молодец,
Что на свете не жилец;
Сколько силы у словца —
У "мертвеца".

(Э.К.Бентли, "Биография для начинающих".)

Я приступаю к изложению сути книги. Полагаю, что немногие писатели в нашей стране удостоились столь большой популярности за написанные ими книги, какой одарила меня книга ненаписанная. Тысячи людей были знакомы с Давидовым, седовласые и безусые, рассеянные, как смоковницы, по всей стране. Все они следили за мной, а те из них, с которыми я встречался, бросали на меня вопросительные и благожелательные

взгляды, как на беременную женщину: как поживает эмбрион? Лягается ли? И когда даст о себе знать? И я отвечал исключительно тонкими намеками — словно боясь дурного глаза — да, более или менее в порядке, развивается естественным образом и, с Божьей помощью... — намеки, много обещающие, но призывающие к выдержанности, спокойствию... Эх, знал бы Давидов...

Дважды путь его скитаний пересекался с моим. В первый раз это было на Соляных озерах в Атлите, в сорок четвертом. Неожиданно появился, неожиданно и исчез, оставив за собой тоскливый столб пыли, словно всадник, усакавший за горизонт. Вечером пробежал слушок по лагерным палаткам — приехал Абраша Давидов! — а в предрассветной мгле, когда соляной пласт алел, как сугроб, в утренних лучах...

(Я вынужден пояснить: мне было восемнадцать лет, а год шел — сорок четвертый. Я был членом кибуца, посланным на поденную работу, — пусть и не совсем обычным, несколько взбалмошным, иногда натиравшим шею ярмом — я еще мог расчувствоваться от того, что теперь воспринимаю с ледяной миной; год был сорок четвертый — песни о разведке носились по дорожной пыли, скитались стаями птиц от рощицы к рощице, от поселка к поселку, а морские волны выбрасывали на берег останки кораблей, и кровь закипала при каждом сообщении об осаде, арестах, поисках оружия, о где-то пристреленном прохожем... не стану, стало быть, и скрывать: имя Давидова, которое всегда произносили с оттенком нежности и восхищения — пусть и в несколько шуточных тонах — покрывало мои щеки румянцем взволнованного любопытства.)

И я помню то утро, когда соляное озеро было подернуто тусклым пурпуром, когда издалека я увидел его, ухватившего тачку длинными, словно стальными руками — высокого, прекрасного, с всклоченным черным чубом на лбу. Тачка бежала перед ним, как иг-

рушечная, и он покрикивал на погрузчика: "Полнее, полнее, нечего меня жалеть!" Потом он снова бежал по выложенной досками дорожке, легко и быстро карабкался по скользкому подъему; забравшись на мост, высыпал содержимое тачки на платформу, стоявшую внизу, словно вытряхивая подол, и возвещал количество выгруженных им тачек, сопровождая порядковый номер русским ругательством: "Двенадцать" и мат, "Тринадцать!" — и снова мат — как благословение. Сурдин, начальник, стоял на земляном валу, что в конце озерной пустоши, — в широкополой австралийской шляпе, в ковбойских брюках и блестящих сапогах, заложив руки за спину, и поглядывал на искрящееся поле, усеянное копошащимися муравьями, словно барин на крепостных. В полдень, когда соль дышала серными парами и пот тек по спинам, Давидов остановился посреди моста, не выпуская рукояток тачки, и закричал громким голосом, разлетевшимся по всему озеру: "Сурдин! Убирайся оттуда, черт тебя побери! Ты мешаешь работать! Меша-ешь!" — и раскаты смеха носились по слепящей площадке, как куски пергамента. "Сурдин-то его боится!" — смеялись ребята, вопросительно поглядывая на начальника, шевелившего скулами, не двигаясь с места. Я был выжат, опустошен как мешок, от большого усердия ныл живот, а во время перерыва, в скудной тени ободренных тамарисков, Давидов уселся возле меня и, роясь в своей корзинке, глянул на меня, улыбнулся: "Кровью ссым, а? Сколько ты сделал?" Я назвал число. "Неплохо!" — уставился он на меня. Потом сказал: "Но так ты, братец, долго не протянешь! Ты тянешь *силой*, так нельзя — надо *духом*!" — и рассмеялся. "Как это — *духом*?" — спросил я. "Так, чтобы тебя всякое дуновение подхватывало, понимаешь? Чтобы тебя *несло*! Покажи-ка брюхо. Вот, смотри, как пустая тыква. Ты работаешь животом, а надо работать вот здесь, грудью". Тут он скинул пропотевший платок со своих сверкающих плеч, дважды обмотал мне его вокруг живота и крепко стянул: "Теперь увидишь, как бу-

дешь летать, — как осел, которому перца в зад подсыпали!” Потом, когда мы продолжали работать, он бросал на меня взгляды, полные удовольствия, как будто я был творением его рук, и издали кричал: ”Давай, Стаханов! Бей рекорд! Сколько у тебя? Тридцать пять? Сорок?” — и, обращаясь к стоявшим подле него: ”Он у меня еще доберется до пятидесяти! Всякой селедке хочется иметь крылья!” Вечером мы слышали его голос издалека, раскатившийся одиноко и гордо в какой-то волчьей русской песне — со стороны маленького лунатического поселка.

Несколько вечеров спустя, когда я лежал в палатке и читал при свете фонаря, он приподнял входной брезент, заглянул внутрь и крикнул: ”И не стыдно тебе? В такой вечер! А говорят еще, что есть в мире молодость!” Он втиснулся в дверь и, усаживаясь на табуреточку, выхватил у меня книгу из рук. ”Обломов”! — прочел он. — По-английски! — крикнул в ужасе. — ”Обломов” — по-английски!” — не унимался он. Потом жадно перелистал книгу, и глаза его светились, как при виде старого, любимого друга; закрыл книгу, потом все-таки снова ее открыл и, поглазев еще малость, решил: ”Нет, Гончарова нельзя читать по-английски!” — потом прочел мне первую фразу по-русски и перевел на иврит: ”Илья Ильич Обломов лежал как-то утром на диване, в своей квартире на Гороховой улице...” Русские зачины! Я помню, как много он говорил во славу первой фразы русского романа, которая всегда как гроссмейстерский гамбит, первые же ходы которого обещают предполагаемую победу. (Вспомни ”Анну Каренину”, — сказал он, — где на первой же странице: разбитая семья, измена, ссора, — или ”Мертвые души”, где к трактиру подъезжает бричка, и вот уже перед тобою тип: все просто, по деловому, прямо к сути, а весь сюжет заложен во вступлении, как эмбрион, которому суждено развиваться и расти!) Я помню, как он потом испытывал меня — любил ли Гончаров своего Обломова или нет? При этом он говорил с презрением о тех, кто не понимает, что такое сатира,

кто привык видеть в ней прием, с помощью которого автор высмеивает своих героев, в то время как на самом деле это борьба автора с собственными недостатками; что не может быть сатиры без любви, и что Гончаров как раз *любил* Обломова и его слугу Захара, а вот как раз Штольца — якобы "положительного" — *не любил*, потому он и вышел такой блеклый... В разгаре этой речи он вдруг остановился и сказал: "Пошли, погуляем немножко, такая чудная ночь на улице"...

На улице свет полной луны лежал на сверкающих скалах, на жиденьких кустах, на шепчущих компаниях сосен, блистал в канавках, соединявших озера внизу, на равнине. Мы шагали рядышком по дороге к поселку, тень Давидова вилась по скалам, а шаг был широк, как у человека, измеряющего поле. Я помню, как он вдруг остановился, воздел голову к луне и произнес нечто об истории народа, начинавшейся в небесах, но без луны... Бог — так, кажется, он говорил — вывел Авраама из дома и приказал ему сосчитать звезды, но луны там не было. Это и есть начало нашей истории, в которой уже заложено будущее — очень серьезное, темное, высокое, безо всякой романтики. Потом евреи стали праздновать новомесечия, когда луна представляет из себя всего лишь серебряный волосок: сдержанная, скромная прелесть; а от полнолуния отвратили глаза, оставив его сиять над полями и гумнами иных народов. Они хоронили красоту в маленьких волшебных коробочках, мезузах, мешочках для филактерий, флакончиках духов, буковках. Только сейчас волшебные коробочки открываются, и красота вырывается на простор... "Черниковский, — сказал он, — понимал, что такое красота, но связывал ее с язычеством, потому что не чувствовал природы нашей страны. Что общего у нас с язычеством? — спросил он. — Здесь красота — это единый Бог, безмерный и именно абстрактный..."

Мелованная улица поселка была точно увиденною во сне, и лунатические паутины опутывали крестьянские дома и дворы. Снизу, от станции, долетал отблеск

уличного фонаря и одинокий смех, — вроде смеха девчонки, ускользающей от волокиты. "Посмотри, какая усталая, старая деревня, — сказал Давидов. — Еще десяти нет — а уже спят! Как будто все их деды-прадеды были крестьянами. Видел ты когда-нибудь их кур? Арабские, обращенные в иудейство. Самая смешная на свете порода!" Вдруг, без предупреждения — словно заправский хулиган, набивающийся на драку ("Вот псих Давидов! — заплесала во мне смешинка. — Сейчас ему надают!") — во весь голос затянул степную русскую песню, прокатившуюся по улице медной бочкой. В одном из окон приподнялись жалюзи, и женский голос буркнул: "Тихо там!" — "Почему же тихо, мамаша? — протянул он к ней руки. — Зачем же тихо в такую ночь, когда сердце рвется на простор?" — "Хочешь, чтобы я полицейского позвала?" — прошамкал беззубый голос из окна, и жалюзи опустились. Давидов стоял секунду, как мальчишка, получивший взбучку. "Пошли обратно, — выдавил он. — Они тут во сне мышшей ловят".

В столовой стояли ребята, спорили насчет делегации профсоюзов на Лондонский конгресс "Коммонвелта"¹, Билтморской программы... Давидов замер и слушал, и я помню, как он их вдруг утихомирил: "О чем это говорят тут? О чем?" — и свел на нет все разногласия, забрасывая вопросами спорившую компанию: Почему не организуется налет на лагерь Атлит, расположенный здесь неподалеку? Чего бояться? Армии? Человеческих жертв? Почему мирятся с этим позором, а также с позорным затоплением "Мафкоры" в открытом море, и с позором изгнания на Маврикий? Почему сюда не приезжают пятьдесят тысяч евреев, сто тысяч евреев из каждой страны, не осаждают этот лагерь до тех пор, пока не выпустят всех заключенных? Какой смысл рассуждать о формулировках резолюций какого-то международного конгресса в Лондоне?... И вдруг,

¹ Британское Содружество Наций.

словно и своим словам он не придавал большого значения, замолк на полуслове и обратился к одному из парней, кладовщику: "Так вот! А теперь, товарищ, принеси арбуз! Зарежем его, напьемся крови и охладим кипящее сердце!"

Окружающие заулыбались: снова одна из давидовских выходов.

— Неси, что же ты стоишь? — заворчал на него Давидов. — Людей жажда мучит, милоч, они хотят арбуз, а ты не понимаешь!

Тот стоял и ухмылялся, впихнув руки в карманы.

— Нельзя, — ответил он, — не положено ночью отпирать.

— Дай-ка сюда ключи. Я отопру! — протянул Давидов руку.

— Извиняюсь, — кривился кладовщик, словно удерживая власть в кармане.

Давидов молча поглядел на него с минуту, будто решая, как с ним поступить. "Давай ключи, — тихо процедил он. — Скажешь, что я, Абраша Давидов, забрал арбуз".

— Только к обеду. Такое правило, — забавлялся тот своими полномочиями.

— Правило! — разорался Давидов. — Давай ключи! — схватил его за воротник. — Правило — он мне говорит! — прижал его к стене. — А по какому-такому правилу я сюда приехал, а? Человек ночью хочет пить, арбуз просит, а ему говорят — правило! Я б от этих правил... клизму ставил...

Ребята рассмеялись, да и сам Давидов улыбнулся. — "Ничего, вообще-то ты хороший парень, — успокоил он прижатого к стенке. — Только вода тут слегка соленая. Ужасный вкус. Пьешь, пьешь, и только больше пить хочется, пока у тебя вся душа не выгорит..." — нежно глянул на кладовщика, потом повернулся и вышел на улицу.

Несколько дней спустя он исчез, так же, как и появился. Продолжая читать "Обломова", я иногда видел его в призрачном мерцании соли и луны. Прошло лет

девять, пока мы с ним не встретились во второй раз.

Список из 27 человек был у меня в руках, и моя первая поездка — через несколько дней после въезда в квартиру, в которой я пишу эти страницы, — была поездкой к старшему брату Абраши, в Зихрон-Яков.

Когда я приехал туда, вечерело, смеркалось, и Йошуа Давидов уже ждал меня у ворот, а возле него — смугловатая, полноватая девушка с печальными ямочками на щеках. Он был толстяком, обладателем роскошных седых усов, с монгольскими улыбочатыми глазами, втиснутыми в румяные щеки. "Господин Йонес? — протянул он мне руку. — Я надеюсь, что вы с легкостью нашли дорогу. Меня зовут Йошуа, а это дочь моей старости, Максима". Максима устремила на меня свой светящийся взгляд, означающий почтительность. В дворовой пыли, между соснами и кустами хибискуса, увешанными красными цветами, копошились курицы. Многорукая сирень расплзлась по жилистой стене, вцепляясь в черепицы. К двери вела ленточка потрескавшихся плиток.

— Так что, пишем книгу об Абраше? — уселся Йошуа за большой стол, на котором стояла миска с фруктами. Некоторая доля скептицизма проглядывала в его улыбочатых глазах. — "Что будете пить? Кофе? Чай?... Максима, подай чай гостю". — Глаза и волосы у Максима были такими же, как у ее дяди. Листья вьюнка закрывали окно, как-то по-особенному затеняя комнату. Йошуа спросил, кто издает эту книгу, и, выслушав ответ, приступил:

— Я вам честно скажу, если бы это было государственное издательство, я бы не стал ничего рассказывать. Я не имел бы к этому никакого отношения. Еврейский народ многим обязан Абраше, но ничем не отблагодарил его, и такую вину не искупить каким-то памятником или чем-то в этом роде. Он плевать хотел на такие вещи. Он бы ночью встал из гроба, как в сказке, и разбил бы этот памятник. Вы, конечно, были с

ним знакомы. Может он такое сделать, верно? Но если это частное издательство, как вы говорите, то это другое дело. Да, — заблестели его глаза, — про Абрашу есть, что писать. Это *грандиозный* сюжет. Вы знаете, что это был за человек? — Эпоха!

Максима подала чай с печеньем и уселась за стол, готовая слушать со священным трепетом.

— Понимаете, — хлебнул Йошуа из своего стакана, — теперь все вдруг о нем вспомнили. Не жаль похвал для покойничка, как говорится. Но пока был жив... Послушайте, ведь больше тридцати лет этот человек скитался по стране, работал на всяких тяжелых работах, не раз приносил себя в жертву, а у страны этой ведь не взял ни полушки медной, как говорится. Зарплата? Кто тогда думал о зарплате! Делали то, что нужно, и все тут. Но когда кончилась война, и он попросил, чтобы ему дали дом в Беэр-Шеве, *разрушенный* дом, который он думал восстановить своими руками, избушка-даровушка, как это тогда называли, — тогда ему ответили: *нету*, все занято! Ты опоздал, сказали ему! Вы понимаете? — Абрам Давидов, который всегда был первым — и вдруг опоздал! А поскольку Абраша Давидов не умел постоять за себя — никогда не умел, — он и умер, как жил, — босяк-босяком! Все нахватили домов, садов, тысячи дунамов отличных маслин, миндаля, виноградников, а он остался в одной рубашке, как говорится. А теперь я слышу, что его упоминают в речах, пишут о нем, делают из него народного героя. *Своего* героя! С какой стати? По какому праву? Хотите кое-что услышать? — Он никогда не был для них *своим*! Стоит вам это иметь в виду.

Вытащил платок из кармана, отер усы, встал, зажег свет и, вернувшись к столу, рассмеялся, сузив глаза, словно пытаясь сгладить впечатление, произведенное напрасной вспышкой.

— Но вы-то тут не виноваты, вы пришли не для того, чтобы выслушивать жалобы. Вы пришли для того, чтобы я рассказал о своем брате, верно?... С чего на-

чать? — задержал он взгляд на дочери, словно советуясь с ней.

— Расскажи о том солдате-татарине, — Максима тянула слова с оттенком тоски.

— Солдат-татарин... — на мгновение призадумался Давидов, потом взбодрился, ткнув пальцем в лист, лежавший передо мной. — Прежде всего напишите, что Абраша не был сионистом. Никогда он не был сионистом! — и, заметив на моем лице удивление, рассмеялся. — Нет, *конечно*, был им, но не таким, каких *называли* сионистами. Вы понимаете — партии, клубы, собрания — это *вообще* не имело к нему отношения. Как можно подальше! Он ненавидел все это!... Что это вы там написали? — указал он на лист. — Авраам Давидов? Зачеркните. Его звали Абрам. Он не был тем, что называется амон-гоим¹, он был единственным и неповторимым гоем! — и широко рассмеялся, тряся усами.

— Он в самом деле был гоем, — продолжал Йошуа, — то-есть, не то, чтобы совсем уж гоем, хотя бы потому, что иврит он знал еще там, и не просто знал, а много читал, учил наизусть стихи и все такое, — а вот *душа* гоя. Вы спрашиваете — как это? Вот я вам расскажу. У нас в Крыму была своя земля, на которой мы выращивали сахарную свеклу и все такое. Ну, вы знаете... — вспомнил он какую-то шуточку. — Во время революции говорили, что Россией правят три еврея — Троцкий, Бродский и Высоцкий. Бродский был сахарным королем... Но не в этом дело. Короче, в наших местах почти что и не было евреев. Немцы, русские, но евреев — очень мало. О Джанкое вы слышали? — Это имение принадлежало одному немцу, Клебрере, потом там наши проходили сельскохозяйственную подготовку. Неподалеку от Джанкоя было и наше имение. Когда мы были маленькими, мы почти что и не видели евреев. Но что же? Папа привез нам учителя из Симферополя,

¹ Амон-гоим — множество народов, всякие там прочие. Гой — инородец, нееврей.

образованного парня, который учил нас слегка маленьким буквам и как следует — еврейской литературе, еще тех времен. По правде сказать, я не любил учиться, но Абраша — таки да. Очень любил читать. Да и играть. О, как он понимал музыку! Ого! Была у него скрипка... Потом расскажу вам и о скрипке. Очень интересная история. Но душа — гойская! Любил скакать на коне, плавать в речке, драться — как один из этих. Он не был сильным, но очень уж был смелым, не знал, что такое страх!... Максима, принеси альбом, покажем его фотографии тех времен...

В тяжелом альбоме, переплет которого был отделан медью, хранились бурые картонные фотографии, окаймленные витыми русскими виньетками. Абраша был виден в окружении семьи, у стола, влетающим на коне в большие усадебные ворота, сидящим на стуле с книгой на коленях, стоящим в гимназической форме, застегнутой и затянутой до самого воротничка. Тогда он был тощим гладколицым брюнетом с печальными и смелыми глазами. Брат выглядел ниже его; широкоплечий и толстощекий, он походил на свою мать, — высокогрудую, с круглым подбородком, походившую на графиню в своей кружевной блузе, широком поясе, с большим медальоном на шее. Йошуа Давидов выкликал, задерживая палец на снимках: это папа, это мама, это сестра Маша, которая умерла от чахотки, это дядя Лева, которого большевики убили в тридцать втором... Очень серьезные, с печальными глазами, гордые, царственного вида дяди, тети и прочие родственники. (А среди снимков дядей и тетей — фотография старого Толстого, идущего за плутом. "Его-то вы, конечно, знаете", — хохотнул Йошуа.)

— Да, я хотел рассказать о скрипке, — вспомнил он, хлопнув альбом. — Это не просто рассказ, это символ! В те дни, летом девятнадцатого, Крым заняли белые под командованием генерала Деникина. У него были полки чеченцев — дикари, убийцы, погромщики. Выгнали красных и держали в страхе всю округу. Грабили, насиловали, арестовывали кого хотели, без суда

и следствия, а для них евреи и большевики — одно и то же. Был у них один полковник, Шаров, который вешал людей на улицах. Каждую ночь слышались страшные вопли из соседних деревень. Абраша тогда был дома, потому что гимназию в Симферополе закрыли. Как-то ночью, когда он играл на скрипке, мы услышали стук в дверь, в комнату вошли два белогвардейца — из карательного отряда Слащева — и заявили, что им известно, что у нас скрываются большевики, потребовали выдать их. У Абраши была горячая кровь, очень быстро закипала, и прежде, чем они успели что-нибудь сказать, он замахнулся своей скрипкой на одного из них и — ах! трахнул со всей силой! Скрипка, конечно же, разлетелась на кусочки, но эти двое — взяли ноги в руки, как говорится, и наутек. Почему они убежали — я до сих пор не понимаю, может потому, что не ждали такого, а может потому, что в комнате было еще несколько мужчин: я, папа, двое русских рабочих — крепких, как дубы, — но только больше мы тех белых не видели. Почему я говорю, что этот рассказ — символ? — Потому что тогда Абраша разбил свою скрипку, самую дорогую для него вещь, о голову голя, — он разбил все свои мечты о России. В ту же ночь он решил уехать в Палестину, и так началась новая глава в его жизни, как говорится.

— Это в самом деле было, — виновато улыбнулась Максима ямочками щек.

Иошуа Давидов оценил своими умными глазами впечатление, произведенное рассказом, и продолжал:

— Я выехал за полгода до него. Не потому, что был сионистом. Я не был сионистом, но... после того случая мы боялись оставаться в имении, бросили все и переехали в Симферополь. Тогда по городу шатались тысячи беженцев — голодные, больные, умирающие. У нас еще оставалось немножко денег, и стараниями английского консула в Севастополе мы вышли на катере к Константинополю, а оттуда приехали сюда. Абраша еще оставался, потому что тогда ему стукнула в голову идея самообороны. Вы же знаете, в чем было его глав-

ное несчастье? — Он ко всему относился серьезно. В Крым тогда приехал Трумпельдор, чтобы основать трудовые поселения, и сказал: "Учитесь воевать и будьте готовы пролить свою кровь за Родину", — так Абраша воспринял эти слова всем сердцем. Решил пойти в "боевой авангард", как это тогда называлось. Но что же? — Именно он и не уехал с авангардом, именно он опоздал к отплытию "Руслана" из Одессы, и приехал в Палестину — в одиночку. Это очень для него типично.

— Расскажи ему о том солдате-татарине, — напомнила Максима.

— Да, солдат-татарин... — засиял Йошуа. — Это он нам потом уже рассказал, когда приехал в Палестину. На "Руслан" он опоздал, как я уже сказал. Почему опоздал? — Потому что его обвинили в краже. Он работал на товарной станции в Симферополе — так там решили, что он украл мешок муки. По-русски говорят: "на бедного Макара — все шишки сыпятся". Все брали муку — для беженцев, — но сцапали именно его. Просидел с месяц, может больше, а потом, когда его выпустили усилиями общинного комитета, решил идти в Палестину *пешком*, через Кавказ, как сказал тогда Трумпельдор: "Перейти пешком через Арарат и захватить Палестину". Короче, Абраша и еще два парня вышли из Симферополя в восточном направлении. Поезда тогда были переполнены военными и гражданскими, и ехать было невозможно. Было у них немного денег, они наняли арбу и катили дни и ночи, пока не добрались до Владикавказа, откуда думали двигаться к Батуму и перебраться в Турцию. В России, как вы знаете, был тогда большой беспорядок; здесь белые, там большевики, тут меньшевики. Азербайджан был советским, а в Батуме, который относился к Грузинской республике, правили меньшевики. От Владикавказа к Батуму надо было пробираться через границу пешком, через очень высокие горы, покрытые вечными снегами. Заплатили деньги одному солдату-татарину, который был контрабандистом, и тот пообещал перевести их через границу. Когда подошли к горам — голодные, устав-

шие до смерти — услышали, что в Грузию вошли большевики. Татарин испугался и не захотел идти дальше. Посреди дороги, на снегу, сказал, что он возвращается назад, в свою деревню, а дальше не пойдет. Что же сделал Абраша? — Набросился на него, отнял у него пистолет и угрожал пристрелить на месте, если тот не пойдет. И татарин пошел! Приказали ему идти на несколько шагов впереди них, а сами целились ему все время в спину, словно пленного вели. Но что же? — Когда пришли в Грузию, татарин заболел и не смог идти. Пал с ног. Те двое, что были с Абрашей, хотели оставить его в горах. Но Абраша сказал: Нет! Оставить человека умирать в снегу? — Только не это. Что же они сделали? — Взяли его с собой, несли прямо-таки на руках! И когда добрались до Батума — татарин не захотел расставаться с ними. Настолько привязался к Абраше, что сказал: ты спас мою жизнь, возьми меня с собой в Палестину! Нашли какую-то барку, плывшую в Турцию — и взяли его с собой, до Константинополя! Татарин потом куда-то исчез, это уж другое дело. Но этот случай дает понять, что за человек был Абраша! Мог наброситься на человека, чуть ли не убить его, но когда тот попал в беду — готов был жизнь за него отдать!... Ну, потом приехал в Палестину, начал дороги строить, но это уже другая глава, как говорится. Наверняка услышите от других. Я-то его в это время не часто видел...

Время было позднее, и Иошуа Давидов предложил мне остаться ночевать у него. Я сказал, что попробую взять такси, и Максима вышла проводить меня к центру поселка. По дороге рассказала мне, что, когда она была девочкой, она прожила несколько дней у дяди в доме, одиноком доме в эвкалиптовой рощице на краю Кфар-Сабы. В находившемся поблизости складе собирались парни и девушки, и Абраша учил их обращаться с оружием. Как-то она прокралась туда и заглянула внутрь через щель в ставне. "Я помню, что он был такой таинственный и такой смелый, что я стояла и дрожала. Станный такой страх... Нет, и не страх... Все было окутано страшной тайной..." Сторож поймал ее

за таким недостойным занятием, и дядя вышел к ней, потянул ее за руку и, отводя домой, сказал, что если скажет кому-нибудь о том, что она здесь видела, то сожгут и дом, и рощу. С тех пор, когда она вспоминала о нем, перед ее глазами вставал огонь, большой пожар. "А что я еще помню, это стук садового насоса в ночной темноте, когда мы шли с ним рука в руку, и я страшно дрожала, Вот что-то такое... и до сих пор, до сих пор..."

7

Прошла неделя, и я получил письмо от дочери Йошуа Давидова, которое я храню вместе с немногими другими, последними листочками, которые в дни листопада ветер разнес во все стороны:

"Здравствуйте, господин Йонес!

Я полагаю, что Вы работаете сейчас над черновиками книги о моем дяде, и спешу послать Вам это письмо с двумя просьбами:

1. Мой отец желает уточнить одну деталь в рассказе о бегстве Абраши из России. Город, в котором он со своими товарищами встретил солдата-татарина, был не Владикавказ, а Пятигорск (папа вспомнил об этом после Вашего отъезда, и это очень его огорчило).

2. Я прошу Вас, ради всего святого, не упоминать в книге ни единым словом ни меня, ни того, что я рассказывала Вам по дороге к стоянке такси. Мне очень дорога память о дяде, и я не хотела бы, чтобы в посвященную ему книгу вошли детали, которые не представляют никакой ценности, и я стыжусь, что наболтала все это. Я знаю, что Вы не поймете этого. Может, я смогу объяснить это Вам, если мы как-нибудь встретимся.

Я надеюсь, что Вы выполните обе мои просьбы, и желаю Вам (вместе с моим отцом) успеха в Вашей важной работе.

Глубоко уважающая Вас

Максима (Давидова)

NB. Я нашла в библиотеке журналы, в которых на-

печатан Ваш рассказ "Герой нашего времени". Мы с папой читали, и оба были в восторге!"

("Глубоко уважающая Вас"... Я передаю этот документ в руки истца, в качестве дополнительного обвинительного свидетельства: вот пример того, как обвиняемый издевался над неискушенностью этой чистой души, которая поверила ему и терпеливо скромно ждала, пока созреют грозди в его винограднике, а он тысячуто взял, а виноградник¹ ... Да, признаюсь: теперь, когда мой взгляд падает на этот круглый почерк, такой девственный, такой невинный, мои уши сторают от стыда. Куда бы я спрятал от нее глаза, если бы мы в самом деле как-нибудь встретились — где-нибудь, случайно? Что бы я сказал ей?)

Я не встретился с ней. Получил письмо, сунул его в ящик. Зачеркнул Владикавказ, вписал Пятигорск. Несколько дней спустя я снова уехал на поиски следов ее дяди. Я ехал к Хаве Хавкиной, медицинской сестре в Кфар-Ата. Прибыл в клинику в назначенный полуденный час и ждал в коридоре, пока она не управится со своей работой.

— Прости, что я принимаю тебя здесь, — сказала Хава Хавкина, моя руки под краном, после того, как пригласила меня войти. — Я живу в Кирье, и в четыре снова должна быть на работе. Вот я и решила, что лучше нам встретиться здесь, — и, вытирая руки, продолжила. — С Исайкой Голаном ты уже встречался? Стоит тебе с ним поговорить. Он тебе может многое рассказать о тех временах, больше, чем я, — потом уселась напротив меня за кабинетный стол и, разглаживая свои посеребренные шелковые волосы, сказала. — И в са-

¹ Намек на притчу о "тысяче серебром", взятой в счет будущих плодов виноградника (Песнь Песней 8:11–12).

мом деле, не знаю, много ли я могу тебе помочь... С тех пор прошло больше тридцати лет, да и память уже не такая ясная. Попробую.

У нее был приятный голос. Располагающий к спокойствию, как и ее мягкие волосы, расчесанные на пробор и собранные на затылке; как и мелкая зыбь морщин, собранных в уголках губ и вокруг ясных глаз.

— А ты еще и записываешь? — улыбнулась она, увидев передо мной лист бумаги. — Это так обязывает... Да, но иначе ты, конечно же, не запомнишь...

Она облокотилась на стол, сложила ладони на ясном лбу, поставив перегородку между ней и мной, или между нашим временем и теми деньками, и призадумалась. Слегка прикрыла глаза, углубив морщинки по краям губ. Запах эфира и лекарств охлаждал тихий воздух комнаты.

— Да, — распахнулось молодое небо в ее глазах. — Я расскажу тебе несколько эпизодов. Мы работали на дороге Тверия—Цемах. Ты, конечно, знаешь, как это было: ряды палаток вдоль всей дороги, люди работают — кто камни бьет, кто на прокладке, кто в карьере. Мы не были привычны к таким работам, и руки прямо-таки горели от мозолей... Особенно было страшно, когда мозоли лопались, — так жгло!... Как соль по свежей ране!... Но всеми владело большое упорство, стыдно было сдаваться перед болью. Я помню первый Абрашин день на шоссе. Я не была с ним знакома, потому что он приехал позже нас. Приехал один. Вообще-то все приезжали группами и так распределялись на работы: группа из Орехова, группа из Могилева-Подольска, группа из Мариногорска, — по городам. Он был из Крыма, но приехал не с крымчаками. Кажется, ни с кем и не был знаком. Я сидела у своей кучи камней, под палящим солнцем иорданской долины, и крошила камни. Напротив меня, у другой кучи, сидел он, новичок. Он был очень красивым парнем, худым, высоким, черным, с красным платком на голове; был похож на цыгана. Я видела, что он очень старался. Бил своим ма-

леньким молотком, бил, а камни не кололись. Моя горка щебня была выше, чем у него, продолжала расти, а его — почти не менялась. Я подошла к нему, чтобы показать, как колют, — я уже была "специалистом" в этом деле, — но он отказался. "Незачем, — ответил он. — Сам выучусь". Очень был молчалив. К полудню у меня была большая гора, а у него — маленькая кучка. Я почувствовала, что он очень огорчен. Это было ему обидно! Сильный, большой парень — а вот... Но он ничего не сказал. Продолжал весь тот день и следующим утром. А когда приблизился час обеда — снова та же история: у меня большая гора, у него — маленькая кучка. Он швырнул вдруг свой молоток о камни, подошел к распорядителю. Или, говорит, в карьер, или — вообще ничего. На колке он работать не станет. В карьере, как ты знаешь, тогда было очень тяжело работать. Орудовали баламиной, большим тяжелым ломом выковыривали огромные камни. Очень тяжело. Распорядитель пытался ему объяснить, что он не сможет там работать, потому что он еще новичок, но он ни в какую: либо в карьер, либо он мотает отсюда. Распорядитель сдался. И в тот же день он начал работать в ущелье, ворочать баламиной. Вечером... Вечером я увидела совершенно другого человека! Сияющего, гордого... — воспоминания сверкали в глазах Хавы Хавкиной. — Ты знаешь, у него был чудесный голос. Стальной, сильный, с таким широким резонансом. Рассказывали, что в России он играл на скрипке. Почему мне вспомнился его голос? В тот вечер, когда мы сидели на берегу Киннерета и беседовали... В те времена, ты знаешь, на строительстве дорог почти что и не было личной жизни. Все делали вместе. Даже письма, которые мы получали, показывали один другому. Теперь трудно это понять. Но зато мы вообще не уставали! Ночи напролет, после тяжелой работы, мы сидели на улице, пели, танцевали. Нет, это не легенда, это *в самом деле* так было! — А в тот вечер — вдруг мы услышали голос, кто-то пел по-русски. Он разливался, вроде бы, для самого себя, а мы сидели и слушали, будто видели, как песня расте-

кается по Киннерету, словно лунный свет, и сердце наполнялось...

Хава Хавкина глянула на меня из своей далекой юности:

— Я не знаю, значит ли это что-нибудь для тебя, — то, что я рассказываю. И в самом деле, какие-то неважные подробности, но ты знаешь, из таких мелочей состоит жизнь. Иногда я пытаюсь вспомнить человека, которого я уже долго не видела, и никак не могу вообразить перед глазами его целиком, только какой-нибудь мелкий жест, как он, например, гасил сигарету в пепельнице...

Потом продолжила:

— Расскажу тебе один эпизод. Ты знаешь, мы были тогда очень молодыми, пылкими, с великими замыслами о заселении страны, о создании коммуны всех трудящихся Израиля... Что-то вроде революции, только иначе, по-нашему. Но бывало и грустно. Да. Многие покидали нас, многие возвращались за границу. Не только сейчас уезжают, и тогда тоже... Бывало, кончали с собой. Было такое время, когда мы работали возле Мигдаля, что не проходило недели без самоубийства. Сегодня это уму непостижимо. Может, потому, что тогда люди воспринимали жизнь всерьез: или воплотить идеал во всей его полноте или... лучше уж вообще не жить. Никаких середин. Такая была психология. Ну, и была у нас в Мигдале красавица, звали ее Прекрасная Сарочка. Исключительной красоты. Большие черные глаза, тонкое лицо, чуть ли не прозрачное. Как-то ночью пошла и утопилась в Киннерете. Это потрясло весь отряд. Назавтра никто не вышел на работу, все отправились на похороны, сотни людей, изо всех звеньев отряда. Даже из Кфар-Гилеади приехали. Все — кроме Абраши. Он один остался в карьере и крушил камни. Когда его потом спросили — почему он не пошел на похороны, он ответил: "Кончать с собой — это преступление. Преступников судят, а не слезы по ним льют. И весь этот почет только поощряет самоубийства!" Приблизительно так он ответил. А может, он и был прав.

Возможно, если бы люди знали, что самоубийц осуждают, согласно еврейскому обычаю, — может, это останавливало бы...

Хава Хавкина провела пальцами по лбу, словно отгоняя тучу, глянула на меня и вспомнила что-то:

— Да. Как-то Абраша исчез, и мы не знали, где он. Говорили, что его видели по дороге на Тверию, но он не вернулся ни вечером, ни наутро. Мы знали, что он не уехал, потому что вещи оставил в палатке. Начали волноваться. Послали людей в город, во все стороны отправлялись всадники, искали его и не нашли. Мы очень боялись за него. И вот — через два дня, вечером, он появился в столовой, сияющий, — и рассказал, что ходил в Хоран. Один. Мы прямо-таки были потрясены! Ты знаешь, в те времена мы увлекались идеей казачества — хотели создать трудовые оборонительные поселения на границах. А Абраша мечтал именно о Хоране. Он был очарован. Другие тоже были им очарованы, но только Абраша мог ни с того ни с сего бросить работу, никому не сказав ни слова, и уйти в одиночку за Иордан. Таким уж он был... Диким конем. Всегда делал что-то неожиданное, ни с кем не советуясь. Все время будто сидел на колючках, как тогда говорили.

— Смотри, — положила она руки на стол, — легко сказать, что Абраша был человеком необыкновенным, исключительным, особым типом. Но может быть *мы все* были тогда такими. Слегка необычными. Чужаками. Был какой-то такой контраст — жили вместе, и все-таки у каждого был свой мир... Как объяснить тебе? С одной стороны было единство — во всем, во всем! А с другой стороны — какой-то такой индивидуализм! Что ни человек — страшный индивидуалист! Может, в этом и была наша трагедия... Ты знаешь, иногда я смотрю вокруг и думаю: когда-то в стране было так мало народу и так много разных типов, а теперь — *уйма* людей, и все на одно лицо! Это, конечно, смешно, то, что я говорю, но... такое ощущение... Может потому, что я уже не так молода, может быть...

Снова приложила руки ко лбу, словно силясь при-

помнить что-то, и в ее тонких морщинках собралась печаль.

— Когда ты уйдешь, я наверняка еще что-нибудь вспомню, всегда со мной так, — печально улыбнулась мне и замолчала. — Вообще-то, — сказала потом, — он не был с нами до самого конца... Ты, конечно, знаешь, что он вышел из Отряда еще до роспуска. В двадцать втором или двадцать третьем. Дошел вместе с нами до Нуриса, а когда начались большие разногласия с левым крылом — ушел. Говорили, что он был тогда на стороне Элкинда, возражал против перехода на постоянное поселение. Но я не думаю, что это была причина. Он просто был таким человеком, не мог долго сидеть на одном месте. Цыганская душа. Стать крестьянином — это в самом деле было не в его характере. Но... Он любил эту страну, очень любил, очень...

— Ну, что я еще могу сказать? — задумалась Хава Хавкина. — Кажется, что это все... Да, были, конечно, романы, всякие там дела с девицами, которые любили его, у которых вся жизнь пошла кувырком из-за него... Но для истории это не важно, верно?... Ты видишь, не многим я тебе помогла. И память уже изменяет. Стоит тебе встретиться с Исайкой Голаном. Он и знает и помнит больше.

— Странно, — грустно глянула она на меня, — такая маленькая страна, а вот представь себе, что пятнадцать лет, с похорон Залкинсона, я не виделась с Исайкой. Так вот, наши люди по большей части встречаются на похоронах... Хорошо, что ты собираешь эти воспоминания. Наверняка, обработаешь, сделаешь единое целое. Абраша был такой интересной и прекрасной личностью, что просто жалко, если память о нем никак не сохранится...

Вчера, во вторник, 15 июля, состоялось четвертое заседание суда: "Издательство Д.Карпиновича против г-на

Ионы Рабиновича, именуемого Йонес". Заседание началось заявлением со стороны адвоката истца — неожиданный маневр, удививший меня, смутивший моего защитника, вызвавший неопределенную улыбку на лице судьи Бенвеништи. Издательство, — провозгласил адвокат Эврат, — готово отказаться от своих требований, от взыскания аванса, от возмещения ущерба, при условии, что я, обвиняемый, передам ему записи бесед, которые я вел, встречаясь с людьми, знавшими Давидова, — в сыром, необработанном виде.

Судья глянул на моего адвоката с надеждой — исподлобья, наклонившись к кафедре. "Весьма благородное предложение", — промямлил он.

Да, адвокат Шило был сильно смущен. Похлопал из-за очков глазами и сделал вид, что разглядывает какие-то документы. Я глядел на него, испытывая удовольствие от того, что он потерпел поражение, и почти не волновался. Этот дурень строит мне песочные замки, так что одного пушечного выстрела достаточно, чтобы стереть их с земли, словно их и не было. Чтобы выиграть время, как я полагаю, он пригладил лысину и сказал:

— Какие записи имеются в виду?

— Имеются в виду, господин Шило, те записи, что вел ваш подзащитный, опросив двадцать семь человек, которые поделились с ним, каждый в свою очередь, воспоминаниями о покойном Давидове; эти записи должны были послужить основой для создания книги. Что-нибудь по крайней мере, как мы надеемся, ваш подзащитный успел сделать в счет девяти тысяч лир, полученных им от издательства, или, быть может, не сделал и этого?

(Какой красивый, какой гибкий, какой молодой, сверкающий, ясноглазый у них адвокат; а мой — лысый увалень, с тяжелой головой и толстыми пальцами!)

Адвокат Шило взял в руки текст договора, содержащий четыре листа, энергично вскинул первую страницу и спросил:

— Не будет ли так любезен мой ученый коллега указать то место в договоре, где говорится что-нибудь о записях, которые, якобы, обязан был вести мой подзащитный?

Адвокат Эврат взял свой экземпляр договора с кафедры, торжественно вознес его, словно собираясь возвестить народу "Великую Хартию"¹, и прочел ясным голосом:

— Пункт четвертый, параграф первый: "Сторона Б обязуется подготовить названную книгу в течение упомянутого срока в соответствии с имеющимся материалом и на его основе. Материал, имеющийся в письменном и устном виде, будет собран, отредактирован и обработан стороной Б постольку, поскольку он имеет отношение к жизни и смерти покойного Давидова". Повторяю: "Имеющийся в письменном и устном виде"! И далее, пункт восьмой, параграф третий: "Эти суммы, которые сторона Б получит в сроки, указанные ниже, будут рассматриваться в качестве оплаты подготовительной работы, включающей запись воспоминаний и иного фактического материала о покойном из уст людей, знавших покойного, а также собрание и обработку этого материала". И так далее. Повторяю: "Запись воспоминаний и иного фактического материала"! Мне кажется, что эти строки сформулированы самым недвусмысленным образом!

Взгляд моего защитника витал в паутине параграфов лежавшего перед ним документа. Пошевелив лбом, он высвободил из паутины свою голову:

— Несмотря на несомненную изощренность моего ученого коллеги в пунктах сего договора, — сказал он, — я не вижу, где же здесь сказано о том, что мой подзащитный обязуется вести какие-то регулярные записи фактического материала. Составитель договора в пункте, говорящем о "записи воспоминаний", подра-

¹ "Великая Хартия Вольностей" (Магна Карта) — провозглашена в Англии в 1215 г.

зумевал соби́рание материала исключительно для нужд самого автора, а это можно было сделать и составляя конспекты, наброски, делая пометки, не представляющие из себя сплошного и читаемого текста, могущего быть использованным кем-либо, кроме самого автора. Как бы то ни было, в настоящем договоре нет никакого обязательства на сей счет.

— Господин судья! — подскочил адвокат Эврат. — Податель сего иска готов привести двадцать семь свидетелей, которые покажут, что обвиняемый записывал сказанное ими полностью, сплошным и аккуратным текстом. Эти записи должны находится в его руках, и мы хотим получить их в качестве минимального возмещения, вне всяких пропорций с огромными суммами, полученными им от издательства. Это возмещение не составляет и малой доли того, что требуют закон и справедливость, и если мой подопечный любезно удовлетворяется этим, то это не что иное, как благородный жест по отношению к молодому писателю с тем, чтобы спасти его от позора перед общественностью, перед всеми, кому дорога память о покойном Давидове.

Господин судья с надеждой уставился на моего адвоката. Господин Шило, знавший точно так же, как и я, что случилось с этими записями, снова поморгал глазами, и капельки пота выступили на его лбу жемчужинами его плешивой короны.

— Господин судья, — сказал он низким голосом, — в настоящем договоре никоим образом не сказано, что автор обязан предоставлять какие бы то ни было записи издательству. Мне кажется, что в этом вопросе мой подзащитный не отступил от договора ни на иоту.

Признаки нетерпения проступили на лице судьи. Он положил ручку, оперся на локти и приподнялся над кафедрой:

— Предложение истца находится вне рамок этого суда. Оно уменьшает требования договора, а не увеличивает их. Я не понимаю, почему бы вам не принять это предложение и не покончить со скандальной историей, не делающей чести ни одной из сторон.

— Господин судья, — скривился мой защитник, — я не понимаю, почему мой подзащитный должен передавать издательству материал, который был предназначен исключительно для использования им самим, и в аспекте...

— Вы настаиваете на том, чтобы мы продолжали разбирательство в соответствии с обвинительным актом, не принимая во внимание компромиссное предложение истца? — прервал его Бенвеништи.

— Да, господин судья, — помрачнел мой защитник.

Тут поднялся адвокат Эврат, упер руку в бок и начал разматывать заново свои обвинения. С резкостью опытного фехтовальщика он выкрикивал пункты договора, один за другим, показывая, как каждый из них был полностью выполнен его подопечным и ни один из них, даже частично, не был выполнен мною: я, живой, обязавшийся писать об умершем, уронил честь живущих и покрыл позором имя покойника. "Влекомый беспримерным цинизмом, — звенел в зале его голосок, — невероятным в человеке, называющем себя писателем, сей муж продолжал получать свое жалование, пятьсот лир в месяц, в течение полутора лет, не потрудившись ударить пальцем о палец и, как я подозреваю, не затрудняя этим даже свою совесть! Вся работа, которую он сделал в счет этих девяти тысяч полновесных лир, сводится к опросу двадцати семи человек, работа, которую можно было выполнить и в двадцать семь дней, и относительно которой, в свете удивительного несогласия ответчика принять щедрое предложение истца, можно сомневаться — остался ли какой-то след от плодов того труда. Господа, обратите внимание! Девять тысяч лир — за работу, которую всякий начинающий журналист, любая необразованная стенографистка могли бы выполнить в несколько дней с той же степенью полезности, если не большей! Мы оказали доверие этому человеку; двадцать семь граждан, вверивших ему самые дорогие воспоминания, оказали ему доверие; сотни людей, которым дорога память о покойном, оказали ему доверие — а он злоупотребил

им! Господин судья! — откинул Эврат волосы с энергичного гордого лица. — Мне известен лишь один случай, напоминающий рассматриваемый нами — да и тот есть не что иное, как нравоучительная история — это *поведение двух портных в сказке о новом платье короля!* Получив большую плату, они заперлись в комнате, делая вид, что погружены в работу, пользовались доверием короля и его министров — и ничего не делали! И если рассматриваемый нами случай все же *не* похож на ту сказку, то лишь с той малой разницей, что те портные делали вид, что шьют платье для глупого короля, а портной, стоящий перед нами, делал вид, что шьет тогу для почитаемой нами личности, которой гордится весь народ!”

Воцарилась тишина. Я с трудом удержался от того, чтобы не встать, не подойти к трибуне и не пожать ему руку — на глазах у судьи, любопытствующей публики, на глазах у моего болвана-адвоката, видя удрученное лицо которого, я испытывал сладкое удовольствие мстителя. Какая убедительная демонстрация силы: гладиатор на арене! Какая блестящая речь молодого Цицерона, обвиняющего Гая Вара перед римским Сенатом! Какие отточенные жесты — не сравнить с тем, как сыплет всем пыль в глаза мой адвокат, лягаясь по-ослиному!

Но случается, что и ослиное копыто высекает искру. После двух-трех минут тишины, когда, казалось, все были охвачены единым порывом, клеймя меня позором, — встал адвокат Шило и заговорил. Начал он с того, что нет смысла реагировать на беспочвенные обвинения, выдвинутые истцом против его подопечного, потому, что, когда справедливость восторжествует, станет ясно, что всякий ищет у ближнего собственные недостатки. Вместо того, он желает обратить внимание суда на один из пунктов договора, которому до сих пор не было уделено достаточно места...

Тут и была высечена та искра, так что и сам я похлопал глазами, завидев ее блеск: на предыдущем заседании мой адвокат строил защиту на том утверждении,

что у писателя есть право закончить свой труд, не ограничиваясь временем, даже если договор и устанавливает подобные ограничения ("сам дух договора противоречит осуществлению естественной свободы творчества, а потому такой договор не может считаться законным"). Теперь же он оставил укрепленные позиции, стоившие ему крови и пота, и вбивал столбик в жидкую кашу из двух слов — "высшая сила" или, на языке юристов, "форс-мажор".

— Что здесь сказано? — пошевелил он свой экземпляр договора. — Здесь сказано, что "сторона Б обязуется закончить работу над книгой и передать рукопись стороне А в готовом для печати виде не позже, чем через восемнадцать месяцев со дня подписания договора, за исключением случая вмешательства высшей силы, которое лишит его возможности выполнить обязательство в назначенный срок". Господин судья, защита желает показать, и я верю, что это ей удастся, применимость этой оговорки к нашему случаю.

Насмешливые улыбки обозначились на губах адвоката Эврата и его помощника.

— Вы хотите сказать, — попытался судья Бенвеништи постичь всю глубину намерений моего адвоката, — что господин Йонес какое-то время болел в течение этих восемнадцати месяцев и не смог вовремя закончить работу?...

— Пусть принесет справку от врача! — пискнул низенький помощник Эврата.

— Мы слышали, что писатель творит вышней *милостью*, но как-то нам еще не доводилось слышать, чтобы мешало писать вторжение высшей *силы*! — крикнул, посмеиваясь, адвокат Эврат.

Мой защитник не обратил внимания на эти выпады.

— Господин судья, — сказал он, — рассматриваемый нами случай не знаком судебным инстанциям, и я прошу обратить на это внимание. Вводя оговорку относительно "форс-мажор", законодатель имел в виду повреждения, которые могут нанести силы природы трудоспособности человека, не давая ему возможности

выполнить обязательства к сроку, как, например, болезнь, увечье, катастрофа, война, смерть. Легко показать, что во всех этих случаях подразумеваются повреждения тех частей тела, которые служат человеку в его работе, предусмотренной обязательствами. Эта оговорка освобождает, например, плотника или слесаря от выполнения работы в срок, если повреждена рука. То же в случае с футболистом, у которого повреждена нога, или со скрипачом, утратившим слух. Что можно считать аналогичным случаем в применении к писателю? Господин судья, мне кажется совершенно ясным, что инструментом писателя является не перо и не рука, которой он пишет, — ибо это дано всякому человеку, — а *вдохновение*. То, что мы называем "музой", "творческим подъемом", "Божьим даром". Если будет доказано, что вдохновение ослабло или вовсе ушло на некоторое время в течение срока, указанного в договоре, — это и будет тем случаем, на который распространяется оговорка о "форс-мажор". Я постараюсь это доказать; при этом покажу, что решающим здесь является свидетельство самого обвиняемого!

Вынужден признать: это была блестящая и убедительная увертка. Тонкости закона, как правило, казались мне противоречащими здравому смыслу, искажающими его, но тут была своя логика. Может, он и прав, — подумал я, — то есть, возможно, что прав я... Не так считало обвинение: господин Эврат встал и заявил, что если была бы хотя бы капля правоты в словах его ученого коллеги, было бы бессмысленно заключать договоры с писателями, потому что "вдохновение" может покинуть их в любое время. А потом — когда вновь пришла его очередь говорить — сказал, что книга, которую я обязался написать, вообще является не художественным произведением, а продуктом ремесла, и все разговоры о "творческом подъеме" и тому подобном не имеют к нашему случаю никакого отношения. "Ах, так!" — вскочил мой защитник. — "Почему же издательство обратилось именно к писателю?" — "Писателю?" — крикнул с места помощник

Эврата. — "Еще не известно, имеет ли право ваш подзащитный носить это звание!..." Я не стану утомлять читателя многочисленными подробностями этих крикливых переговоров, которые велись между трибунами, и во время которых я чувствовал себя курицей, о цене которой ведется буйный рыночный спор. В конце концов мой защитник попросил права привести на следующее заседание в качестве эксперта почетного председателя Союза писателей. Это право было ему дано, несмотря на возражения истца. Заседание закончилось сообщением судьи о том, что суд распускается на летние каникулы, и следующее заседание состоится после осенних праздников.

В коридоре меня нагнал адвокат Эврат и сказал: "Если бы вы были порядочным человеком, господин Йонес, вы бы встали и признались в том, что этих записей у вас уже нет. Эти бессмысленные увертки не делают вам чести ни как человеку, ни как писателю".

Вчера — впервые после того, как я начал писать эти строки, — я вышел из своей комнаты (перо, как упрямый мул, вновь отказалось тянуть) и отправился в "Подвальчик"; в эту берлогу, проспиртованным воздухом которой я дышал бесчисленное число ночей, но куда вот уже несколько недель не ступала моя нога. Вся братия была на месте, как это водилось испокон веков, они уже порядочно набрались и приветствовали меня такими радостными воплями, словно я восстал из праха: "Дрейфус!", "Сократ!", "Герой нашего времени!", "Жертва чернильных наветов!" Элираз прошел, качаясь, между столами, разбрасывая сидевших на его пути, разбив несколько рюмок, бросился мне на шею и задыл: "Чего они хотят от тебя, Йонес? Чтобы ты вдохнул душу... в... иссохшие кости? Зачем? Зачем?..." — уронил голову мне на плечо, сильно икнул и, когда я попытался установить его в вертикальном положении, вырвался и птицей устремился к уборной. Когда я уселся, все стали требовать отчета о по-

следнем заседании суда, коротенькую заметку о котором прочли в вечерней газете. Когда я рассказал им о хитрой уловке моего адвоката, они вновь расшумелись и заорали песню, вытягиваясь и помахивая кулаками: "Только "форс-мажор спасет от тюрьмы! Только форс-мажор — холера их возьми! Только фсрс-мажор управляет людьми!..." и тому подобные стишки. Подошел официант, попросил вести себя потише, но только подлил масла в огонь. Даже я, выпив несколько рюмок, расхрабрился и заказал бутылку за свершение справедливости. Налили, подняли рюмки. Накдидмон произнес тост, полив грязью и меня и мою книгу, Оснат прошебетала несколько строк из Франсуа Вийона ("И сколько весит этот зад — узнает только шея")... И где-то тут у меня в глазах заискрилось, а пока я пил и пел, рука Хагит уже обвилась вокруг моей шеи, щека прижалась к плечу. Я смутно помню, что она вывела меня — время, видимо, было очень позднее — на свежий воздух, остановила такси и поехала со мною; помню еще какие-то препирательства с водителем возле моего дома, возгласы "Эй, тихо там!" из какого-то окна; мое неуверенное восхождение по ступенькам, когда я опирался всей тяжестью тела на ее хрупкие плечи; продолжительные поиски ключа в моем кармане, сопровождаемые смехом. И когда мы были в комнате, она не прекращала спрашивать — почему я прячусь, почему я откололся от братии, продолжаю ли встречаться с Нили. Я ответил ей, что продолжаю писать роман, который начал три года тому назад. "Герой нашего времени?" — спросила она. Да. Герой нашего времени.

Проснулся я только в полдень — с разламывающей головной болью. Спускаясь вниз, я встретил хозяйку, госпожу Зильбер, глядевшую на меня с укоризной: "Вы губите себя, Йонес, поверьте мне. А кроме того... это не делает вам чести. Простите, что я вмешиваюсь не в свои дела".

Не делает мне чести? Пожалуй... "Но честь свою я утопил в бокале, а имя доброе я обменял на стих". Однако я терпеть не могу подачек. Не скажу, что воспоминания о "Подвальчике" вызывают в моей памяти запахи весенних цветов, не скажу также, что в его стенах я испытывал особое вдохновение или видел священные искры, восходящие над столом, или что через его песни я постиг "тайну духовного взаимопроникновения", пользуясь языком хасидов. Я провел там много ночей, опутанных паутиной; это были пустые ночи бездельников в сетях неоновом свете; или развратные ночи, водившие по светлячковым, светофорным улицам в певучие берлоги — такие ночи кончались, большей частью, белесым утром в моей комнате, когда я, просыпаясь, находил возле себя налитую усталостью наготу, поджатые коленки, разметавшееся по подушке обилие волос — черных, рыжих или золотых (Нурит? Хагит? Дина?) ... Я не тоскую по всему тому, по этим "двадцати двум грешникам, у которых был там особый пропуск", как сказал В.Оден; особенно после запутанной истории с Эвьятаром и Нили (об этом я еще расскажу в свое время), из которой я вышел с разбитым сердцем. Но я ненавижу тех праведников, которые нудят мне, что "блажен муж, не ходивший..."¹, или не сидевший, или не лежавший; которые хотят посадить меня при потоках вод, чтобы я вовремя приносил плоды². Это рабство людей ученых, ярмо которого я уже сбросил с себя... Во всяком случае, нет повода связывать это именно с "Подвальчиком".

Впервые я попал в "Подвальчик" случайно — вечером, два года тому назад. Я возвращался домой, встретившись с неким Этингером (номер четвертый или пя-

¹ "Блажен муж, что не ходил на совет нечестивых..." (Псалом 1:1).

² Парафраз того же псалма (1:3).

тый в списке), пожилым иерусалимским чиновником, который рассказал мне о том периоде в жизни Давидова, когда тот работал в "Ратисбон" (1923 год). Когда я шел от остановки к дому, мимо меня прошел Накдимон. Повернув голову назад, я увидел, что и он обернулся, и так мы простояли несколько секунд. Он заговорил первым: "Ты Йонес, верно? Я уже и не помню, где мы встречались. Не в армии ли?" (Отлично помнил, трепло. Мы натыкались друг на друга и в университетских коридорах, но там он проходил мимо, делая вид, что не знаком со мной, хотя нам часто случалось вместе слушать лекции по английской литературе. Потом я натыкался только на его имя в субботних приложениях газет, над стихами, форма которых стоит перед моими глазами: равносторонние треугольники, лежавшие один над другим, или длинноствольные пистолеты, и впрямь содержавшие немало динамита.) "Может быть", — ответил я. Он поглазел на меня ледяным взглядом, думая, что бы сказать, потом спросил, равнодушно оттягивая слова: "Скажи-ка, а чего это ты не кончаешь тот роман? Начало было что надо, очень неплохое". Я ответил ему, что еще займусь им, когда придет время. "А пока что же?" — "А пока, — ответил я ему, — я собираю материал для книги о Давидове". — "Это может получиться очень поучительная книга", — сказал он (и ни тени улыбки не появилось на его надутым лице). — "Что же плохого в поучительной книге?" — спросил я. — "Я это на полном серьезе, — отрезал он, — Давидов был народным героем, не так ли?" Тут он спросил меня, куда я направляюсь, и предложил мне проводить его до "Подвальчика". По дороге полюбопытствовал: "Интересный тип этот Давидов, а?" Я ответил ему, что получаю большое удовольствие от рассказов о нем. Накдимон остановился у книжной лавки и взгляделся в освещенную витрину. Когда мы двинулись дальше, он сказал: "Послушай, кто, вообще-то говоря, был этот Давидов? — Обычный человек, который умел хорошо работать, а по ходу дела пришел некоторое количество арабов. В любой части света та-

кой человек рождается, живет, умирает и отправляется на кладбище. Раз в год его жена приходит к могиле, приносит букет цветов и уходит — в сопровождении второго мужа. А здесь из такого человека делают героя". И, пройдя несколько шагов молча: "И не только из него. Каждый год 11 адара выжимают слезы из школьников, и те поют с чувством: жил-был загадочный герой с одной-единственной рукой... Да кто он был, в конце-то концов, этот загадочный герой? В прошлом неплохой офицер, который защищал свой дом от грабителей. Ну и что? Такие есть в огромных количествах по всему свету, и никто не помнит, как их зовут. Здесь вот уже сорок лет при упоминании о нем встанут по стойке "смирно", поют гимн, машут флагами, отправляют учеников по домам в одиннадцать, и учителя ложатся отдохнуть". Он говорил неспешно, растягивая слова, словно раскатывая тесто по доске. — "Или Иошуа Хенкин. Еще один герой, в честь которого называют улицы и поселки, сажают в его честь леса. Прожженный скупщик земли. Вот и все. Или А.Д.Гордон. Приятный старикашка, не скажу, что нет... Но зачем этой стране нужны герои? Делают себе романтику из любого серенького занятия, которому люди предаются в силу необходимости, как, например, земледелие, охрана, защита собственной жизни. Вечность Израиля! Избранный народ! Хотят убедить тебя, что в роковых обстоятельствах у человека есть выбор. И чтобы было у тебя ощущение выбора — пичкают тебя Святым Писанием, народными песнями, вытаскивают людей из могил, чтобы сделать из них национальных героев. Кому все это нужно? Я живу в этой жаркой, потной, мать ее растак, стране, потому что я здесь родился, и все тут! И не нужен мне для этого Давидов. Это же смешно! Инфантильно! Посылают несчастных марокканцев против их воли в пустыню, вешают им табличку при въезде в поселок: "Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется степь"¹. С чего это

¹ Исайя 35:1.

возрадуется? Кто это развеселится? Кому там радостно? Кому весело? Разве что тем, кто толкает речи во время закладки первого камня, а потом разъезжается по домам на своих машинах?... Почему не продают "Хатикву" арабским беженцам? Теперь они могут петь вместо нас, со слезами на глазах — "вернуться на землю наших отцов"... Можно еще отхватить за это приличную сумму...". Мы вошли в "Подвальчик" и подсели к небольшой компании, собравшейся вокруг стола. Накдимон навел пустой взгляд на юношу, украшенного черной бородой, и сказал: "У тебя в эту пятницу было одно неплохое стихотворение. Последнюю строчку ты, правда, украл у меня, да уж чего там, не ты первый". Тот степенно изловил муху, плывшую в его тарелке с супом, стряхнул ее на пол и рассмеялся: "Сколько же прикажешь уплатить? Две строчки из моих?" — "Из твоих? — хмыкнул Накдимон. — Твоего у тебя и нет ничего. Разве что стол".

Вот, однако, "Подвальчик": четыре стены, украшенные набросками обнаженной натуры; малюсенькие масляные работы Дариуса (стоимость неумного пьянства в моменты денежных затруднений); красавец-официант из Польши, всевидящий и хранящий тайны; раскормленная повариха из Венгрии, у которой наша братия вызывает отвращение ("Это, что ль, писатели? Скоты!" — бросает в наш адрес эта разъевшаяся хрюшка), залитый неоновым светом зал — на три ступеньки ниже тротуара. (Когда мы сидели у входа, мы могли видеть нижние половины прохожих, словно плывущие по конвейеру. Иногда, когда нам нечего было делать, мы соревновались в угадывании черт лица проходящих по улице девушек по их шиколоткам и бедрам. "Генерала" посылали на улицу, он возвращался и объявлял результаты. Победенный штрафовался, ставил нам бутылку. Это было веселое занятие, которое оттачивало наши способности определять "скрытую связь между этической и эстетической частью женского тела", как говорил Гумпель.) Мы собирались там каждый вечер...

Введу читателя внутрь — пусть побудет у меня часок гостем — усажу за стол и познакомлю: Накдимон. (Он не отвечает на приветствие, это право поэта.) Обладатель черной бороды и мягкого, чувственного монашеского лица — это Эвьятар. Поэт. (Он всегда одет так — в узкие джинсы, серую блузу и эти сандалии. Он кивает нам головой, тонко и иронически улыбаясь.) Рядом с ним сидит его жена — Лвия. (Нервная, как ртуть, беспокойная, легко закипающая. Вот и сейчас она возмущена: "Он же ничего не понимает, этот человек!" — она стучит маленьким кулаком по столу. — "Как это можно писать, что Накдимон — нигилист? Такое стихотворение, как "Обрученная наложница" — это нигилизм? Да ведь там каждая строка пропитана болью, настоящей, глубокой, вселенской болью! Или он не знает, что такое нигилизм... Зачем он вообще пишет?") Маленький очкарик, сидящий слева от нее, сопровождающий свои речи энергичными жестами, — это Шрага Гумпель, молодой критик, оруженосец Накдимона, вечно выступающий в его защиту, словно он сам открыл его и прославил. (За этим мышинным лицом скрывается острый, жгучий, изощренный мозг.) Паренек с кудрявыми, цвета вороньего крыла локонами, прячущий под своим крылом девочку с длинными ресницами, — это художник Дариус. Девочка (отнюдь не его жена), пригrevшаяся на его груди, словно зверек, нашедший теплое местечко, — мне не знакома. Сжавшийся в углу, запутанный в своих убогих конечностях, грустный, задумчивый — это Ури Грабовицкий, прозванный генералом. Возле него — длиннолицый, медленно и без удовольствия прихлебывающий кофе — это Иоханан Гохберг. Слева от него... Но оставим это, на нас-то все равно никто не обращает внимания...

Когда я приходил туда — чуть ли не каждый вечер, словно в силу ослиной привычки по возвращении в стойло совать голову в корыто — я уже находил там за столом Иоханана Гохберга и Авнера, "куривших папиросы", как писал Гнесин, с мировой скорбью на лицах. Когда я входил, они вопросительно взирали на

меня, словно ожидая благой вести. Но нет, как правило, никакой вести я не приносил. Гнесиновская бледность покрывала бледное, с печальными ресницами, лицо Иоханана Гохберга, и он вновь окутывал себя дымом. Авнер тоже молчал; но как-то по-другому, нервно, — в луже такого молчания квакала дюжина лирических лягушек. Лишь позже, когда приходили Эвьятар с Лвией, тишина разом вздрагивала и уносилась прочь. "Это ужасно, этот стих, который ты напечатал!" — могла Лвия волком наброситься на Авнера. — "Как можно так писать? Ведь это подражание! Такое неприкрытое подражание..." Эвьятар гладил ее по руке, но она стряхивала его: "Почему не сказать ему это все в лицо? Ты ведь думаешь точно так же!" Когда они садились, Эвьятар пытался ее обуздать, прижимаясь к ней плечом и целуя ее щеку, но она вырывалась из его рук, и успокоить ее было невозможно ("Ты ханжа, Эвьятар! — была она способна крикнуть ему при всех. — Я могу сказать это и здесь! Дома ты сам сказал, что я права!"). Позже ураганом влетала Оснат, всклокоченная, замороженная, словно ее только что разбудили, всегда спрашивающая о ком-то, кого нет, всегда ждущая, что произойдет нечто необычное, и всегда разочарованная оттого, что ничего не произошло, убегающая на улицу в поисках чего-то, любезного ее сердцу. Ближе к полночи, с окончанием спектаклей и киносеансов, улица вбрасывала в кафе еще несколько взволнованных пар, возбужденных, болтливых, словно вернувшихся с футбольного матча. Элираз, лицо которого сияло, как большой подсолнух, со своей полнотелой женой; Авраам Авиви — преуспевающий драматург, пишущий легкие комедии, — со своей Мири, вьющейся тонким стебельком вокруг его тяжелого ствола... "Этого человека всегда можно узнать по стакану и по пузу", — говорил Накдимон об Авиви. — "Стакан пуст, а пузо — полно; единственное, что в нем духовно, — это Мири; но что осталось от Мири? — Запах духов!" Несмотря на холодный прием, который мы им оказывали, они усаживались, заказывали себе

обильную мясную трапезу, а чтобы не колоть глаза нищим, жертвовали нашей братии "две голени или часть уха"¹, да и то куриные. Потом входил Шаул Нун. Сбегал по ступенькам, как тореадор, выбегающий на арену, оглядывал присутствующих, приветствовал их, затягивал боевой пояс, а когда садился за стол — нас охватывало желание наливать, пить, петь, ругаться, щипать повариху за мягкий бок. (Шаул Нун был легендой. Он напечатал один-единственный рассказ пять лет тому назад, отличный рассказ о войне в стиле рыцарского романа, и с тех пор все уважали его за молчание.) Когда прибывал Накдимон, окутанный тайной, таинственно шагая по-кошачьи, мы притихали, оказывая ему уважение и остерегаясь его. Он разбрасывал яд короткими плевками, словно змей, и тот, кого он, не дай Бог, жалил, съеживался на месте, остолбенев на весь остаток ночи. Со временем стала приходиться в "Подвальчик" и Хагит, подцепленная мною как-то ночью и повисшая в ту же ночь на моей шее.

Это было вечером Девятого Ава. Только по дороге в "Подвальчик" я вспомнил, что все кафе закрыты. Подойдя ко входу, я обнаружил там Авнера, Элираза, Шаула — стоящих на тротуаре, погруженных в траур. Мы уже думали расходиться по домам, но увидели приближавшегося Накдимона. "Врата милосердия закрыты, а?" — кивнул он на темную дверь. "Плач над руинами", — ответил Элираз, сокрушенно качая головой. "Ничего, мы не станем "одинокое сидеть"²", — решил Накдимон и предложил отправиться к нему домой. По дороге мы встретили Эвьятара с Лвией, шедших в обнимку — тоже в "Подвальчик". Мы повернули их и увлекли за собой. Когда мы пришли к нему домой — в богатую и просторную квартиру, которая была целиком в его распоряжении после отъезда родителей за границу, — он выставил нам различные напитки,

¹ "Две голени или часть уха" — малую долю (Амос 3:12).

² Плач Иеремии 1:1.

отличные сорта мяса и сыра, прочие закуски, угощая нас в салоне. Мы сидели на диванчиках, погружаясь в питье и беседу. Подобрев от виски, Накдимон притащил стопку своих новых стихов и прочел их нам. Читал он прекрасно — не так, как говорил, — чеканя ритм, отчетливо выговаривая слова и не передергивая. После каждого стиха останавливался и вглядывался в наши лица с легкой улыбкой. Мы ничего не говорили, но щеки горели, глаза сверкали, говоря за нас. Кончив читать, он опрокинул рюмку в рот, встал и, чтобы развеселить компанию, погруженную в почтительное молчание силою стихов, положил пластинку на проигрыватель, потянул Лвию за руку и пустился с нею в пляс по ковру. Он был толстоват, но в танце размял кости и резво ими потрясывал. Он вертел Лвию вокруг пальца, и она с трудом попевала за ним, следя взглядом за спиралеобразными движениями его ног и пытаясь копировать их. Несколько минут спустя, увидев, что мы по-прежнему играем надежную роль зрителей, Накдимон прекратил танцевать и заявил, что он не позволит нам сидеть, словно в трауре, взял с собой Шаула Нуна и сообщил, что он отправляется на улицу, чтобы привести "девственницу во вретище, вышедшую в полночь плакать о Храме". Мы были уже в приличном подпитии, а Элираз — веснушчатый клоун, тощий как спичка, большой мастер сочинять куплеты и непристойности — отыскал в книжном шкафу Библию, раскрыл "Плач Иеремии" и стал читать с синагогальным напевом, рифмуя каждый стих строчкой собственного сочинения. По его указанию мы расселись на полу и вторили ему, раскачиваясь всем телом, а Лвия сдерживала смех обеими руками всякий раз, когда у него получалась особо забавная рифма. "Ох, Йоэль, Йоэль, — причитала она, — что бы сказал на это твой папа, Бенъямин Разовский, еврейский учитель! Я еще помню, как он обучал нас двум вариантам молитвы "Смилуйся" — из Вавилонского и Иерусалимского Талмудов. Сердце за него болит — как же сын позорит его на старости лет!" — "Смилуйся, Господи Боже наш, над плачущими о Сно-

не и рыдающими о Иерусалиме, и над городом, скорбящим и разрушенным...". А мы вторили ему, постанывая и всхлипывая, дрожащими, взвизгивающими голосами, пока у нас на глазах не выступили слезы. Вдруг будто проломила стена, и в комнату ворвались с шумом, смехом и ржанием четыре девицы, ведомые Накдимомом и Шаулом. И пока мы глазели на пришедших, в комнате уже визжал граммофон, и три пары пустились извиваться, бряцать костяшками и трясти задами, барабана каблуками и шелкая пальцами. Кто-то скатал ковер и сдвинул мебель в сторону, кто-то погасил свет, оставив лишь маленький красный глазок, смех рассыпался по комнате снопами искр...

Где-то около полуночи до наших ушей долетела ссора Эвьятара с Лвией. "Ты можешь виснуть на ком хочешь, мне все равно, только домой потом не приходи, об одном тебя прошу!" — слышали мы ее возмущенный голос, несущийся от выхода. Дверь распахнулась настежь, Лвия выскочила вон из комнаты, Эвьятар помчался вслед за ней, потом с лестницы послышался взволнованный шепот, потом какие-то удары, потом снова ее голос: "Не думай, что я слепая! Не отпирайся, по крайней мере! Не отпирайся!" — и быстрый бег по лестнице. "Эвьятар, Эвьятар, — выл, не прекращая танца, Элираз, поняв, что тот не вернется. — Уж такая монастырская душа, а она цепляет на него всяческие грехи. Не сидеть ей у его ног в раю". Через часок вошли двое полицейских, сообщили, что соседи жалуются на шум, вежливо попросили приглушить музыку, поторчали в комнате еще с минуту без всякой нужды и вышли, желая нам всего хорошего...

Стану ли я рассказывать, что творилось потом в трех комнатах этой квартиры? О шорохах, шепоточках, смешинках, шелестах, скрипах и вздохах? Или о тайной борьбе Элираза с Шаулом Нуном, ухватившихся вдвоем за одну юбку, шепча "Ты вся моя"... Или как залил комнату бледный свет — когда уже смолкло веселье — и высветил сиротливый локон на макушке мальчика с сердитыми ресницами? — Нет, не стану рас-

сказывать. Да и о Хагит не рассказал бы — о зеленоглазой девочке с тонкой спинкой, "помешанной на литературе" ("легкой классической", как утверждал Накдимон), которая стала приходить ко мне после той ночи, — если бы не та злосчастная история с Ахувой.

Даже странно, как здорово я позабыл о ней за те два месяца, с тех пор как мы разошлись! Я не знал, как она поживает, не интересовался, даже не видел ее ни разу, да и не думал о ней. Будто это расставание, которому процедура развода придавала законный вид, могло стереть единым махом все то, что вписывало время в наши биографии, страницу за страницей, целых два года! Было в этом что-то жестокое, несправедливое, злобное по отношению к этому несчастному существу, которому только то и льстит — или которое только тем и мстит, — что останутся воспоминания о бесконечных минутах тихой нежности, печали, сдержанных терзаний, ежедневных забот, будничных радостей — воспоминания, которые будут навеки врезаны в душу того, кто бросил ее. Она не удостоилась ни лести, ни мести. Когда она неожиданно появилась у меня снова... Да, это была гнусная история.

Было позднее утро. Я спал сладким сном. И не в одиночестве. Стук в дверь разбудил меня, но я оставался лежать с закрытыми глазами. Когда стук повторился, я буркнул: "Секундочку!", спустил ноги на пол и лениво смахнул паутинку сна с лица. "Кто там?" — крикнул я. И тут из-за двери послышался ответ — робкий, выжидающий голос: "Это я, Ахува". Меня прошибло потом. Я полоснул взглядом по подушкам, ища спасения. Что мне делать с этим наглым телом, разбросанным по кровати? Куда спрятать его? Куда выбросить? "Сейчас, оденусь только", — испуганно, беспомощно вякнул я в направлении двери. "Что случилось?" — распахнула Хагит глазки, потягиваясь и зевая. "Выйди! Быстро! — шепнул я. — Бери свои шмотки и выходи". Стянул ее одежды со стула, схватил с

пола туфли и выставил ее с этим добром по направлению к ванной. Влез в брюки и набросил покрывало на постель, словно присыпая кровь песком. Еще раз пробежал глазами по комнате и отпер дверь. "Я разбудила тебя", — стояла передо мной Ахува с желтым лицом и широко раскрытыми, как у испуганной девочки, глазами. — "Я думала, что в такое время..." — "Вчера работал допоздна, — промямлил я. — Заходи, хорошо, что ты выбралась разок прийти..." Она уселась на край кровати, оглядела комнату и сказала, словно сдавливая боль: "Приятная квартирка..." Кровь хлынула к моему лицу: колготки Хагит сбегали струйкой с рейки стула. "Ты, конечно, удивляешься, с чего это я пришла", — выдавила она болезненную улыбку. "Что ж, давно не виделись", — примирительно заметил я. Послышалась какая-то мышиная возня за стеной. Ахува молчала. Снова растерянно гладела по сторонам. Две морщинки тянулись книзу от ее губ. В лице проглядывали признаки болезни. "Что это за статуя там, у входа?" — тихо спросила она. "Жил тут до меня один скульптор. Он умер", — ответил я. Тело ее расслабилось, словно размякло. "Я не отниму у тебя много времени", — задрожали ее ресницы. Она опустила взгляд к своим пальцам, сложенным на коленях, словно впала в раздумье. Подняла голову, глубоко вздохнула и сказала: "Я беременна". Я вздрогнул. В ту же минуту послышалось урчание воды в трубе, потрянувшее стену. Я опустил голову, подставив ее разом всем несчастьям, которым суждено на меня свалиться. (Почему это она беременна? От кого? Чего вдруг? Ах, каким же я был идиотом, ведь мог же вообще не отвечать, когда она постучала в дверь, или, по крайней мере, выйти к ней и уйти куда-нибудь...) "Мне очень жаль, что я помешала тебе, — задрожал ее голос, — но... у меня не было другого выхода". (Да еще эти извинения... И почему эта Хагит должна умыться именно сейчас?... Журчание воды в трубах царапало меня до крови.) "Ты уверена в этом?" — спросил я. Горькая улыбка обозначилась на краешках ее губ. "Прошло

два месяца". Плеск в конце концов прекратился. Теперь тишина стучала у меня в висках. Зачем она пришла? Почему она должна рассказывать мне об этом? Я занят, я погружен в начатую работу, нельзя сейчас отвлекать мое внимание во все стороны... "Ты была у врача?" — промямлил я. "Да", — кивнула она. "Ну и что он сказал?" — выспрашивал я. Ее глаза переполнились слезами. Она порылась в сумочке, но прежде, чем успела найти платок, они уже хлынули из глаз. Крупные капли текли по ее щекам. Меня охватил бесильный гнев: почему я? Ведь мы разошлись! Почему же снова?... "Что я, по-твоему, должен сделать?" — спросил я очень тихо, чтобы унять собственное возмущение. Плечи ее дрожали; она высморкалась. В моем мозгу мелькали суммы: 100, 200, 300 — сколько такое дело может стоить? Сколько у меня сейчас есть? Где я достану, если не хватит? "Я ведь не могу рассказать об этом родителям..." — теребила она смятый платок. Снова у меня прихлынула кровь к голове: я подумал, что она, возможно, хочет, чтобы я к ней вернулся. "Ты же не собираешься оставить это..." — процедил я. Она закрыла лицо руками, утирая слезы платком. "Все расходы я, разумеется, возьму на себя", — сказал я. За стеной что-то упало. "Тут не в расходах дело", — утерла она нос. Я пылал гневом. Попросил прощения и встал. Подошел к ванной. Эта идиотка еще и заперлась ко всему прочему! Когда она поворачивала ключ, у меня застыла кровь. Войдя, я заставил Хагит поклясться, что она окаменеет в своем убежище и не издаст больше ни звука. "Принеси мне колготки", — улыбнулась она мне зелеными глазами, выставив босую ногу на кафед, усевшись на край ванны. Я вернулся в комнату и уселся. "В таком случае, в чем же дело?" — "Это ужасно — когда я думаю об этом..." — она навела на меня дрожащий взгляд. "Все проходят через это", — я постарался придать своему голосу неподдельную нежность. "Да... — устала она на окно. — Легко сказать..." — "Поверь, что мне тоже не легко. Совсем не легко, — с тяжестью в голосе произнес я. — Если бы

я мог сделать это вместо тебя... Но я не знаю, чем я сейчас могу помочь... Расходы я, разумеется, возьму на себя, как я уже сказал. Я обязан..." Ахува глянула на меня с желтой, печальной, выдавленной улыбкой. "Ты не изменился", — шепнула она. Воцарилась тишина. Она теребила пальцами ремешок сумочки. Очень долго. Наконец встала, не говоря ни слова, направилась к двери и вышла. Очень тихо закрыла ее за собой.

Я сидел пораженный, не двигаясь с места. В комнате при полном дневном свете присутствовали привидения: колготки, свисающие с перекладины стула. Покрывало, брошенное как бы невзначай на кровать, — с оставленной ею вмятиной. Листы бумаги на столе, из которых поглядывал Давидов. Стена, у которой были и уши, и глаза. В воздухе стояла больничная белизна, словно в этой комнате кто-то умирал. Как это все случилось?

— Не ожидал, голубчик, — появилась в двери Хагит с тонкой, всепонимающей улыбкой на губах. Подивилась на меня с минуту, уселась на кровать и стала натягивать колготки на ногу, выставленную вперед. "Ты выглядишь страшно испуганным, — впиалась она в меня взглядом. — Что случилось?" И, надевая правую туфлю: "Ах, Йонес, это не такая уж трагедия! Я, конечно, понимаю ее. В первый раз это всегда тяжело. Но потом... — вдавила она каблук в пол, расправляя чулок, — как зуб выдрать... У меня самой, — одарила она меня туманной улыбкой, — было уже три... — ее левая нога с трудом влезла в туфлю. — Я-то могу себе позволить, — рассмеялась она, — у меня брат — гинеколог..."

Неделю спустя я поддерживал Ахуву за руку, помогая ей спускаться по лестнице из клиники д-ра Кунича, брата Хагит. Отвез ее домой, взбил подушки, уложил ее и накрыл одеялом. Вскипятит чайник, подал ей чай в постель. Может, печенье? Нет, есть она ничего не хотела. От нее пахло эфиром. В комнате все было, как и прежде. "Граждане Кале" на стене. На столе — тонкогорлая ваза, а в ней — колючки бессмертника. Рулоны цветной бумаги на книжной полке. Там же — ножницы.

Тот же давнишний запах. Буковки из "Героя нашего времени" чуть не бросились ко мне с того стола, на котором я писал. Я закрыл окно, чтобы ночью ей не было холодно. Все это дело обошлось мне в семьдесят пять лир. Почти что даром.

10

Два поколения литераторов, — писал Шрага Гумпель в статье "Против идеократии", опубликованной года полтора тому назад, — были паразитами идей. Первое поколение процветало на идеалах эмансипации и возрождения, второе — на идеалах первостроительства и "равенства". На каждом из них, как на пласту гнили, разводилась "культура литературных грибков". Идеократическое общество порождает литературных эпигонов, так как оно управляет свободным развитием произведения в той же мере, в какой теократическое общество управляет свободомыслием. Сознательно — а в большинстве случаев неосознанно — писатель творит в силу определенного "отношения" к господствующим идеям, "не проводя необходимого творческого различия". Произведения оцениваются не по их собственным достоинствам, а по этому вот "отношению". Это и было причиной "сгорбленности" ивритской литературы, согнувшей спину до размеров идейного карцера, в котором она содержалась. Если в прошлом и было этому какое-то оправдание — "в контексте эпохи и в силу нелитературных причин, — то теперь, когда и сами идеи стали анемичными и утратили духовное содержание в той хаотической действительности, в которой мы живем, — всякое признание их полноты равносильно "влечению к мертвым". "Паразиты превратились в некрофилов"¹.

— Некрофилы — это еще туда-сюда, — сказал Накди-

¹ Некрофил — любитель трупов.

мон в "Подвальчике" в тот вечер, когда разговор завертелся вокруг этой статьи. — Но возьмите, к примеру, Йонеса. Он некрофаг¹.

Я смеялся вместе со всеми. Уже свыкся с его уколами, направленными во все стороны, а больше других — в сторону Гумпеля, который перед ним преклонялся, поминая его добрым словом в каждой своей статье, и даже в той самой статье ставил его в пример как поэта, "достигшего удивительных эстетических успехов силою окончательного освобождения от оков идеократии". В продолжение вечера, когда завязалась беседа о рецензиях, написанных Гумпелем на какие-то сборники паршивых стихов, Накдимон крикнул ему:

— Ты осел, Гумпель. Знаешь, почему ты осел? Не потому, что ты таскаешь на себе книги — хотя и это, конечно, тоже важно, — а потому, что ты нюхаешь навоз. Видел ли ты, как осел тычет морду в навозный блин и возносит ее вверх, так что и ноздри его дрожат от удовольствия? Это ты! На каждом шагу ты находишь какой-нибудь червивый стишок, вонючий рассказик — возишься с ним, наслаждаешься, а потом ревеешь так, что земля трясется. Ты дермофил!

Гумпель был тощим парнем, конечности которого болтались, когда он разговаривал. Уши торчали, как крылья. Его очкастое лицо — лицо ревностного и сердитого зубрилы — заливалось краской, когда Накдимон язвил его, и он горбился в своем углу, отделяясь хитрой улыбочкой согласия с приговором: нечто вроде живого примера "согбенности" литературы...

— А кроме того ты еще и паразит, — не отставал от него Накдимон. — Но паразитируешь ты не на идеях, разумеется, а на *мне*! Сосешь мою кровь! Раздуваешься! Пиявка, да почему же я должен кормить тебя? За каждый мой стих ты получаешь гонорар за три статьи площадью в десять дунамов! Что меня удивляет, так это как ты все-таки остаешься таким худым? Просто завидую тебе...

¹ Некрофаг — пожиратель трупов.

— "Вяжи со стихами, парнишка, не стоят они ничего!" — пискнул Гумпель из своей щели.

— Шекспир?

— Паунд! Не помнишь советы "мистера Никсона"? — "И вслед за мною заведи себе особую колонку!"

— Всякому твоему слову, Гумпель, паунд, то биш фунт цена¹, но молчанию — два!

— Вот, к примеру, Паунд, — сжался Гумпель мышкой, дерзнувшей тягаться с быком. — Я нашел у тебя строчку — *почти что* подражание ему. Единственная разница — число...

— Счастливое число, надеюсь?

— В "Темпераментах" Паунда сказано: "Девять злодейств, двенадцать незаконных связей, шестьдесят блудодеяний и что-то вроде изнасилования еженощно на совести нашего приятеля Флориалиса". А у тебя в стихотворении "Отлучение": "Семь кровосмешений сотрясают мой беспокойный сон".

— Семь — это *священное* число, Гумпель! Припомни эту маленькую разницу, приступая к большой статье, чреватой для меня всяческими благами!

— Но почему же ты назвал этот стих именно "Отлучение"?

— Разумеется, чтобы сбить врага с толку...

Поначалу я был "хомо новус" в этом ордене, рыцари которого вооружились перьями и острыми языками. Я был пришельцем издалека, присоединившимся к подполью с большим опозданием, в силу непонятных причин; доверяй, да проверяй. Ничто не ускользало от моего внимания — когда я входил в "Подвальчик" — ни строгий взгляд Шраги Гумпеля, с удивлением выпущенный на незваного гостя, появившегося в его владениях, — уж не шпионить ли он пришел; ни покровительственный взгляд Накдимона, предоставляющий мне особые полномочия, ни шуточки Элираза с намека-

¹ Игра слов: паунд (англ.) — фамилия автора и "фунт", "лира".

ми на то, что я в молодости крестился и все еще тайно придерживаюсь старой веры... Я усаживался за край стола, приглядываясь, прислушиваясь. Я замечал малейшие движения братии: тайное касание локтем над столом, соприкосновение коленок, слегка презрительные улыбки, смущенное моргание, гримасы отвращения на рожах, чье-то торопливое перешептывание. Странные отношения были в этой компании: Гумпель презирал всех, кроме Накдимона, Накдимон издевался над Гумпелем; к "генералу" относились с пренебрежением все, превращая его в прислугу; Авнер — который ташил у Накдимона стихотворный ритм, меланхолию, легкую раздражительность и большую протяженность строк — относился к нему с тайным пренебрежением, замышляя свергнуть с трона; Йоханан Гохберг мучился в одиночестве, грызя себя до костей, так что удлинились его нос, подбородок, пальцы; Элираз — этот печальный клоун, подкидыш, прирученный "Подвальчиком" — вкладывал свою злобу в шуточки... Этот деляческий улей иногда становился жалящим осиным гнездом, в изменчивости своей мелкой ревности жужжавшим в пространстве "Подвальчика" перед моими косеющими глазами. И только когда упоминалось имя какой-нибудь знаменитости, не принадлежащей к друзьям этой братии, они становились единой сплоченной сектой, зубастой, когтистой, горящей единым гневным порывом против тени того, кто потревожил ее покой. Его излавливали, тащили острыми зубами к столу и здесь рвали его на кусочки, каждый на свой лад, пока радостный вопль не возвещал о падении бездыханного труп.

Я был homo novus; но постепенно изучил тайный язык этой братии, расшифровать который оказалось легче, чем я полагал прежде; выучил и застольный этикет, без которого чужой не делается своим: когда отделаться легкой презрительной улыбкой, услышав то или иное имя, когда — замереть с ученым видом; что полагается упоминать с восторгом и что — скривив губы; как произнести комплимент, чтобы в нем прогля-

дывалось пренебрежение, и как выдать ругань, умасленную комплиментом; когда сделать ледяную мину и сказать: не читал и слыхом не слыхивал; как приправлять безвкусную похлебку перцем цитат; как кусаться — больно, но не до крови... Но и в тех ядовитых укусах, которые рассылались во все стороны, был какой-то пьянящий наркотик, каждый вечер вливаемый в мои жилы: тонкие, многозначительные намеки; остроты, которыми люди обменивались со скоростью фехтовальщиков; шуточки на жаргоне, которого чужой не поймет; ученые споры, взрывы дикого смеха и даже долгие, напряженные моменты молчания в ожидании какого-нибудь медлящего спасителя... "Подвальчик" был мирком во вселенной, окруженным желтым туманом, — иногда молчаливым, иногда бодрым, иногда пенящимся, как вино.

В праздничные вечера или просто так, в силу причуды, посетившей кого-нибудь из нас, охваченного хорошим или паршивым настроением, — мы напивались, дурачились, устраивали суматоху. Кто-нибудь вставал и, размахивая бокалом, произносил путанный тост в честь своего друга, не то расхваливая его, не то высмеивая; кто-нибудь вставал на колени перед потрясенной девицей, случайно затесавшейся к нам, читал ей хвалебную песнь, в которой она не понимала ни слова, или запечатывал ей уста пылающим поцелуем, так что она вопила от удушья; иногда бились рюмки, переворачивались стулья, и официант терял бразды правления, а хозяин кипел гневом. Тогда долгую ночь пронзали бранные крики, взволнованные признания, объявления войны, объяснения в любви...

Я помню такую ночь, когда пьяное братание достигло вершин, и "Подвальчик" наполнился любовью, как вином, сердечными излияниями и "признаниями". Солнечное лицо Авнера сияло от того, что Накдимон рассказывал что-то о временах захвата Катамона; небесная улыбка лежала на лице Оснат; Гумпель толком кулаком стол и кричал: "Пойте! Пойте!" И когда загремела песня, когда все мы раскачивались в ее ритме из

стороны в сторону, подгребая веслами рук то туда, то сюда, Гохберг обнял Эвьятара за плечи и замычал из глубины души: "Я люблю тебя, Франциско! Твою бороду! Твои стихи! Твою мученическую рожу! Всех вас, всех!... Что осталось нам, кроме любви? Ни бога, ни царя — да ведь мы си-ро-ты! Несчастные, испорченные, презренные беспризорники — зато *счастливейшие* из беспризорников! И тебя тоже, Йонес! — впились в меня блестящие глаза. — Да, и тебя я тоже люблю! Несмотря на то, что у тебя есть *герой* — а может и бог, а может и царь — несмотря на то, что ты глядишь на нас эдак, *свысока*, с хитрой насмешкой в глазах и я-там-еще-знаю с чем... Чем ты от нас отличаешься?... Сирота, как и все мы! Да, да, несмотря на то, что тебе кажется, что ты сидишь на динарах... Что ты получил в наследство? Два гроша! *Нет* у нас наследства, Йонес! И у тебя нету! Мы с пустыми руками! Надо начинать с пустого места! Катить обломок скалы к вершине! Сизиф *счастлив*, Йонес, потому что у него нет бога, потому что... камень, да, камень — это весь его мир!" А позже ко мне подошел Элираз, покачиваясь, глядя мутными глазами в рюмку, — и прошептал: "Кто сказал, что ложь стоит на одной ноге, Йонес? Вот я, ведь у меня же две ноги! А почему я хожу в лжецах, почему?... Потому... что я вонючий набор масок. Сегодня то, завтра другое... Сними эти маски, и что же ты увидишь? Нуль! Круглый нуль, пустота! Но... если бы я умел играть, тогда мне было бы все равно! Поверь мне! Я бы играл сразу всех тех, чьи маски я ношу! Сегодня клоун, завтра дурень, послезавтра... *великий* человек... да, образованный!... Но играю-то я плохо! Вот в чем беда, ты понимаешь? Я плохо играю все эти свои роли и я... не верю самому себе! Это ведь очень грустно, правда?... Но вообще-то и не так уж!" — рассмеялся и ушел.

В конце той богатой событиями ночи, которая закончилась где-то у бара Мариано, в бледном свете зари, я волочил ноги к дому Эвьятара вместе с ним и с его женой. Мы вошли в комнату и свалились прямо в одежде, окутанной винными парами, — он с Лвией на

кровать, а я на пол. Проснувшись спустя часа два-три, я увидел, что Лвия уже умылась, причесалась, привела себя в порядок. Она предложила мне попить с ней кофе, пока она не ушла на работу (она служила в каком-то туристском агентстве). Мы вместе вышли на кухню, и над чашкой кофе она поведала мне свои заботы об Эвьятаре: чрезмерное пьянство губит его. Он впадает в депрессию, из которой потом не может выбраться несколько дней. Она не в состоянии воспрепятствовать этому. Она просто беспомощна. "А кроме того, поверь мне, это вредит ему, как поэту. Его стихи становятся такими темными, такими путаными... Смерть, смерть и снова смерть... Никакого проблеска..." Собираясь уходить, она попросила меня дождаться, пока Эвьятар проснется.

Он спал тяжелым сном. На его бледном лице проглядывал испуг. Легкие волосы его бороды вздымались при всяком вздохе и стоне, слетавшем с его губ. Он был похож на святого мученика, на груди которого лежат камни. Два рисунка его матери над кроватью (она была "психованной" художницей, давно разведенной, проводившей большую часть времени во Франции) напоминали большие раны. Развороченные, залитые кровью. На одном — красное пятно пожара, на другом — красный сломанный крест, окруженный букетом мелких, как васильки, цветочков. Удивительно мало книг было на полке — штук двадцать—тридцать. Несколько сборников еврейских стихов; Рембо, Вийон, Бодлер, Лорка, Элиот — по-английски и по-французски; книги Сент-Экзюпери, "Братья Карамазовы", какая-то старинная повесть о путешествиях, книга о Джордано Бруно, альбомы Брейгеля и Босха, "История искусств" Эли Фора, Боркхардт. На двух низких полках располагалась беспорядочная коллекция больших окаменелостей. Ржавый глобус звездного неба. В углу стоял горшок с увядшим цветком. На столе — вчерашняя посуда. Я взял с полки книгу и сел полистать ее.

Словно ужаленный, он вскочил с постели и свесил

ноги на пол. Протер глаза и улыбнулся мне: "Что случилось?" — "А что случилось?" — улыбнулся я. Он подпер голову руками, уставился в пол, а придя в чувство, заключил: "Страшный сон". Ему снилось, что он лежал на операционном столе, под наркозом. Спросил у врача — есть ли надежда на то, что он будет жить, а врач отрицательно покачал головой. Он спросил у врача — является ли смерть неизбежной, — врач ответил: да, это неизбежно. Тогда он сказал врачу: если я буду читать стихи, не прекращая, ни на секунду не прекращая, то смерть не сможет одолеть меня. Начал читать стихи и проснулся.

Он спросил, что случилось этой долгой ночью. Я напомнил ему: бар Мариано. Два здоровяка, угрожавшие выкинуть нас. Драка Накдимона с Гумпелем. Берег моря. Объяснения с полицейским патрулем... Он удивился, когда я рассказал ему, что мы с Лвией должны были поднимать его, уснувшего на тротуаре, и тащить домой.

Он отправился умываться, а вернувшись, сел и спросил, как поживает моя книга. Я рассказал ему несколько историй о Давидове из собранных мною. Это развеселило его. Он сказал, что, по его мнению, я должен писать не "биографический роман", а что-то вроде сборника новелл, в стиле народных легенд. Многие из этих рассказов, разумеется, не правдивы или сильно преувеличены, но они превосходны, а это главное. "Выпьем, а?" — вскочил он в большом волнении. Я отказался. Рассказал ему о тревогах Лвии. "Чего она хочет? — Хочет, чтобы я молоко пил? Чтобы грудь сосал? Я уже давно вышел из этого возраста!" — крикнул он, словно непослушный ребенок, и спешно принес бутылку коньяка. Выпив рюмку, я рассказал ему историю с "овечьим молоком", которую рассказывала мне в детстве тетя, сестра покойного отца.

Когда мне было два года, мои родители покинули Кфар-Гилеади, наняли в Метуле телегу, погрузили на нее то немногочисленное добро, которое им позволили взять с собой — две железных кровати, две табуретки,

папины книги и тому подобное — положили меня в ванночку, выстеленную одеялами. По дороге я три раза плакал: в первый раз, когда мы проходили мимо могилы Трумпельдора, второй раз — когда проходили мимо кладбища в Мигдале, у Киннерета, третий раз — когда приехали в Тверию. В Тверии мама слезла с телеги и принесла мне молока, чтобы я перестал плакать. Я возмущенно выплеснул молоко и продолжал плакать. Тогда папа спросил: "Я понимаю, почему ты плакал у могилы Трумпельдора и на братском кладбище, но сейчас-то чего ты плачешь?" Мама ответила ему: "Он, видно, скучает по овечьему молоку из Кфар-Гилеади". На это папа сказал: "Ай-ай-ай, боюсь, что он всю жизнь будет по нему скучать, потому что в Тель-Авиве мы никак не достанем ему овечьего молока..."

— Это, стало быть, твой персональный миф! — смеялся Эвьятар. "Это мой домашний анекдот, — ответил я. — Когда я был мальчишкой, я с грустью вспоминал эту историю. Я представлял себе папу сверженным королем, а себя — в телеге — принцем, едущим с отцом в карете — в изгнание. Когда подрос — вспоминал с улыбкой о своем пасторальном монаршестве. А теперь... Я пристрастился к напиткам, лучшим, чем овечье молоко..." — "Пиши о Давидове с улыбкой, — рассмеялся он. — Без сожаления, без тоски". Потом вдруг посерьезнел. Уставился в пол и погрузился в безысходное молчание. Затем глянул на меня, горько скривившись: "Я завидую тебе, потому что у тебя есть воспоминания об "овечьем молоке". — "Я не тоскую по нему, — отшучивался я. — Давно уже вырос". — "И все-таки, — ответил он, — хорошо, что у тебя было из чего вырастать. У меня вот — нет. Эдакое "пустынное царство"...: Колючки да скорпионы..." Он рассказал, что с детства воспитывался у дяди, как подкидыш. Его эксцентричная мать приезжала иногда навестить его, но он не успевал полюбить ее, потому что с каждым приездом она меняла цвет волос и всякий раз была другая... "Нет никаких связей, понимаешь... Иногда я ненавижу даже те слова, которые пишу... Любое слово

связывает меня с тем, от чего я хочу оторваться... Не оторваться, но... Это не мои слова, если ты понимаешь, что я хочу сказать... Библия, целая история... Как будто я незаконный наследник. Присваиваю собственность, которая на самом деле мне не принадлежит... По какому праву?... А своих-то слов у меня нет..." Он говорил тяжело, чуть ли не постанывая. Вдруг вскочил, схватил бутылку, налил себе и мне. Выплеснув рюмку в рот, сказал: "Нельзя мне пить. Когда я пью, я как с цепи срываюсь". Усмехнулся: "Видишь, вот я говорю — с цепи сорвался... говорю "цепи" и сразу чувствую, что это связано с "цепями злодеяний" из Исайи или Псалмов, не помню точно... И уже я делаюсь частью чего-то, к чему на самом деле не имею отношения... Деваться некуда!" — рассмеялся он.

Выпив еще, он произнес с чувством: "Давай я тебе стихи прочту". Бросился к столу, выдвинул ящик, покопался в нем, поискал, наконец вытащил смятый лист бумаги, снова уселся на кровать, дрожащей рукой зажег сигарету и стал читать. Прочел два-три четверостишия, неуверенно, словно расхаживая по острым камням (сравнивал себя с улиткой, медленно ползущей по стебельку после дождя: ее мир черен, но из ее крови добывают *голубизну*) — и замолк на полуслове. Сигарета дрожала светлячком на кустике его бороды. Он мрачно поглазел на нижнюю часть листа и, добравшись до конца, заключил: "Паршиво". — "Отлично!" — воскликнул я. "Чушь!" — он смял листок, сдал его и выбросил в окно. "Улитка возвращается на землю", — хохотнул он и глотнул еще одну рюмку.

От рюмки к рюмке становилось все веселее. Катая философские жемчужины, мы изошрялись в словесности. Эвьятар предрекал "великий день". Расхрабрился, вскочил и заговорил: "Пошли к Мариано. Нет, сначала к Шаулу. Возьмем Шаула и все вместе пойдем в бар Мариано. Будем пить весь день и всю ночь, а потом еще день и еще ночь".

— Лвия! — напомнил я ему.

— Лвия? — он поморгал, сбитый с толку. — Ах, да.

Зайдем и к ней, все вместе. Купим у нее билеты на самолет до Афин. Съездим всей компанией в Афины.

— В Рим, — сказал я.

— Нет, в Афины.

— В Рим.

Согласились на Стамбуле. Турецкие бани. Рай.

Дорога бежала нам навстречу. В небесах сияло солнце. Через несколько минут мы уже были возле дома Шаула Нуна. Жалюзи на его окнах были спущены. Мы позвали его по имени нестройным хором с тротуара; прохожие поглядывали вместе с нами наверх. В конце концов жалюзи приподнялись, и в окошко высунулась заспанная мордочка Шаула со всклокоченными волосами и вязкими глазами. "Входите", — прохрипел он.

— Слезай ты, мы идем к Мариано, — поманил его Эвьятар.

— Подымайтесь!

— Цепи! — крикнул я.

— Что?

— Цепи не пускают! — вопил Эвьятар.

— Мы их разобьем! — засмеялся Шаул.

Мы поднялись и ворвались в комнату. Следы его бурного сна виднелись по всей комнате. Одеяло было сброшено на пол. Газеты, книги, грязный стакан. В углу стояла большая начищенная труба.

— И тебе не стыдно? — схватил Эвьятар трубу. — А где меч, щит?

— Это против соседей, — засмеялся Шаул. Объяснил, что они не дают ему писать. Включают радио из всех окон, на полную громкость. Пытался уговаривать, умолять, угрожать — ничего не помогало. Тогда он купил трубу. "Когда они включают радио, я начинаю трубить. Тут же затихают".

Эвьятар надул щеки до предела, но не сумел извлечь из трубы ни звука, кроме глухого урчания. Шаул забрал у него трубу и выдал несколько трелей и боевых сигналов, наполнивших окрестности звуками выстраданного героизма.

— Бери с собой трубу, пойдем к Мариано. Ты бу-

дешь шагать впереди и трубить.

Шаул скинул пижаму и начал одеваться. Эвьятар носился по комнатам, ища в закромах бутылку. Наконец нашел, захватил три рюмки и поставил у кровати.

— Для затравки, — провозгласил он, — чтобы не приходиться пустыми. Разве что — пустоголовыми, — рассмеялся он.

После второй рюмки Шаул вышел из оцепенения. Как всегда, выпивка развязала ему язык. Рассказывая о том, о сем, он добрался до Игнация Лойолы, о котором ему случалось читать: как он сумасбродничал в молодости и приводил домой проституток; как спас двух женщин от пьяных солдат и сам же их изнасиловал; как однажды некая графиня нашла его, полумертвого, в поле и отвезла к себе во дворец... "А когда ему явилось откровение? Не раньше, чем он был тяжело ранен в памплонских боях и потерял большую часть этих своих способностей... Основатель ордена иезуитов! Представьте себе!... А потом что? Когда он уже отошел от мирской суеты? — Укрылся именно в женском монастыре... А в Монсерра — Пресвятая Дева... А в благочестивых снах виделись ему только мадонны!"

— Иезуит! — налил всем троим Эвьятар. — О чем же ты все-таки пишешь — о нем или о мадоннах?

— Пишу... — усмехнулся Шаул. — Что пишу? Кто пишет? Вот уже три года я вожусь с этой темой... Да, название я уже придумал и написал большими буквами: "Что делал Игнаций Лойола 25 мая 1525 года?"

— А что он делал? — поинтересовался Эвьятар.

— Гостил у сеньоры Паскуаль в Барселоне, — громко рассмеялся Шаул и рассказал, как он собирается писать о борьбе Игнация с искушениями плоти.

— А теперь расскажи о Давидове, — потребовал он.

Я отказался, но он не отставал от меня: — Расскажи, расскажи, меня очень интересует эта личность.

Когда я рассказал два—три эпизода, он набросился на меня:

— Вранье! Романтика! Не пиши про это!

— Факты, — защищался я.

— Какие там факты? — кричал он. — Фактов не бывает! Факты — это то, что хотят в них видеть!

— Послушай, — утер он губы, хлебнув вина. — Вот какая интересная штука: через четыре года после смерти Франциска Асизского папа Григорий заказал его биографию некоему Фоме Силанскому. Тот сидел и писал официальную биографию святого, все как полагается, со всяческими умасливаниями покойного; книга его называется "Вита прима". Лет через пятнадцать заказал ему один из руководителей ордена *другую* биографию, более соответствующую их требованиям. Этот Фома сел и написал новую книгу, "Вита секунда". Обе книги он писал, пользуясь свидетельствами учеников покойного, но тем не менее они не были похожи одна на другую. Вторую, более близкую к истине, упрятали потом в архивы или уничтожили. Вот тебе и факты! Сделаешь из Давидова святого? А были у нас святые? У таких скотов, как мы? Да кто тебе поверит?

— Да почему же святой? — смеялся я.

— Пиши о нем совсем наоборот! — вино горячило его. — Или напиши на него пародию. Сделай из него Гаргантюа! Гар-ган-тю-а! Пусть проглотит пяток невинных граждан вместе с салатом! Пусть сдернет флаг с правительственного здания и сделает из него попону своему коню, как Гаргантюа стащил колокола Нотр-Дам и повесил их на шею своей ослице! Что угодно — только не благовония из учебников и антологий с их двумястами атмосферами "национального сознания"! Надо в конце концов поизмываться над историей!

Тут он схватил трубу и произвел долгое густое гудение, похожее на надувание шара.

Эвьятар схватился за живот от смеха.

— Хватит! — решил Шаул. — Идем к Мариано. Нет, сначала к Оснат. Возьмем ее с собой и пойдем к Мариано.

Опрокинул себе в глотку еще рюмку, вытер губы и сказал:

— Давайте, изнасилуем Оснат. Ей это понравится.

Мысль пришлась нам по душе.

Когда мы выходили, солнце уже клонилось к закату. Дорога качалась перед нами, улицы были веселы, как в праздник. В одно мгновение мы непостижимым образом добрались до дома Оснат. Поднялись на третий этаж, Шаул оперся на кнопку звонка и не отпускал ее. Сирена докатилась до наших ушей.

Оснат изумленно распахнула дверь.

— Оснат, мы пришли тебя насиловать! — сообщил Шаул.

— Чего вдруг? — засмеялась Оснат.

— Просто так, без всякой причины.

— Это сложновато, — улыбнулась Оснат.

— Ничего, как-нибудь управимся, — снова облокотился Шаул на кнопку звонка, издав долгий гудок.

— Что это сегодня с вами случилось? — смущенно улыбаясь, оглядела она нас.

Мы влетели в комнату и развалились в креслах.

— Раздевайся, — приказал Шаул. — Мы торопимся. Идем к Мариано.

— Сейчас? В четыре часа дня?

— Четыре? — шлепнул себя Эвьятар по лбу. — Как, уже четыре?

— Лвия! — напомнил я ему.

— Четыре! Господи! День пропал! Пропал!

— Раздевайся! — командовал Шаул из глубины кресла.

— Если так, то какое же это будет изнасилование? — рассмеялась Оснат.

— Ладно, решим как-нибудь проблему терминологии.

— Терминология — это здорово! — дико ревел Эвьятар.

— Ну?

— Ну?

— Ну?

— Вы еще не видели моего нового кота, — сказала Оснат. Тут она убежала и вернулась, держа в руках серое мягкое чудовище. Погладила его, потерлась щекой

о его шерсть, пощекотала загривок. — Чудный, правда?

— Ладно, тогда тащи бутылку! — сменил Шаул свои намерения.

Оснат тщетно вглядывалась в его лицо. Потом спустила кота на пол, открыла бар и достала бутылку. — Что сегодня за праздник?

— День Марии Египетской. Ты слыхала о Марии Египетской, которую объявили святой после того, как...

В шесть мы вышли из ее дома и отправились к Мариано. Нет, сначала к Гохбергу, а от Гохберга к...

11

В двадцать третьем году Давидов работал в каменоломнях Иерусалима. В двадцать четвертом был принят капитаном Уокером на работу в мастерских при депо в Лоде. В двадцать шестом — переехал в Кфар-Сабу, женился там на Ципоре Гуревич, там же построил себе дом — "базу, с которой он отправлялся в свои странствия", как сказал Менахем Швайг; там же, два года спустя, у него родился сын, тот сын, который погиб в боях за Латрун в 1948 году. До сих пор в поселке помнят эту ночь после похорон, когда из дальнего давидовского барака слышались вопли отца, потерявшего сына: "Ним-род, почему ты меня покинул? Почему тебя забрали у меня, почему?" — повторял он без конца.

— Ты знаешь, чем был для него этот сын? — спросил Менахем Швайг. — Как они любили друг друга? Все свободное время он посвящал ему. За сердце брало каждого, кто видел, как он гулял с маленьким Нимродом по улице поселка и беседующего с ним на равных. Он воспитывал его, учил его, возлагал на него большие надежды — что он станет когда-нибудь великим художником. Мечтал отправить его в Бецалель. Приносил ему книги по искусству, которые покупал на последние гроши. Он *понимал* искусство! Было большим на-

слаждением послушать, как он говорит о картине, о книге...

Менахем Швайг пригласил меня как-то к себе в кабинет, в здание исполкома, в поздний послеобеденный час. Когда я вошел, он был занят бурной телефонной беседой. Свободной рукой указал мне на стул. Дожидаюсь его, я слышал какие-то возмущенные реплики о преподавательских окладах, званиях, работниках государственного аппарата...

— Так, — он положил трубку на место. — Ты хотел бы, чтобы я рассказал тебе о Давидове, — возмущение еще кипело в нем. Он поскреб свои пепельные волосы и сказал — усталым, озабоченным голосом: — Ты себе не представляешь... Ты себе не представляешь, до какой степени доходят сегодня их претензии! Выше всякой меры! Человек получает тысячу лир — тысячу лир в месяц! — и готов остановить весь государственный механизм, только подавай ему...

В конце концов он стер с лица гнев и сказал: — Ты делаешь важное дело. В особенности для молодежи. Нашему поколению известны многие подобные образы, но теперь... Нет ли у тебя сигареты? — он похлопал по карманам брюк. Выдвинул два-три ящика стола, нашел в конце концов в глубине одного из них пачку Дюбека, закурил и буркнул: "Ладно, начнем". Подождал, пока я przygotowлюсь записывать, встал, походил по комнате туда-сюда и начал говорить, точно диктуя:

— Это были дни кризиса. Частничество праздновало победу на еврейской улице. В Тель-Авиве воцарилось маклерство. Обогащение среднего класса вело за собой обуржуазивание, легкие заработки, спекуляцию участками и теплыми местечками. Ревизионисты Жаботинского, кулачество Смилянского и чиновная администрация лорда Плюмера сговорились между собой с целью уничтожения достижений второй и третьей алии. Еврейское население чуждалось крестьянского труда. Пролетариат был обречен на голод и вырождение. Всякий был охвачен отчаянием...

Вдруг опомнился. Уселся за стол, попросил по теле-

фону ни с кем его не соединять ("Меня нет! Я не существую! Да, до семи!") и заговорил человеческим языком.

Швайг был тогда секретарем рабочего комитета Кфар-Сабы. Зимой двадцать шестого в поселение прибыла группа молодежи из расформированного Трудового Отряда, две девушки и четыре парня, среди них и Давидов. Им выделили комнату в рабочем бараке, там они все вместе и поселились. По вечерам из этой комнаты доносились песни, звуки мандолины и гармони, стук каблуков, отбивающих краковяк по деревянному полу. Рабочие поселка, которых было всего человек двадцать—тридцать, набивались в эту комнату или висли на окнах. Бывало, по ночам веселая компания проходила по улице поселка, ведомая гармонистом, и будила всех, кто спал. Скромные девушки подходили к калиткам, провожая эту процессию завистливыми взглядами, а мамыши сердито поглядывали на них из окон. Ночи не проходило без какого-нибудь приключения. Раз вымазали дегтем ворота садовника Фридмана. В другой раз напугали до смерти бухгалтера, слабого человека с больным сердцем, явившись к нему домой выраженными в тряпки. Как-то вытащили из дома спящего старика и положили прямо на улице. Дело дошло до того, что крестьяне угрожали уволить еврейских рабочих, если не уберут этих безобразников.

Но и без того еврейские рабочие слонялись без дела и голодали. Сорок парней работали по два дня в неделю, зарабатывая по шестнадцать грошей в день, а две девушки готовили им убогую трапезу и стирали одежду. Ципора Гуревич была девчонкой работающей. Собственными руками сделала табуретки и полки из тополиных веток, а посуду вырезала из сухих тыквенных корок. Давидов сажал тогда деревья у Ламперта, нанимавшего только еврейских рабочих.

Месяца три спустя после их приезда Давидов обратился к Швайгу с просьбой оформить ему ссуду в тридцать фунтов. "Вошел в секретариат, — рассказывал

Швайг, — сел на стул, понимаешь, и не говорит ни слова. Бледный такой, я уж подумал, не стряслось ли чего. — Что случилось, Абраша, — спрашиваю. — Случилось то, что, по-видимому, должно было случиться, — вздохнул он. Замолчал, долго так сидел, потом сказал, словно сообщая мне о каком-то ужасном провале: — Я выхожу из компании, — увидел, что я смотрю на него с удивлением, ничего не понимая, и тут только ему удалось выдавить из себя подобие улыбки. — Не один, — сказал он. — С Ципоркой. — Поздравляю, — говорю я, — чего же ты тогда нос повесил? — Потому и повесил, — говорит, — что все эти годы я думал про себя, что я великий умник, а теперь я вижу, что природа умнее меня. Она меня надула. Сердце радуется, Менахем, — сказал он, — но вот ноги-то, ноги почему-то стали тяжелыми! — А потом уже, когда он просил меня устроить ему ссуду на постройку барака, я поинтересовался: А где ты будешь строить? У тебя же нет участка! — На этот счет ты не волнуйся, — ответил он. — Дикой земли в Кфар-Сабе хватает, бедняцкой овцы я красть не стану...”

Давидов получил ссуду из ”фонда подсобных хозяйств” и начал строить себе барак на пустыре возле эвкалиптовой рощи на краю поселка. Привез несколько подвод гравия и песка, купил несколько мешков цемента, доски от ящиков, в которых иммигранты привозили свое добро, побелил вместе с Ципорой несколько десятков блоков, и прежде, чем владелец рощи обнаружил такое проникновение в его владения, уже стояли четыре стены. Левитана, сердитого американского еврея, чуть инфаркт не хватил от возмущения, когда он приехал и увидел, как над ним надругались. Он замахивался на них палкой и угрожал, что если они не развалят это сооружение в тот же день, он вызовет полицию. ”Вызовете английскую полицию против евреев? — усмехался Давидов. — А ведь я у вас ни кусочка земли не взял. На *плешке* дом построил, да и то в ваших же интересах! Теперь, когда я здесь, арабы прекратят, наконец, красть деревья из вашей

роши!” Левитан, гнев которого только усилился, бросился оттуда в поселковый комитет — требовать административного вмешательства. Да только по дороге, а может быть и ночью, лежа на кровати, поостыл малость, и те слова, которые полушутя говорил Давидов, запали ему в душу. Назавтра он снова пришел в рощу и договорился с ”нарушителем границы”, что позволит ему оставаться на этом месте при условии, что тот будет бесплатно сторожить деревья, сад и огород, а за всякую кражу будет отвечать из своего кармана. Давидов охотно принял это условие. Через несколько недель ему поручили быть поселковым сторожем, и жалование он получал от комитета.

По ночам Давидов объезжал поселок, сидя на резвом арабском коне, с охотничьим ружьем и патронташем, а иногда Ципора засаживала редиской и салатом маленькую грядку за баракон. Скопив несколько лир, они купили себе корову и поселили ее в сарае, сооруженном из эвкалиптовых бревен... ”А ты знаешь, что произвело на нас самое большое впечатление в этом дворе? — вспомнил Менахем Швайг. — *Павлины!* Кто разводил тогда павлинов? Кто *сейчас* разводит павлинов? Но именно он... Как это ему стукнуло в голову?... В тот год на Пасху они с Ципорой ездили на Восточный базар в Тель-Авив... Это был очень веселый базар, такой разноцветный, вроде старого сада, огороженного стеной, на том месте, где сейчас центральный автовокзал; со всей страны съезжались... А там, во дворе дамасского домика гуляли павлины... Давидов пришел в такой восторг, что попросил несколько яиц. Попросил — и ему дали. Усадил на них курицу, а через три недели у него уже было шесть павлинят. — Зачем тебе павлины, Абраша? — спрашивали мы. — А зачем выращивают цветы? — отвечал он. — А зачем нужен лошади хомут? — такой вот был тип. Любил красоту... ”А ведь, по правде сказать, — заметил Швайг, — это в самом деле очень красиво, когда по эвкалиптовой роще расхаживают павлины... Вдруг, знаешь, такой кусочек из сказки...”

Поскольку Давидов был сторожем, он не был связан по рукам и ногам, чего очень боялся, и не затворился у себя дома, чего боялись другие. Были у него свои счета с окрестными арабами, от стоянки Абу-Кишек до Калькилии и Тиры. По утрам видели, как он вел коня за уздечку вместе со старым арабом-следователем, отыскивающим следы краденного; или он скакал в Петах-Тикву передать донесение окружному инспектору; или выговаривал садоводам за то, что они нанимают на работу грабителей. И не только это — он еще каждый день находил время, чтобы прийти в рабочий уголок и вмешиваться в дискуссии, которые велись там между безработными — о работе, о пособиях, о левой оппозиции, об идиш, иврите и всем таком. "Когда он спал, — этого я не знаю, — сказал Швайг. — По ночам сторожил, днем его видели в поселке... А вообще-то кто спал в те времена?..."

Летом двадцать седьмого произошел тот забавный случай, который помнят до сих пор многие ветераны профсоюза. "Тогда происходила третья конференция, — рассказывал Швайг, — та самая конференция, которая проходила под знаком кризиса и голода в стране. Мы поехали в Тель-Авив, человек двадцать, на двух телегах. Увидели там сотни людей, приехавших со всех концов страны. Шел спор между "Молодым рабочим" и "Единством труда" о том, что предпочтительнее — укрепление хозяйства или расширение свободной иммиграции. Арлозоров произнес тогда длинную речь против "великих планов", против "истерического сионизма", и кроме всего прочего сказал, шутки ради, что "наш рабочий, когда он доит корову, думает не об удоях, а о сионизме". Поднялась колоссальная буря, и все выступавшие после него говорили о *корове*. И вот, когда один из выступавших от "Молодого рабочего" очередной раз повторил эту хохму с коровой, Давидов крикнул с места: "Почему ты не спрашиваешь, о чем думает корова, когда ее доят?" Поднялся смех, с места раздались возгласы: "Она думает, как бы смыться!", "Как бы лягнуть!" и тому подобные. "Она

думает совершенно о том же, о чем думаю я, — о жратве!” — крикнул Давидов. ”О жратве? — крикнул говоривший с трибуны. — Подойди хорошо, вот и будет тебе жратва!” — ”Верно, товарищ! — закричал Давидов. — Но беда в том, что и *меня* доят!” И снова жуткий смех... А с тех пор, когда упоминалось имя Давидова, говорили — ”это тот, с коровой!”

Как-то утром, той же зимой, вошел Давидов в рабочий уголок, созвал всех присутствующих ”съездить в Петах-Тикву”. В эти дни там шла уборка урожая и человек по двадцать безработных приходило к воротам садов требовать работы. На его зов откликнулась дюжина рабочих парней, и они отправились пешком, чтобы принять участие в уборке. Когда пришли туда, попали в самую свалку. Конные арабские полицейские, подстрекаемые крестьянами, набросились по приказу английского офицера на ожидавших работы, избивая их дубинками, кнутами и прикладами. У Давидова в руках была палка, он и стукнул ею одного из полицейских. Не успел свалить его, как самому на голову опустилась дубинка. Окровавленного, потащили его в тюрьму, а с ним еще шестнадцать человек рабочих.

Выйдя из-под ареста с большой повязкой на голове, он обнаружил в своем доме плачущего младенца. Назвал его Нимродом в память о событиях в Петах-Тикве. В его доме был большой праздник, тем более, что празден он был уже с того самого дня, когда ему сообщили об увольнении. Вечером слышались его крики в доме поселкового комитета: ”Вы меня еще позовете! Когда ваши рабочие из Тиры и Миски подпалят вам все сады! Еще умолять меня будете — чума на вас, если приду гасить! Горите вместе с ними!” Месяца два болтался без постоянной работы, собирая по крохе то тут, то там, таскаясь в Магдизль, в Раанану, гоняя тачку с песком по улице Алленби в Тель-Авиве, таская кирпичи на стройках. Поехал на север осушать болота Кишона, заболел лихорадкой и вернулся. А когда вернулся, за него взялась полиция, потому что на него донесли, будто он подпольщик. Как-то вечером при-

шли и устроили в его бараке обыск. Нашли несколько брошюр Ленина, Плеханова, Маяковского — и потащили его в Яффо. Собирались выселить его из страны без суда и следствия, как поступали тогда со многими, у кого находили "нелегальную печатную продукцию", и только благодаря стараниям Швайга и вмешательству некоторых руководителей Гистадрута приказ был отменен. "Ты видел когда-нибудь крепкий, высокий, увядший эвкалипт? — спросил меня Швайг. — Вот так он тогда выглядел. Тяжело было с ним встречаться. Такой крепкий человек, полный энергии — и вдруг... И ты знаешь, когда было тяжелее всего видеть его? Когда он сидел по вечерам в рабочем уголке и играл в шахматы. Играл часами, партию за партией, с каким-то нервным азартом — и молчал. Выходил оттуда поздно вечером и одиноко ковылял по направлению к рошице. Он угасал. Говорили тогда: Абраша угасает..."

Да только налетел ветер и раздул уголек. Накануне событий двадцать девятого года в Кфар-Сабе был создан отряд Хаганы. Вызвали его на совещание с двумя членами центральной комиссии и предложили взять на себя руководство отрядом. Он рассмеялся им в лицо и отказался. Командиром, сказал он, ему никогда не быть. Те стали объяснять, что его опыт в деле охраны, а также популярность у товарищей делают его самой подходящей кандидатурой на этот пост. "Я не способен давать приказы и выполнять их, — ответил он. — Опыт мой — пожалуйста. Мой барак — извольте. Дни и ночи — готов. Но только не в качестве командира". От поста отказался, но с того дня впрягся в это ярмо. Садовый колодец, который Левитан вверил ему для охраны, был превращен в тайный арсенал. В садовом складе устроили тренировочный пункт. По ночам из роши доносился скрип шагов, на ее тропинках раздавался шепот паролей. В саду хрустели сухие листья, из-за бетонных стен долетали щелчки затворов и звуки команд. В бараке Давидова допоздна горел фонарь.

Когда распространились слухи о драках возле Западной Стены и в воздухе запахло паленым, Давидов

пришел в Комитет Хаганы и попросил освободить его от должности. Он уведомил комитет о своем намерении совершить "паломничество" в Иерусалим. Между ним и Швайгом вспыхнула ссора. "Что это значит — ты уведомляешь? — спросил я его. — Ты будешь подчиняться распоряжениям штаба, как все. — Никакого штаба не существует, — ответил он. И прибавил, что если арабская толпа может врывать на площадь Западной Стены, хулиганить, жечь книги, бить стариков, беспрепятственно делать все, что им хочется, — значит никакого штаба нет, и каждый должен делать то, что велит ему совесть. — Ты говоришь, как ревизионист, — сказал я ему. — Ты меня этим не пугаешь, — ответил он. — Если ревизионисты будут правы — я присоединюсь к ним! — К их демонстрациям? — спросил я. — Будешь махать черным флагом? Петь "Хатикву" и "В крови и огне Иудея восстанет"? — Он улыбнулся, достал из кармана парабеллум, положил его на стол и сказал: — Вот чего я буду! — У меня кровь к голове хлынула. — Будешь пользоваться оружием Хаганы, чтобы нарушать ее приказы? — закричал я. — Ты ошибаешься, — тихо ответил он. — Это мое личное оружие. Я его привез еще оттуда. — А завтра бросил все и отправился в Иерусалим. Когда он вернулся — трудно было его узнать. Вид развалин у могилы Рахили, в Тальпите, в квартале "гурджей", в Моце — произвели на него ужасное впечатление. "Позор! — говорил он. — Какой позор! Как деникинские погромы. Я уж не говорю о старых развалинах, — но новые поселения! Чтобы несколько десятков арабов из Лифты могли устроить резню в еврейском районе, в котором живут сотни молодых парней! Ревизионисты, — сказал он, — были неправы. Но не потому, что сделали *много лишнего*, а потому, что не сделали того, что *нужно* было сделать, играли на публику. Но против Лока, против Ченслора, Кита Роча, против таких офицеров, как Даф, — невозможно воевать с помощью лозунгов Национального Комитета и делегаций Главного Раввината! Западную Стену надо было защищать *силой*, поставить там воору-

женную охрану. Чего нам бояться? — Следственных комиссий?...” — Да, у него была душа анархиста. Ненавидел всякие рамки, дисциплину, приказы, но что? — Всегда оказывался в нужном месте, всегда в горячей точке! Он был сильный человек! С чистой совестью, высокой сознательностью, с железной волей!

Швайг поднял трубку и попросил соединить его с кем-то там.

— Только один раз я видел, как он плакал, — вспомнил он. — Ты знаешь, когда поползли слухи о событиях, мы перевели женщин и детей в Эйн-Хай. В этом мошаве было оружие, были бетонные здания, а мы ведь тогда только ручки от лопат могли держать в открытую. Большую часть эвакуированных мы возвратили через два—три дня, но несколько семейств, живших на краю поселения, еще оставались там, в домах членов мошава. Когда Давидов вернулся из Иерусалима, он отправился, разумеется, прямо к себе домой — и нашел барак пустым. Я сидел тогда в кабинете, рядом с рабочим уголком, и вдруг он врывается туда, бешеный, с красными глазами, хватая меня за рубаху: ”Говори, что случилось? — спрашивает. — Где Ципора с ребенком?” Я сказал ему, где они, и отправился вместе с ним в Эйн-Хай, в тот дом, где их поселили. Когда мы пришли туда, он взял ребенка на руки, уселся на кровать, уткнулся в него лицом — и заплакал. В самом деле. Настоящими слезами. Я этого никогда не забуду. Душераздирающее зрелище... Один-единственный раз.

Швайг закурил сигарету.

— Кстати, — в задумчивости выпустил он струйку дыма. — А с Ципорой ты встречался?... Она все еще живет в том же бараке, в той же рощице, которая с тех пор ничуть не изменилась. А вот она сама — сильно изменилась. Очень сильно. Была когда-то такой красивой. Просто красавицей. Черная длинная коса, горящие глаза... Вообще-то не стоит. Нет. Оставь ее в покое.

Телефон внезапно разразился сердитым звонком.

В 1930 году Давидов снова был арестован — за драку с рабочими из Союза Трумпельдора у ворот плантации Эйдельмана. Две недели спустя у него родилась дочь Реума, та, которая много лет спустя, достигнув зрелого возраста, увлеклась австралийским инженером и вместе с ним уехала из Палестины. В тридцать втором году Давидов перебрался на северный берег Мертвого моря и стал водить паровоз на поташном заводе Новомайского. В тридцать шестом...

Картонная папка все распухала. Я возвращался из своих поездок (раз, два раза в неделю), вшивал в папку новые листки, захлопывал ее, дабы не видеть их больше, засовывал папку в ящик стола и спешно запирал на ключ, словно захлопывая клетку со змеем. Змей не издыхал. Он ворочался и шипел. Иногда, поздно ночью, я отпирал ящик, осторожно извлекал папку, клал ее на стол и начинал читать свои записи... Я впадал в глубочайшую депрессию. Какая-то слякоть заполняла мою голову, наводняла всю нервную систему. Я сжимал веки и закрывал лицо руками. Странные видения, нездешние думы: пустая долина, залитая мертвым лунным светом, вроде Долины Привидений, кто-то зовет меня по имени, я прячусь, какая-то банда бездельников спешно вбегает, внося длинный стол, похожий на судебную кафедру, нет, на бильярд, и двое из них начинают гонять шары киями... Я открываю глаза, вижу перед собой раскрытую папку, страницы, исписанные мелким почерком, одним махом захлопываю ее, стягиваю бечевкой и торопливо запираю убийственным поворотом ключа.

Иногда я брал из папки лист и обжигал об него пальцы. Я швырял его обратно, как головешку в костер. Нет, не сейчас, завтра, завтра. Я откладывал со дня на день, со дня на день. Когда закончу опрашивать. (Ага, обвинительный матерьяльчик, который я сам и собрал! Папка жирела не по дням, а по часам. Толстела на моих глазах. Странно, странно, как это я не понял, что

согреваю змею на груди, откармливаю и ращу ее собственными руками!)

Свободного времени у меня хватало, если можно назвать свободным временем такое состояние, когда человека преследует тень и глаза сверлят ему спину. Я просыпался, как правило, поздно утром, винные пары заполняли мне голову туманом, застилали взор. Я лежал, уставив глаза в потолок, который часто раскачивался, словно потолок каюты; я пытался восстановить последовательность событий, произошедших вчерашней ночью: где я оказался, выйдя из "Подвальчика"? Что было? Как я добрался до того заведения, где в красноватом свете плавали звуки музыки, словно рыбы в аквариуме? Кто был со мной? Кого я гладил? Кто вис на мне? Как я добрался до дому? — С какого-то момента начиналось полное затмение, и моя ослепленная память беспомощно бродила в потемках, не находя выхода. Меня охватывало отчаяние, когда я нырял во тьму забвения, пытаюсь вычерпать из нее утраченное время. В отчаянии я вновь захлопывал глаза, тонул в сладкой дремоте, пускаясь по волнам легких грез, несущих меня от залива к заливу; но слегка приоткрою глаза — из угла глядит на меня замочная скважина ящика, словно глаз давно следящего за мной змея. Тут начиналась жестокая игра в гляделки, решалось, кто первым набросится, кто пустится бежать. Разом вскакивал я с кровати с твердым намерением отпереть ящик, вытащить из него папку, честно положить ее на стол, взяться за перо... Но нет. Едва только вставив ключ в скважину, я бросался обратно на кровать, а руки бессильно опускались. Я глядел в окно: там уже сиял ясный свет, время было — десять часов, одиннадцать, солнце висело в зените — и я убеждал самого себя: завтра, послезавтра, и не завтра, не послезавтра, а некоторое время спустя, когда жатва подойдет к концу... Я потихоньку вставал, одевался, выходил на улицу...

О, эта тень Давидова, волочащаяся за мной — куда бы я ни шел! Вдруг мне кажется, что он набрасывается

на меня с тротуара и хватает за горло! Я перехожу бегом на другую сторону улицы, ускользаю от колес мчащейся машины, и вот напротив кто-то вдруг сталкивается со мной лицом к лицу: Как поживает Давидов? Продвигается?... И только я успеваю смыться, иду себе дальше, как вдруг кто-то подкрадывается *сзади*, шлепает меня по плечу: Ну? Еще чуть-чуть? Совсем скоро?... Нет спасенья! Я оглядываюсь по сторонам, словно вор, уходящий от погони. Спинай чувствую, что кто-то преследует меня. Или в кафе, во время завтрака, прикрываюсь утренней газетой — и вдруг, вдруг бьет меня в ухо шепот буковок из ящика, словно шорох тысячи взволнованных муравьев, ищущих выхода, выползающих из щели... Иногда Хагит сидела возле меня, сжав свою мордочку обеими руками, разглядывала меня своими зелеными глазами, словно пытаясь решить кроссворд моих мыслей: "Что тебя мучит? Книга?" — гадала эта колдунья по шорохам моей души, и не получив ответа, говорила: "Не думай об этом. Подожди, пока самому не захочется. У тебя еще есть около года, как мне кажется..."

Около года. Свободного времени у меня хватало. После позднего завтрака я иногда спускался к морю, купался, очень далеко заплывал, предоставляя всего себя солнцу и мечтам (раскачиваясь на легких, порхающих волнах, когда на моих глазах, под головокружительными небесами постепенно таял винный дух, а вместе с ним и гнет долга, — я чувствовал себя принцем в свободном царстве снов), вылезал из воды, вываливался в песке, делал гимнастику... Так пролетало два—три часа. В три я съедал легкий обед, возвращался домой усталый, обгорелый; падал на кровать, пытаюсь читать и утопая в глубокой дреме, испуганно просыпался, когда на улице уже смеркалось... Снова поглядывала на меня замочная скважина.

О, эти дни безделия, полусон-полудрема, "а времечко бежит, чтоб не вернуться никогда"... Безделия, говорю я, но без того удовольствия, которое его обычно сопровождает. У Обломова в доме был слуга, не менее

ленивый, чем он сам, но у меня-то в комнате находился *господин*, который лени не прощал! Утренние раздумья, дневной сон, вечерние чтения, полуночные увеселения — какое удовольствие могут они доставить, если на тебя непрерывно глядит терзающий, обвиняющий глаз, грозящий днем расплаты?... Хагит — этот зеленоглазый стебелек, у которого были тоненькие, но длинные ниточки ко всем тайникам моего сердца — чувствовала это. "Да брось ты все это к черту..." — спокойно советовала она мне. Да, легко так говорить тому, кто не знает — что такое Давидов. Попробуй, разбей приставленного к тебе кумира — кто знает, какие силы в нем скрыты, сила милосердия и мощь гнева! — а ведь ты к тому же связал себя с ним собственноручной подписью.

Из издательства никто меня не спрашивал: как дела, как продвигается работа. Каждый раз в начале месяца я находил в почтовом ящике конверт, а в нем — чек на пятьсот лир, подписанный Д.Карпиновичем. Я клал эти деньги на свой текущий счет. Никто из них с меня ничего не требовал, но кроме них, казалось, все были моими кредиторами. И кто это распустил слух? Неужели две—три коротенькие заметки в газетах причинили мне столько огорчений? ("Писатель Ионес, глава из первой книги которого "Герой нашего времени" привлекла к себе столь обширное внимание публики, — писалось в одной из них, — работает сейчас над своим вторым романом, в основу которого будет положена биография другого героя нашего времени, А.Давидова" — да, именно *Давидова*!) А может, это мои друзья распустили этот слух — кто в насмешку, а кто и по простоте душевной? Или те, кого я опрашивал, рассказали своим товарищам, а товарищи разнесли эту весть по всей стране? — Так или иначе, не проходило недели без того, чтобы не пришло письмо от безымянного доброжелателя, из нашего города или из дальнего селения, в котором выдвигалось предложение встретиться со мной, чтобы "внести свою посильную лепту" в дело написания книги — по воспоминаниям, по иным сведениям,

даже умозаключениям (вынужден признаться: я не утруждал себя даже ответами на эти послания, я немилосердно рвал их и швырял в корзинку — мне хватало страха перед списком из двадцати семи фамилий); не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не остановил меня — спросить, как продвигается книга, предложить свою помощь.

Я вспоминаю о Чечике, вспоминаю со стыдом.

Как-то вечером, направляясь в "Подвальчик", я почувствовал у себя за спиной быстрые шаги, кто-то тронул меня за плечо, и, обернувшись, я увидел пожилого человека, низкорослого, лысого; нерешительная улыбка освещала узкоглазое лицо. "Вы писатель Йонес? Простите, что я задерживаю вас. Моя фамилия Чечик", — протянул он мне коротенькую ручку. "Чечик?..." — пытался припомнить я. "Ну, вы обо мне, конечно, не знаете... Я когда-то играл в театре... Спросите, вам скажут. Я хотел бы с вами поговорить. Не сейчас, разумеется, я вижу, что вы спешите..." — "По какому вопросу?" — нахмурился я. (Да, снова один из этих! — враждебно глянул я на него — снова добровольное, скромное пожертвование — с извинениями впридачу, но совершенно невыносимое!) "Я слышал, что вы пишете книгу о Давидове, — он не выдержал и отвел глаза, — и хотел бы встретиться с вами. Я не отниму у вас много времени". (Отделаться от него, отделаться любой ценой! — я сделался непроницаем.) "Послушайте, господин Чечик, — скрепившись, заговорил я, — если это связано с материалом..." — "Нет-нет. Я знаю, что материала у вас предостаточно, — поспешил он успокоить меня. — Это совсем по другому делу. Я обещаю вам, что не отниму у вас много времени. Вы не пожалеете. В любое время, которое вы назначите, в любом месте". Я договорился с ним о встрече в кафе, в один из вечеров, — только бы он отстал от меня. Та самая "мелкая пакостность" по отношению к людям, нуждающимся во мне, которую Ахува постигла собственным телом, делала свое дело: на встречу я не пошел, и не без удовольствия представлял себе, лежа на кровати и

рассеянно читая, как этот Чечик сидит за столиком и ждет меня — полчаса, час, нетерпеливо поглядывая на двери кафе, выходит на тротуар, ищет меня глазами то здесь, то там. Размышляет, не перепутал ли он место встречи, время... На завтра — в два часа ночи! — я столкнулся с ним, выходя из "Подвальчика", — он стоял и ждал меня у входа. "А, господин Чечик, — я чуть не споткнулся о ступеньку. — Простите меня за..." — "Не извиняйтесь, не извиняйтесь, — поспешил успокоить меня Чечик. — Я понимаю, вы были заняты. Вам пришлось уехать и..." — "Я не успел сообщить вам, очень сожалею..." — "Да, я понимаю. Так когда?" И достал записную книжку и начал листать ее в обе стороны, словно рассчитывая свое крайне напряженное время. "Может, лучше будет, если я приду к вам домой? — уставил он на меня выжидающий взгляд. — Вы живете на квартире Полищука, если я не ошибаюсь". — "Нет, это как раз не самый удобный вариант", — поспешил я разрушить его злодейский замысел. "Я понимаю, конечно. В любом удобном для вас месте". Я назначил новый срок встречи. Снова не пришел. Дней десять он гонялся за мной, устраивал мне засады, настигал в самые неожиданные часы, в самых неожиданных местах. Я стыжусь сейчас повторять те вымыслы, к которым я прибегал, чтобы оправдать свое отсутствие, выставляя его дураком, лжецом, помешанным ("Я был там, господин Чечик. Это *вы* там не были!"; "Мы договорились в шесть, господин Чечик, в шесть, а не в семь!"); он покорно принимал эти вымыслы, спеша оправдать меня. Но спасенья от этого зануды не было. В конце концов я поддался на уговоры и пришел к нему домой.

— Имейте в виду, господин Йонес, — взволнованно начал он, подавая мне чай с булочками в своей маленькой комнате, заваленной книгами, фотографиями и старыми театральными афишами, — что я был хорошо знаком с Давидовым. Работал с ним в "Ратисбон" и в двадцать восьмом гонял тачки с песком по улице Шенкина. Я много раз встречался с ним. То в Сде-Нахум,

то у "Северной стены"... Но я не стану вам этого рассказывать, хоть и есть мне что рассказать, и не мало. Скажу вам только одно, и вы поймете, почему я так хотел с вами встретиться, почему гонялся за вами несколько недель — и не думайте, что я не понимаю, как я вам надоел — и почему все это так важно для меня. Итак, знайте: *мечта моей жизни — сыграть Давидова.*

Чечик сидел на краю дивана, застеленного затертым зеленым покрывалом, вцепившись в бахрому, словно держась, чтобы не упасть. Его водянистые глаза без ресниц устали на меня свои зрачки и, казалось, что они переполнены мутными слезами.

— Мечта моей жизни, господин Йонес. Да, — покачал он головой. — Вы человек молодой, вы меня не знаете, а может и не поймете меня. Но когда я узнал, что вы пишете книгу об Абраше Давидове, — то здесь вот, — он положил руку на сердце, — что-то запылало. Бывает так в жизни, господин Йонес! В душе вроде бы уже одна зола, уже много лет — зола, но вдруг — загорается от одной искры!... И заветная мечта становится Жар-птицей...

Я глянул на него, увидел малюсенькую искру в его узких глазах и опустил голову.

— Да, — сказал он. — Вы смотрите на меня и думаете: что это за Чечик такой? Кто он? Кто слышал о нем? Кто знаком с ним? Хлам! Кто обращает внимание на хлам в придорожной канаве? И кому какое дело до хлама? Но... вы писатель, господин Йонес! Вы, если можно так выразиться, занимаетесь вопросами *души*! Вы *понимаете*, что значит, когда в человеке загорается искра великой надежды...

Чечик уставился на меня, не отводя взгляда. После того, как в воздухе отзвенело эхо его взволнованной речи, он встал с дивана, схватил меня за руку и поднял со стула.

— Поглядите, — провел он рукой вдоль фотографий, висящих на стене, — это с вечера Шолом-Алейхе-ма, из "Касриловских разбойников", а это я, в роли третьего разбойника, роль маленькая, но полная тем-

перамента. А здесь, то что вы здесь видите — это из "Рыбаков"; я в роли бухгалтера Капса. Рыбаки приходят убивать своего хозяина после того, как затонула барка, а я останавливаю их собственным телом. Здесь я глашатай из цвейговского "Иеремии"... "Восстань, народ Израиля! — вдруг повысил он голос и поднял руку, точно размахивая мечом. — Смелее, не падайте духом, ибо вечен будет Иерусалим! К оружию!"

Это "к оружию" он проревел мощным голосом и замолк на секунду, чтобы дать отзвенеть эху. Потом повернул меня к противоположной стене, к снимкам сцены, на которой стояло несколько больших деревянных кубов и что-то вроде пирамиды на заднем плане.

— А тут, — показал он мне актера, завернутого в тогу, взбравшегося на пирамиду, — я один на сцене. Один-одинешенек. Ангел в пьесе "Яков и Рахель". Поднимается занавес, я стою на скале, у подножия которой спит Яков. Я заменял тогда актера, постоянно игравшего эту роль, а после спектакля подошел ко мне покойный Шенбойм и сказал — я это как сейчас помню — "Чечик, ты всех нас провел по лестнице на небо". Так и сказал. А если бы от меня сегодня же вечером потребовали бы сыграть эту роль — я бы взошел на сцену и произнес бы весь текст без репетиции. Все это хранится у меня здесь, в сердце. "Кто ты и что ты здесь делаешь?" — спрашивает Яков, а я отвечаю: "Я пришел, чтобы взять твою душу!" — "Кто послал тебя сюда?" — "Тот, кто сотворил небо и землю!" — "Не умру я, но в живых останусь. Оставь меня!" — "Яков, Яков, душа всего живущего поручена мне!" Это вот эпилог, то что вы здесь видите, — потянул он меня к другому снимку, на котором изображалась убогая комната, похожая на обитель Полищука. — Это сатирический вечер "Чайника", а я в роли поэта, в очень миллом скетче Авигдора Меири. Кстати, мы давали этот спектакль в Кфар-Сабе, и Давидов видел меня. А теперь, — сказал он трепещущим голосом, словно готовя меня к сюрпризу, сбереженному напоследок, — поглядите на кое-что иное...

На третьей стене, между двумя афишами театра "Эрец-Исраэль", висел снимок, где Чечик сидел на троне с растрепанной бородой, глубокими морщинами на лбу, опустив руки на колени и изображая собой страдание. Он долго вглядывался вместе со мной в этот снимок, сложив руки на груди, потом спросил:

— Кто это, по-вашему?

— Это вы, если я не ошибаюсь.

— Я! Конечно, я, но вот в какой роли?

— Царь Давид?

— Лир! — загорелись его глаза. — Король Лир! "Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки! Лей, дождь, как из ведра, и затопи верхушки флюгеров и колоколен! Вы, стрелы молний, быстрые, как мысль, деревья расщепляющие — жгите мою седую голову! Ты, гром, в лепешку сплюсни выпуклость вселенной и впрах развей прообразы вещей и семена людей неблагодарных!"

Чечик размахивал головой и руками, произнося эту реплику, а вся комната служила ему сценой. Его лицо сияло светом королевского величия. Он опустился на диван и, отдышавшись, заговорил:

— Это мы ставили в иерусалимской студии. Как принимала меня публика — этого я вам не стану рассказывать. Скажу только, что на один из спектаклей пришел сэр Рональд Сторс — человек, впитавший Шекспира с молоком матери, — потом он зашел за кулисы и... Этого рукопожатия я никогда не забуду. Я могу сказать о себе, несколько не преувеличивая, что я дал Лиру новое звучание, непохожее на то, что было прежде... Вы никогда не задавались вопросом, — наклонился он ко мне, — почему он сходит с ума? Потому что его предали дочери и друзья? Нет! Королям хорошо знакомо предательство — всем королям во все времена! Им изменяли жены, сыновья, дочери, придворные и слуги. В этом нет ничего нового. Тема шекспировской трагедии совершенно *иная*, гораздо более общечеловеческая! Это не только трагедия короля — это трагедия всякого человека, которого старость заталкивает в угол, в то время как он еще жив! Трагедия

человека, который видит, как его отстраняют, насмеются над ним, выгоняют, берут наследство при жизни, а он становится никому не нужным предметом — в то время как он еще полон сил! Вот *почему* он сходит с ума! Сумасшествие — это протест, понимаете? Протест против *судьбы*! Так нужно играть Лири! Почувствовать, что это ты, что это твоя судьба, которой предстоит свершиться в один прекрасный день и которая уже притаилась в тебе самом, так что ты ничего не сможешь с ней поделать — ничего!

Друг мой, — хлопнул себя Чечик по коленкам и наклонился вперед, — тот, кто играл короля Лири, сможет сыграть и Давидова!

— Я пишу всего лишь биографию, господин Чечик, да и та еще не написана.

— Знаю, знаю, — сказал он, словно был готов к такому ответу. — Но... не чувствуете ли вы какой-то *драмы*, заложенной в судьбе этого человека? Какая большая сценическая тема скрыта здесь! Может, это будет первая настоящая израильская драма? Подумайте-ка о том, какой это образ! Какая внутренняя борьба! Какие противоречия! Романтик — и деловой человек! Анархист — с чувством долга! Мечтатель, тоскующий по предметам духовным — и силой подавляющий их вокруг себя... А семейная жизнь!... Жена, убитый сын, дочь, свернувшая с пути! Какой материал для драмы! Да ведь если бы Давидова не существовало — писатель должен был бы *выдумать* его, чтобы сделать его героем драмы!

— Я *переживаю* его, господин Йонес, — положил Чечик руку на грудь. — Я ощущаю его, я помню каждый его жест, каждое словечко. И не подумайте, что я шел к вам с пустыми руками. Дни и ночи я размышлял об этом, дни и ночи. У меня уже есть готовый план. До мельчайших подробностей. А вам — вам остается только сесть и написать.

Тут он выложил мне свой план, включавший шесть эпизодов из жизни Давидова, действие которых происходит в четырех стенах комнаты, меняющей декорации

в соответствии с изображаемым временем и местом: в первом эпизоде — дом Давидовых в России (трагическое прощание с его русской возлюбленной перед отъездом в Эрец-Исраэль); во втором — домик у источника Харод в день выхода Давидова из Трудового отряда; в третьем — его барак в Кфар-Сабе (и тяжелая ссора с женой, вызванная сообщением об его отъезде к Мертвому морю); в четвертом — штаб Хаганы в Тель-Авиве в тот момент, когда отклоняется его добровольное предложение спуститься на парашюте на оккупированную территорию; в пятом — на позициях в иерусалимских горах, когда ему сообщают о гибели сына; в шестом — в безр-шевской больнице за несколько часов до смерти.

— Это срез целой эпохи, — резал Чечик воздух ладонью. — Великая, прекрасная эпоха сквозь призму жизни одного человека, шагавшего, вроде бы, по обочине, но вместе с тем прошедшего весь путь с передовым отрядом! Так я себе это представляю!... А если вы спросите, кто воплотит это в жизнь, кто будет играть...

Он уже договорился с шестью актерами, четырьмя пожилыми и двумя молодыми, которые выразили желание создать специальную труппу для этой цели. Задержка только за мной — они ждут, чтобы я написал пьесу и передал ее в их распоряжение.

— Друг мой, — сказал он, — Давидов — это лучшая роль в моей жизни! Я не откажусь от нее! И вас в покое не оставлю! Не подумайте, что я такой вот — низенький, лысеющий, упаси Бог от этого, — и нет у меня никакого внешнего сходства с Давидовым. Это не играет никакой роли. И великий Гаррик был коротышкой, к тому же уродом, но когда он играл Гамлета, Лира, Макбета — он касался головой небес! Роль окрыляет артиста! С ним происходят чудеса! Когда я буду играть Давидова — я буду воплощать его всей душой, всеми силами, с ощущением особой *миссии*, с глубоким сознанием того, что это открытие истины поколению, потерявшему мечту!

Все мои объяснения — что я не смогу даже подумать об этом, прежде чем не закончу сбор материала, прежде чем не напишу саму книгу, что у меня есть обязательство, которое я должен выполнить в срок, что у меня нет никакого опыта в писании драмы — Чечик встречал презрительным покачиванием головы: "Только начните, и увидите, что вас понесет волна, что вы не сможете остановиться, не сможете думать ни о чем другом... Делайте это *вместе* с книгой, одновременно, мы с вами будем помогать друг другу..."

Его уши были невосприимчивы к отказу. Он рассматривал его отчасти как проявление скромности, отчасти как неуверенность в собственных силах. Продолжая умолять и подбадривать меня, он вытащил из кармана связку ключей, повертел ее, чтобы найти нужный ключ, подошел к столу, отпер ящик и извлек из него распухший конверт, который протянул мне, сказав:

— Позвольте мне, господин Йонес, исключительно в качестве аванса,,, Небольшую сумму... Пятьсот лир... Лишь бы вы смогли начать...

Я вскочил со стула и отстранил его протянутую руку: — Никаких денег я не возьму, — сообщил я ему. — Не о чем говорить. Если я когда-нибудь закончу книгу...

— Вы обижаете меня, господин Йонес, — покосился на меня Чечик исподлобья, по-прежнему протягивая мне конверт. — Поверьте мне, что я это делаю...

Я устремился к двери: — Ничего не возьму. А о пьесе мы поговорим позже. Там видно будет.

— Вы обещаете! — крикнул он мне вслед, когда я спускался по лестнице. — Помните, что я жду вас... Помните...

Через несколько дней ко мне пришел чек на пятьсот лир, подписанный Чечиком. Я не получал по нему денег, но и не возвращал его. Он все еще лежит у меня в ящике, вот уже больше года.

Сегодня состоялось заседание суда. Длилось оно всего десять минут. Мой защитник сообщил, что почетный секретарь Союза писателей не смог прийти по состоянию здоровья. Адвокат Эврат заметил на это, тонко улыбаясь, что, как он надеется, "высшая сила" не привяжет уважаемого писателя к постели на долгое время. Мой защитник выразил протест против грубой насмешки над маститым писателем и потребовал изъять это замечание из протокола. Замечание изъяли. Следующее заседание состоялось через две недели.

Мне следует продолжить рассказ о книге, которая не была написана, которая уже никогда не будет написана. Но не могу я обойти вниманием и тот печальный случай, который произошел приблизительно в то же время — иными словами через две недели после встречи с Менахемом Швайгом и недели за две до встречи с Руди Эфратом — историю с Ури Грабовицким, "генералом".

"Генерал" (это звание — висевшее на нем, как золотой талисман на нищенском тряпье, — было присвоено ему после того, как он рассказал, что его отец стал крупным офицером в Красной армии, когда они всей семьей бежали из Польши в Россию) ошивался в тени нашей братии, как папоротник в тени деревьев. Он сидел в дальнем конце стола, съезжившись, точно от холода, не то прислушиваясь к разговору, не то подремывая, и только когда Накдимон обращался к нему с какой-нибудь просьбой (или даже раньше — когда он разыскивал глазами кого-нибудь или хотел кого-то позвать), — Ури вскакивал с места и спешил исполнить его волю. Всегда готов был его обслужить, принести на его столик солонку, бутылку, поддержать его, нетвердо стоящего на ногах, довести пьяного до дому, драться со всяким, кто посмел задеть его. Накдимон прези-

рал его больше, чем всех остальных своих почитателей, — снисходительным презрением господина к своему любимому слуге — и с особым удовольствием выкликал, когда надо и когда не надо: "Генерал!" или издевался над его убогим занятием, службой продавца в книжном магазине: "Генерал! Торговый работник! Зачем тебе вооружать знаниями голову, когда у смелого полководца "оружие" — у бедра? Бросай книгу и хватайся за шпагу, генерал!" Генерал скромно улыбался, точно ему приятны были палочные удары владыки, и все смеялись.

Его стихи, изредка появлявшиеся на последних страницах журналов, точно в заброшенных уголках, были обречены на замалчивание. Никто не обсуждал их ни в его присутствии, чтобы не огорчать его, ни в его отсутствии, так как считалось, что они не стоят того. Они были написаны в старой манере — откровенной, сентиментальной, иногда — пропитаны кровью, иногда — напоминали тонкие карандашные наброски осенних пейзажей его польского местечка с гусями у реки, с прогнившими крышами ("Разрушенный забор и тучи вдоль дороги, | Лицо мое сияет свечкой в ясный день, | Изранены в пути мои босые ноги, | И дымкой давних снов бежит за ними тень"). Когда он хорошо напивался, он впадал в глубокую депрессию, уединялся в уголке, свесив голову на впалую грудь, крепко сжав веки, сдавив до морщин свое мученическое лицо, точно пытаясь вслушаться в какой-то далекий голос. Как-то вечером в "Подвальчик" вошли два уличных певца, два пугала в лохмотьях, и стали петь старые песни на идиш, а один из них еще и пиликал на разбитой скрипке. После двух-трех песен, населивших "Подвальчик" привидениями, Гумпель обратился к официанту с требованием выставить их в конце-концов: "У нас нет достаточного чувства юмора для польских покойнических свадеб!" Вдруг "генерал" вскочил, точно ужаленный, и, покраснев от гнева, крикнул: "Почему — выставить? Почему?" Накдимон навел на него ледяной взгляд и тихо, неспешно проговорил: "В чем дело, генерал? За-

дели честь твоего отечества?" Удивленный "генерал" собрался что-то сказать, но тут же уселся и замер. "Бери рюмку, выпей!" — передал ему Накдимон вино, когда те двое вышли. "Генерал" сидел, съезжившись, и не двигался. "Пей, тебе говорят!" — приказывал Накдимон. "За здоровье польского еврейства!" — поднял он бокал. "Генерал" быстро глянул на него исподлобья, и горькая улыбка, озарившая его лицо, погасла. "Не подумай, что я такой циник, — сказал Накдимон тонким протяжным голосом. — Я только ненавижу демонстрации уродства, вот и все!" "Генерал" коснулся протянутой ему рюмки, потом налил себе сам и пил, медленно и много, рюмку за рюмкой. После полуночи, когда все ушли и "Подвальчик" опустел, он продолжал сидеть, притаившись в углу — с печальным лицом, точно скрепя сердце. "Пойдем, уже поздно", — пробовал я его поднять. Он открыл глаза, долго вглядывался в меня, словно найдя во мне друга, шепнул: "Сядь, сядь". Снова закрыл глаза, содрогнулся и после долгих минут молчания опять глянул на меня: "Что они понимают, Йонес?... Ничего они не понимают!... Они не верят... ни во что!... Ни во что, ни во что... Ничтожества, ничтожества... Они вообще не евреи!" Снова погрузился в забвение, а встряхнувшись, забормотал: "Ты думаешь, почему я... на побегушках у Накдимона, а?... Потому что я... вонючка... Потому что он родился здесь, вот... я... и думаю, что он умней меня... Что вся страна у него в кармане... Частная собственность..." — усмехнулся, точно грозя себе пальцем, и вдруг раскричался так, что стены пустого "Подвальчика" содрогнулись: "Это его страна? Дерьмо она, если это его страна! Да что он знает, вообще? Что он видел в своей жизни? По какому праву он тут господин? Он *гадит* на эту страну своими умствованиями! Стыдно верить во что-то? Стыдно быть откровенным? Стыдно быть грустным? У кого язык острее — тот тебе и король! Король! Послушай, — крепко схватил он меня за рубашку, а лицо его распухло, точно он собирался расплакаться, — *они поэты? Они писатели?...* Они не

верят!... Ты когда-нибудь видел у них слезы на глазах?... Ничто не может заставить их заплакать!... Ничто... Когда мы бежали из своего местечка, там... пешком... километров двести... по снегу... Мне было семь лет... Да, семь лет... — у него заплетался язык. Ему не хватало слов. Он беззвучно двигал губами. — А, разве это важно..." — он откинулся к стене и закрыл глаза. Его лицо стало теперь спокойным, без морщин, точно у спящего ребенка. Он посидел так несколько минут, точно уснув, а когда снова раскрыл глаза, запел таким нежным и печальным голосом, шедшим точно издалека, что я содрогнулся: "Гелозн ди маме алейн ин дер хейм, ин хейзл ферлатет мит тройер ун лейм..."¹. Он пел самому себе, точно погружаясь в молитву, а на столе сверкали пустые рюмки, официант стоял, прислонившись к стене, и слушал со слезами на глазах. Вдруг он остановился на полуслове, опустил голову на грудь и съежился, словно от холода.

Когда вышел сборник его стихов, "Следы на пепле", он перестал появляться в "Подвальчике". Как-то вечером мы почувствовали его отсутствие и стали расспрашивать друг друга — где "генерал"? Именно Лвия сказала: "Некрасиво. Человек издаст книгу, свою первую книгу, и даже не выпиваем по этому поводу... Все-таки для него это праздник". — "Выпить-то можно, — ответил Гумпель. — Вопрос только в том, что при этом говорить". — "Всегда можно что-нибудь сказать, — расцвели розочки на щеках Лвии. — Было бы только желание. В конце концов — есть у него несколько стихов не таких уж плохих..." — "Я честно скажу тебе, — призналась Оснат, — я просто боюсь встречаться с ним. Получила от него книжку с посвящением, не поленился даже принести ее ко мне домой, и... У меня просто нет для него доброго слова. Мне даже неудобно. Всякий раз, когда я вижу его на улице, перехожу на дру-

¹ "Оставил я маму одну дома, в лачуге, заплатанной пещалью и глиной..." (идиш).

гую сторону...” — “Всегда можно найти доброе слово”, — стояла Лвия на своем. “Никакой филантропии! — поднял Гумпель руки. — Книга эта — плохая! Подражательная, анемичная, вызывающая сожаление, точка. Кто рифмует сегодня “вновь” и “любовь” — тот просто жалок. Вот и все. Заруби себе на носу, что мы не общество выдачи беспроцентных ссуд, и надо проводить границу между личными симпатиями и объективными творческими оценками! Платон мне друг, но истина мне дороже! Как человека — я люблю его не меньше, чем ты. Я готов оставить его у себя ночевать, накормить его, разделить с ним его несчастья. Но какое это имеет отношение к литературе? Почему нужно становиться лжецом?”

Разрешил все противоречия, разумеется, Накдимон: “Завтра вечером, — сообщил он, — приводим сюда “генерала” и устраиваем ему торжество. Я произношу первый тост, Эвьятар — второй, Гохберг — третий. Без Гумпеля. Он давно уже стал лжецом”.

Когда компания была уже в полном сборе — человек двадцать — Ури еще не было. Двое вызвались привезти его в такси из дома и спустя полчаса вернулись, волоча его под руки. Как только он появился, Накдимон провозгласил: “Генерал!”, и все мы, как один человек, встали и запели марш буденновцев, идущих в бой. “Генерала” силой усадили во главе стола (он пытался удрать, сопротивлялся, но в конце концов смирился со своей горькой судьбой, выдавив некое подобие улыбки), и после того, как спели еще несколько походных песен, частью русских, частью пальмаховских, встал Накдимон, который был пьян еще к началу вечера, и взял слово:

— Господа, — заговорил он. — Я прочел книгу Ури Грабо... Грабо-виски...

Громкий смех прокатился по теплomu пространству. Лицо Накдимоны оставалось неподвижным. Он дождался, пока публика не успокоится, и продолжил:

— Я прочел “Следы на пепле” с первой страницы до... Да, до последней... И я утверждаю, что это... Са-

мая *сильная* книга стихов, прочитанная мною за... последние... два года! Я взволнован, поражен, потрясен! В ней есть правда! Честность! Верность! В ней нет ни единой с-строчки лжи!... Это верная книга, господа! А когда я говорю — верная... *Уберите эти идиотские улыбки с ваших литераторских рож!* — возмущенно крикнул он. — Что ты ухмыляешься, как млеющий от вожделения кастрат, рифмоплет несчастный! — крикнул он Элиразу. — Если бы ты написал за свою жизнь хотя бы одну такую строчку, как... шесть строчек из "Снежной ночью на моем плече" — я бы возлил благовоения на твою голову, Эли-мразь!" Воцарилось недоуменное молчание. Накдимон понизил голос, помрачнел: "Я хочу прочесть вам эти... шесть строк", — и зачревовещал:

Снежной ночью на моем плече
Ангелы-хранители сидели,
Материнский голос стыл в ручье,
Предо мной разгадки тайн висели.

Ангелы куда-то улетели
И опять остался я ни с чем.

— Это жемчужина, господа! — шепнул он. — Застывшая жемчужина, в которой заключены... бездны смерти! Да! Бездны смерти!... Есть ли среди нас хоть один поэт — хотя бы один, я вас спрашиваю! — который смог бы извлечь скрытую красоту из минуты ужаса, как это... сделано в... тех шести строчках? Не в строчках, господа! В *паузах* между строчками! В этих... страшных паузах! Ну, кто?... Если бы Эвьятар, или Авнер, или Гохберг могли бы делать такие паузы — они были бы *великими* поэтами, я вам говорю!... Честь и слава Генералу! — он повысил голос. — Это поэтический сборник, о котором мало сказать, что это поэзия! Это *кровь души*! Слезы, застывшие жемчужинами! Все пропитано истиной! И это в эпоху цинизма, в котором мы все барахтаемся...

Хагит, сидевшая возле меня, чиркнула на салфетке: "Тебе не кажется, что это издевка?" Я приписал: "Мо-

жет, он в самом деле так думает". Она вернула мне салфетку с припиской: "Ты не знаешь Н. Он способен сам себе верить, когда лжет". — "Может быть", — ответил я. "А Генерал чувствует это", — написала она. "Генерал" сидел с поникшей головой, сложив руки на груди, ни разу не подняв взгляда.

— Генерал! — поднял Накдимон рюмку, выпутавшись из скороговорки, полной "истин" и "верностей". — Я поднимаю свой бокал за самую впечатляющую, самую потрясающую книгу стихов, изданную в последнем десятилетии... За книгу, которая больше, чем просто поэзия,, Которая есть самая суть бытия! Будь здоров!

Эвьятар отказался выступать. Умоляли его — не поддался. Болезненная улыбка угнездилась в глубине его бороды, точно раненая птица в толще куста. Не помогли ни шепотки, ни намеки, ни возмущенный скрежет Лвии, сердито подталкивавшей его, ни громогласная брань Накдимона: "А мне легко было — как ты думаешь? Говори! Молчать будешь, когда возьмешься за перо! А сейчас — говори!"

Йоханан Гохберг встал по собственной воле. Стоял прямо, точно окаменев, бледнея от плохо скрытого волнения, и дожидался абсолютной тишины.

— Ребята, — сказал он. — Я не стану произносить похвалы. Похвалы тяжело произносить, тяжело их и слушать. Я расскажу только о том, что произошло в один из вечеров, недели две тому назад, когда Ури принес мне свою книгу. Он подошел к моей квартире, постучал в дверь, а когда я открыл — протянул мне из-за порога книгу, сунул ее мне в руки — я даже не сообразил, что это — и убежал. Я крикнул ему, чтобы он вернулся и зашел хотя бы на несколько минут,, Нет. Он уже был на улице. Тогда я заперся в своей квартире, открыл книгу, прочел первую страницу, вторую...

Йоханан Гохберг рассказал, как, читая стихотворение за стихотворением, он ощущал, что его окружают "добытийные" воспоминания, как в бреду у больного, который, проснувшись, ощущает, что все это уже было

когда-то и только повторилось во сне. Он сказал, что приехал в Палестину двухлетним ребенком и страну, в которой родился, не помнит. И эти стихи действовали на него, как вливание событий, существовавших во тьме. Потом он заметил, что у него нет прибора для измерения стиха, но есть уши, чтобы слушать мелодию. Здесь слышалась *единственная* мелодия, а "все, в чем есть единственная мелодия и нет игры оркестра — является поэзией". Потом он заговорил о простоте поэзии и о "том достоинстве, к которому нынче относятся с презрением — о скромности".

— Точно, точно, — перебил его Накдимон. — Как всякая девушка, которой нечем щеголять... щеголяет чем?... Скромностью!

Все зашикали на него. Йоханан Гохберг еще больше побледнел. Снова он дождался тишины.

— Мне не знаком пример в великой поэзии, — продолжал он, — в котором не было бы извинения за красоту, какого-то сдерживания могущества, таланта, укрытия поэта за словами с тем, чтобы дать им...

— Сядь, Гохберг! Сядь! — замахал ему Накдимон обеими руками. — Ты порешь чушь! Враки... Многоэтажная конвенциональная ложь!... Покажи мне хотя бы одного великого поэта, который... был бы... скромником!

В сдержанной бледности Гохберга проглядывалась вражда, готовая в любую секунду вырваться наружу. Он все еще сдерживался и продолжал говорить. Когда он дошел до фразы о *печали* в стихах Ури Грабовицкого, Накдимон перебил его в третий раз:

— Кому какое дело до печали? — гадким голосом кричал он. — Кому приятно смотреть на то, как из тебя течет гной...

Гохберг схватил стоявшую возле него рюмку и выплеснул ее Накдимону в лицо. "Говнюк!" — задрожали его губы. Тот поднялся, сгреб все рюмки и бутылки, стоявшие на столе, и швырнул их на пол, протягивая руку к горлу своего ненавистника. В наступившей суматохе, когда официант, повариха и хозяин кабака

орали, угрожая позвать полицию, к Накдимону протиснулся "генерал", крепко схватил его за руку и потащил к выходу. Когда они выползали на улицу, мы еще могли слышать пьяный голос Накдимона: "Печаль, он говорит... Ну и что с того, что есть печаль? Если у кого чего болит..."

А с того вечера — исчез "генерал". Никто его не встречал, никто не слышал о нем. Только несколько месяцев спустя рассказал нам Шаул Нун, что видел его в Эйлате — тот работал на стройке, формовщиком. Поздоровался — а тот не ответил. Отвернулся и продолжал работать. "В конце концов, он делает полезное дело! — сказал Накдимон, прослышав об этом. — Строит государство!"

15

Я подбираюсь к истории с Нили, вмешавшейся вроде бы по ошибке, неестественным образом, в рассказ о Давидове. Теперь меня охватывает дрожь, когда я вспоминаю, что только воля случая привела меня на это минное поле; что не было, вообще-то, никакой необходимости встречаться с Руди Эфратом: в моем списке было *две* фамилии — его и Эли Розенберга, эти двое могли рассказать мне о пребывании Давидова у Мертвого моря, а выбор был в моих руках. Я же нажал на кнопку "левого звонка". Я выбрал Руди. Да и не только это, ведь и после того, как появился на моем пути Сатана, предупреждая: Опасность, опасность! — я продолжал упрямяться, отведя от него глаза. Какая-то страсть меня охватила — найти этого Руди, несмотря на то, что он вроде бы прячется от меня, скрывается. Так случается, что слепой инстинкт уводит человека, перед которым открыты семь дорог, именно на ту узкую тропинку, где поджидает его Сатана.

"Руди Фройденталь. Работал с Д. у Мертвого моря с 34 по 36 (адрес неизвестен)" — вот что было у меня записано. Авраам Шай только и мог мне сказать, что

Руди был членом кибуца Л. с тридцать девятого года, но нет уверенности в том, что он все еще там. На два моих письма в кибуц я не получил никакого ответа. (Помнится, сидел я вечером за столом, уставившись в список: Может быть, все-таки Эли Розенберг? — Нет! Фройденталь! Найду его во что бы то ни стало!) Взял и поехал в тот кибуц. На месте выяснится, подумал я. Это было через несколько дней после той истории с Ури Грабовицким. В "Подвальчике" становилось душновато. В поездке на север было что-то... Да, я нуждался в капельке свежего воздуха.

Я приехал туда после захода солнца, подняв дорожную пыль над спокойным простором, наброшенным шалью на долину Хулы, на просвет в горах. Только я вышел из автобуса, как мне сказали, что человек этот вышел из кибуца лет десять тому назад, и никто не знает, где он теперь. Все же я был вынужден там заночевать. И не раскаялся в этом. В столовой царило то праздничное оживление, которое присуще ужину после трудового дня; я помнил его с тех далеких дней: пробежки в поисках масла к салату, уксуса, головки лука или бухгалтера; те же шуточки от тарелки к тарелке, от стола к столу; та же прилежность подавальщиц, везущих горшочки с дымящейся кашей и котелки с супом на металлических тележках. Над улицей висела звездная, сапфирная ночь, населенная близким кваканьем лягушек, ветер приносил запахи мяты из ущелья с воспоминаниями о детских прогулках по горам. Секретарь, провожая меня в выделенную мне комнату, посоветовал мне попытать счастья в Шавей-Цион: там, насколько ему известно, проживал Руди Фройденталь после выхода из кибуца — год, или два, или три — работая на испытательной станции возле Акко. Маленькие огоньки плясали над долиной, как светлячки над темным озером, мигали вдоль затененной стены гор, точно плавая в пустоте. Необъяснимая грусть сдавила мне грудь. Секретарь отпер дверь и зажег свет. "Твою жену зовут Ахува, правда?" -- положил он пару накрахмаленных простыней на кровать.

Я помню эту секунду помрачения, когда с моего языка уже готово было сорваться "Да", — не для того, чтобы скрыть истину, а потому, что истина утратила свою однозначность, и мне показалось, что это в самом деле так, у меня в голове смешались — может быть, из-за перемены места — времена и события, и я не знал, где я нахожусь в упорядоченной цепочке лет и что произошло со мной, и вообще... "Вы знакомы с ней?" — спросил я. "Я знаком с Геулой, твоей золовкой, — ответил он. — Соседи. Встречаемся иногда". Когда он вышел — какая-то прохладная тишина наполнила эту чужую, уединенную комнату, словно только она одна и существовала в ночной пустоте. У изголовья кровати стояла этажерка с книгами. Я взял "Жизнь" Мопассана и прочел несколько страниц, прежде чем уснул.

Утром долина Хулы была зеленой, прозрачной, омытой росами, горы приблизились, став резче и обнаженней. Снова впал я в какое-то помрачение, путая времена, возвращаясь к дням иным, о которых не знаю — во мне ли они или вовсе не было их никогда. Сидя в автобусе, пересекавшем каменные плато, приближаясь к горной стене, отдаляясь от нее, въезжая наверх и вглядываясь в чистейшие зеркала прудов, — я думал: и чего это я гоняюсь за этим Руди Фройденталем, кто он, что мне до него, и какая это глупость...

Я проделал весь этот долгий путь от кибуца Л. к Цфату, от Цфата к Акко, от Акко в Шавей-Цион. Когда я добрался туда, был уже послеобеденный час. Немногочисленные прохожие не знали, кто такой Руди Фройденталь, никогда не слыхали такого имени. В ресторанчике сказали, что был когда-то такой, да вот уже много лет, как нет его, смогу спросить у его бывшей жены, Марги Амир, — она-то наверняка знает. Я потащился в конец поселка. Открыв калитку, я был встречен лаем бульдога. Стукнул медным колечком о чистенькую сосновую дверь. Тошая женщина с недобрым лицом появилась на пороге. "Да?" — недоверчиво поинтересовалась она. Я спросил ее, не знает ли она, где можно найти Руди Фройденталья — он мне нужен по

важному делу. Она смерила меня враждебным взглядом: "Нет его здесь", — и уже собиралась захлопнуть дверь перед моим носом. А, может быть, все-таки... может, она сумеет мне сказать, где он сейчас живет, я ведь ради этого ехал сюда, а дело очень важное... "Я не знаю, может быть, в институте Вейцмана", — со злобой сказала она. Собачий лай провожал меня со двора на улицу. Э, всю страну пешком обойду — найти этого Руди, которого я и знать не знаю...

Назавтра я позвонил в институт Вейцмана. "Руди Фройденталь? — ответил мне женский голос. — Нет у нас такого". Я сказал, что говорю по поручению Авраама Шая из Министерства обороны, и это очень срочное дело. "Подождите секундочку", — попросила она. Стук печатных машинок и щебет женских голосов зудели в трубке. Я дождался, и ясный женский голос сказал: "Вы имеете в виду, конечно же, Руди Эфрата. Да, он работает у нас. В отделе биологии. Что ему передать?"

Я написал Руди Эфрату открытку. Получил от него ответ — смогу прийти к нему как-нибудь вечером, он охотно расскажет мне все, что знает. Я облегченно вздохнул. Знать ведь не знал.

Черепичные крыши распространяли вечернее зажиточное спокойствие. Все гляделось очень мирно — маленькие каменные домики, аккуратные плиточные мостовые, травяные островки, автомобили, дремлющие у ворот, как верные сторожевые псы, тихие огоньки, сочащиеся из окон в сеточки ветвей...

— Заходите, — повел Руди рукой в сторону салона. И тогда — пурпур ослепил меня на мгновение. Она не встала, когда я вошел, — лишь подняла глаза от книги. Она сидела на диване, скрестив ноги, а тени красного торшера, склонившегося над ней императорским паланкином, плавали по ее лицу и волосам блистающими аквариумными рыбками. Все ее великолепие я впитал с первого же вороватого взгляда: гордую мраморную шею, две завесы длинных медовых волос, закрывавших щеки, узкие, загадочные глаза... Когда Руди

сказал: "Это Йонес, о котором я тебе говорил... А это Нили", — она только улыбнулась своими пухлыми губами и слегка кивнула головой. Потом, когда я уже уселся в кресло, между креслом Руди и диваном, у низкого столика, на котором стояла ваза с высокими красными гладиолусами, она спросила неспешным, глубоким голосом: "Выпьете кофе?" Но было ясно, что она и не собирается вставать с места. Когда Руди приступил к рассказу, она снова принялась читать книгу на английском (Нейвил Шот: "На берегу"), лежавшую на ее раздвинутых коленях, и, казалось, совсем не слушала. Лишь изредка она касалась своих волос, отводила их за ухо, на секунду отрывая внимательный взгляд от книги.

Мне стоит сейчас больших усилий собрать по крохам воспоминания и восстановить по ним то, что тогда рассказал Руди. Справа от меня сидела Нили, обжигавшая мне лицо, точно небольшой костер, слева сидел он, пригнувшись к столу, ковыряясь в своей трубке, набивая ее, и его голос — сухой, деревянный, усталый, монотонный — безжизненно перечислял факты: "Итак, вот что...", "Не знаю, будет ли это вам интересно..."

Я должен удалить из этого воспоминания Нили и этот красноватый чарующий туман, в котором я пребывал, чтобы увидеть там Давидова. И вот — равнина у Мертвого моря, выбеленная солнцем, с блестками воды и стеной Моавитских гор. Серые грузовики с поташем карабкаются к Иерусалиму, сквозь бледные холмы и лысые горки, сверкающие автомобили бегут в Амман. Равнина, окруженная дымящимися озерами, курящими печами, рельсами, канавками, земляные насыпи, пропитанные нефтью. Большой лагерь, огороженный колючей проволокой, закрытый, точно военная часть, сдавленный гнетом зноя и строгостью начальственных глаз. Давидов, с испачканным сажей лицом, ведет паровоз, отвозя вагоны с карналитом от испарительных бассейнов на завод. Герой труда, делающий по две смены в сутки. Абу-Хадид, отец железа, — зовут его арабы, которые преклоняются перед ним. Кочегар

приглашает его к себе домой, в Иерихо, приносит ему полные корзины гранатов. Новомайский выезжает из столицы, и всякий раз, когда он приезжает, покидает свою контору и ищет своего любимца Давидова. ("Вы знаете, как это у русских: встречаются двое, начинают говорить по-русски, и сразу пропадают между ними все преграды".) Он беседует с ним, как равный с равным, советуется с ним, сводит его с заводскими инженерами — англичанами, немцами — в конторе или на балконе кафе в Калие. Везет его с собой в машине в Амман, к Абдул-Рахман эль-Таджу, большому начальнику. У Давидова сумасшедший план — из вод Мертвого моря можно добывать золото. Совершенно бессмысленный, потому что в этой воде содержится меньше восьми сотых миллиграммов золота на тонну. Но Новомайский обожает бредовые идеи. Как-то вспыхивает забастовка из-за штрафа, наложенного на одного из рабочих после того, как была повреждена плавучая станция; Давидов едет в Иерусалим, встречается со стариком — и вопрос о штрафах улажен. Руди, приехавший тогда в страну с Первой молодежной алией, работает на понтонах и живет в одной комнате с Давидовым. У Руди — книги по биологии, физике, химии — на немецком и английском; Давидов глотает их! по ночам, а сам читает Руди лекции по евгенике. Он обладает необычайной восприимчивостью. Домой ездит лишь раз в месяц, а по субботам тащит Руди на прогулки — в Рас-Фашху, в Карантал, в Эйн-Дох, в Вади-Кельт. У него — слабость к монастырям; как-то они забираются в православный русский монастырь, к северу от устья Иордана, и Давидов долго беседует с отцом-настоятелем, а по дороге домой доказывает Руди, что Бог есть — доказывает с помощью логики и математики, пользуясь идеями некоего Джона Скотуса... ("Он, вообще-то, был довольно странный человек, вы не знали? Иногда казалось, что он относится с презрением ко всему, чем занимается, а влечет его нечто совершенно иное...") Да, по вечерам, в удушающем неподвижном воздухе, он читает... По субботним вечерам на террасе

в Калие играет оркестр, и члены высшего общества с обоих берегов Иордана — англичане, евреи, арабы — скользят там в танце при свете луны или красных фонариков...

Я записывал его рассказ, а щеки мои горели. Шея ныла от чрезмерного усилия, удерживавшего ее от того, чтобы повернуться вправо, к той, чьи чары проникали сквозь кожу, к той, что сидела прямо, сложив по-турецки ноги, окутанная тайной торшера, и зачаровывала меня. Я задавался вопросом: что она нашла в нем, в этом Руди, который старше ее по крайней мере на десять лет, у которого плешь тянется до самого темени, у которого руки волосаты, как у обезьяны, речь которого столь сера. Что она нашла в нем и что означает эта гордая осанка — отгородилась, демонстрирует равнодушие (ко мне? к нему? к теме, которую мы обсуждаем?). На столе лежала английская книга — "Механизм и физиология становления пола", автор Р.Гольдшмидт — и всякий раз, когда Руди прерывал свой рассказ, я впивался глазами в эту книгу, чтобы мой взгляд не увело к Нили. Руди говорил угрюмо, все время возился со своей трубкой, зажигал ее и, не сумев раскурить, снова чистил и разжигал... И опять загорался сверкающий берег Мертвого моря, на чью опаленную землю и жирную гладь воды наваливались горы зноя. Как-то жарким майским днем рабочие собираются на пристани возле баржи "Калирохи", груженной тачками и станками, стройматериалами для возведения лагеря в Сдоме. Резвеваются флаги. Речи, гимны... Давидов тоже хочет ехать в Сдом, но Новомайский задерживает его, и он продолжает водить паровоз. Как-то Давидов входит в монастырь на горе Нево. Давидов ищет следы ессеев.. А что еще? Что еще? — снова мелькает перед моими глазами заголовок: "Мекенизм энд физиолоджи оф секс детерминэйшн"...

Потом я почувствовал, как вдруг Нили напрягает слух. Как прекращает листать страницы "На берегу" и изредка бросает осторожный взгляд на мужа. Это произошло тогда, когда он начал рассказывать о "кризи-

се” в судьбе Давидова.

— Это был очень трудный период для Давидова, — придавил он большим пальцем табак в трубке, не поднимая головы. — Запутался. Не очень-то по собственной вине. Он был красивым мужчиной, вы ведь знаете. Когда находишься далеко от дома... Я вам уже рассказывал, что он заходил иногда в кафе в Калие...

Да, на заводе работал английский инженер, которого звали Хенри Вуд, а прозывали полковником. Он был геологом высокой квалификации, работал прежде в Индии и на Малайских островах. Человек был сухой, пил много, говорил мало. У него была жена-блондинка — живая, темпераментная, моложе его на двадцать лет, — которая много времени проводила в гостинице в Калие, леча ревматизм. Полковник часто ездил за границу. Кэтрин влюбилась в Давидова — до потери сознания. Несмотря на запрет, входила на территорию завода, чтобы видеть его, послать улыбку в сторону кабины паровоза. Все видели, что с ней происходит. Рабочие смеялись над ней, поддевали Давидова, служащие скромно улыбались, поджидая, чем же все это кончится. Давидов был смущен, точно невинный мальчик. Уклонялся, прятался. Но все-таки попался.

— Он не был легкомысленным, как вы знаете. Я думаю, что он в самом деле влюбился в нее на некоторое время. Но это угнетало его. Он сделался молчаливым, упал духом. Возвращался к себе в комнату в третьем, четвертом часу ночи, а днем стыдился встретиться со мной взглядом. Он был отчасти ребенком в этом вопросе. Старался нигде не показываться вместе с ней, а когда полковник появлялся на заводе, он делал все, чтобы с ним сдружиться. Разговаривал с ним с какой-то покорностью, так что трудно было поверить, что это — он. Говаривали, что он выглядит таким несчастным, точно полковник наставил ему рога, а не наоборот. Он и в самом деле выглядел несчастным. Он был человеком с чистой совестью, вы понимаете. А эта женщина... Очень сомнительная особа. Что его в конце концов спасло — так это трагические события...

— События? — влетел звон колокольчика в комнатную тишину всплеском камня, брошенного в воду. Нили произнесла это так, точно он сморозил какую-то глупость. Теперь — на мгновение — я снова мог взглянуть на нее. Занавеси волос слегка раздвинулись, обнажив гладкие щеки, мастерски сработанные, суженные к бутону подбородка; и губы, которые остались открытыми, оказались спелыми, точно клубника. Блестящими глазами она вглядывалась в Руди, дожидаясь ответа.

Но Руди занимался своей трубкой и не посмотрел на нее.

— В тридцать шестом году, когда разразились яффские события, — продолжил он, когда разбежались круги брошенного звука, — он снова стал тем, чем был. Не находил себе покоя. Начал поговаривать о возвращении домой. Казалось, что он чувствует себя, точно в ловушке. Не знаю, были ли вы с ним знакомы. У него были тогда необщепринятые взгляды на многое...

Давидов был против политики "равновесия", за нападение на базы погромщиков, — это я знал. Еще в тридцать втором, когда в Изрезльской долине хозяйничала банда "Черная рука" шейха Азиз эль-Касма, совершая убийства на дороге в Ягур, в Бальфурие, в Нахалале, — он явился в штаб Хаганы с планом уничтожения банды нападением на ее базу в Циппори. И теперь, на Мертвом море, он выдвигал подобные идеи. Когда появились сообщения о нападении на Рамат ха-Ковеш, Кальманию, Мешек ха-Осар, — закончил Руди свой рассказ, — он уложил вещи и вернулся домой, в Кфар Сабу.

Руди потянулся, сложив руки за голову, и выпустил облачко дыма из трубки. Он уставился куда-то прямо перед собой, чуть выше головы Нили. Ее глаза были обращены к раскрытой книге, которую она уже не читала. Я сложил свои листочки и очень медленно всунул в маленький кожаный портфель. Напряженная тишина, сдержанная нетерпеливость Нили побуждали меня встать и уйти. Но я продолжал сидеть на своем месте.

И чем дольше продолжал я сидеть, тем труднее было мне подняться. И чего это я сижу, ведь я выставляю себя круглым дураком, я вижу, что меня просят встать и удалиться, я вызываю их раздражение... Но, мучая и их, и себя, я не вставал.

— Интимные подробности... Они тоже войдут в книгу? — прозвенел в тишине голос Нили.

Наши взгляды на секунду скрестились, точно шпаги. Ее шпага была острой и разящей.

— Я еще не знаю... Может быть...

— Его жена еще жива, верно?

— Да... Наверно, некоторые подробности придется опустить...

Теперь я встал. Вместе со мной встал и Руди. "Вы возвращаетесь в город?" — спросил он. "Конечно", — ответил я. "Я подвезу вас... В такое время от нас не так уж просто добраться, — и, заталкивая кисет в карман пиджака, — поедешь с нами, Нили?" Нили отложила книгу и неспешно встала. Мы вышли. Запирая двери, Руди сказал: "Я надеюсь, что малыш не проснется". — "Нет, Руди, он никогда не просыпается", — ответила Нили с оттенком нетерпения. Что там у них? — подивился я.

Всю дорогу у меня перед глазами метались волосы Нили. В тяжелой тишине мелькали тени, летящие назад. Когда мы въехали в город, я попросил Руди, чтобы он отвез меня в "Подвальчик". Доехав, я вышел из машины и поблагодарил его. "Может быть, зайдете выпить кофе..." — спросил я из вежливости. "Поздно, — ответил он. — Мы оставили ребенка без присмотра". — "Зайдем на секундочку, Руди..." — попросила Нили, распахнув дверь машины и спустив ногу на тротуар.

Из "Подвальчика" доносился голос Оснат, кричавшей что-то, а может, декламировавшей. Нили вошла первой, и при ее появлении раздался восторженный свист, с трудом сдержанный. У нее была гордая, прямая походка женщины, знающей о красоте своего скульптурного лица, своих блестящих волос, спадающих на плечи. Мы уселись за стол, чуть в стороне от

братии, Руди справа от Нили, а я слева. Оснат оглядела братию, словно выясняя, можно ли продолжать, — и стала читать с того места, на котором ее прервали:

Здравши ноги вверх, как девка-потаскуха,
Вспотев от похоти, она
Зловонно-гнойное выпячивала брюхо
До наглости оголена.

— "Пададь" Бодлера, разумеется, — сказал Гумпель. — Слишком просто. Спроси что-нибудь другое.

Оснат на секунду сомкнула ресницы. Вспомнила, стала читать:

Жена моя на дне рубинового тигля,
В глубинах розового спектра — под росой;
Моя жена в раскрытом веере дней,
В когтях гиганта.

— Андре Бретон, — провозгласил Гумпель. — Дальше. Что-нибудь посложнее.

Нили слушала, пригнувшись, подперев голову ладонью. Она была очарована. Когда Оснат прочла еще несколько четверостиший, Нили легко коснулась моей руки и шепотом спросила, как зовут ту, что читает. Я наклонился к ней, меня обдало теплой волной, когда я щекой ощутил ее волосы. Потом она стала спрашивать о каждом из присутствующих. Ей были знакомы почти все их имена, она помнила, какие книги они писали. Когда я шепнул ей имя Эвьятара, она задержала на нем взгляд и заметила, что ей понравился его последний сборник. "Чудная книга, не правда ли?" — склонилась она ко мне. "Правда, — шепнул я. — Разве что слишком буквальная". Оснат продолжала цитировать французских поэтов, а Гумпель ни разу не ошибся, угадывая их авторов. Снова коснулась Нили моей руки. "Что значит — слишком буквальная?" — шепнула она. "Символика, — ответил я. — Как правило, он пишет очень туманно, скрытно, а тут..." Она замолчала, размышляя над тем, что я сказал. "И все-таки, — шепнула она минуту спустя, — есть какая-то теплота... Глу-

бокая, затемненная..." У меня сжалось сердце.

Гумпель выдержал экзамен, и дуэт рассыпался на мелкие разговорчики. "Пойдем?" — обратился Руди к Нили. Накдимон кликнул официанта принести бутылку, хлопнул ладонью по столу и начал петь. Сразу же все подхватили, и хор — очень чистый, очень ладный — заполнил пространство "Подвальчика". Нили подняла голову, и ее горящее лицо впитывало песню, точно на нее снизошло сияние небес. Я чувствовал, как из-под ресниц она изредка бросает любопытный вороватый взгляд на Эвьятара, который сидел съежившись и молчал, поглаживая бороду. Руди коснулся ее плеча и сказал: "Пойдем, а? Уже час ночи". — "Да, пойдем", — решила она, очнувшись. Встала, точно отрываясь от чар, пока они целиком не завладели ею. На улице, возле машины, она пожала мне руку, и благодарная улыбка пробежала по ее лицу. Я стоял на краю тротуара и с болью в сердце провожал машину, летящую прочь.

16

Почетный секретарь Союза писателей, который оправился после болезни, был привезен в такси на заседание суда, которое происходило сегодня утром. Служитель провел его к кафедре, придерживая за руку и едва поспевая за его резвым шагом. Лицо пожилого, низкорослого писателя было бледным и сердитым, сразу было видно, что возмущало его беспокойство, причиненное вызовом в суд. Судья позволил ему давать показания сидя, и он уселся, нервно постукивая сухой ладоншкой по кафедре, а его острая бородка слегка тряслась. Его ответы были очень странными. Сперва казалось, что он не понимает, зачем его сюда пригласили и чего от него хотят, потом он стал отвечать невпопад. Это было тем более странно, так как мой защитник, господин Шило, беседовал с ним об этом деле с месяц тому назад. Видимо, он совсем забыл о том

разговоре. Когда судья Бенвеништи спросил его, знаком ли ему обвиняемый, господин Йонес, он ответил: "Йонес? Кто это?... Нет, не знаком... Это его фамилия? Псевдоним?" А потом, когда судья спросил его, читал ли он что-нибудь из того, что я написал, он как-то сердито забормотал: "Нет, ничего не читал. Не знаю. Я в последние годы ничего не читаю, кроме того, что мне надо прочесть по ходу работы". Когда его спросили, являюсь ли я членом Союза писателей, он ответил: "Не слыхал... Не видал его ни на одном из наших заседаний, ни на одном съезде... Не знаю. Может, он из молодых?" А когда ему сказали, что я и впрямь из "молодых", заметил: "Молодые к нам не приходят. У них есть кафе. Я не читаю того, что они пишут. У них ничего нельзя понять. Какая-то путаница, бессмыслица. Им сначала следовало бы выучить иврит". Голос у него иногда был хриплым, иногда свистящим, и было видно, что судья не очень-то слышит его, потому что иногда склонялся к нему, подперев ухо рукой.

Мой защитник зачитал свои вопросы не спеша, со священным трепетом. "Я понимаю, что ваша литературная работа протекала в течение... сорокапятилетнего периода. Не будете ли вы так любезны сказать нам, сколько книг вы написали за это время?"

— Не знаю, — нетерпеливо ответил писатель. — Пятнадцать, двадцать. Не считал. Это совершенно неважно.

— Кроме прочего, вы написали биографический роман о... — господин Шило глянул в свои записи, но не сумел разобрать собственные каракули, — о рабби Хасдае...

— Ибн-Шапруте, Ибн-Шапруте, — проворчал писатель, возмущаясь невежеством, окружающим его со всех сторон, сейчас и всегда.

— Я полагаю, что вам пришлось собрать большое количество материала о... о герое этой книги.

— Да, большое количество, — пренебрежительно ответил он. — Невозможно написать биографический роман, не собрав большого количества материала.

— Сколько времени вы работали над этой книгой?

— Не помню. Года три—четыре, — ответил он с нетерпением. Но поскольку господин Шило не торопился со следующим вопросом, он добавил от себя, хотя и на сей раз тоже словно сердясь на кого-то: — Надо было вести раскопки. Археологические раскопки. Собирать черепки. Склеивать их. Сведений об Ибн-Шапруте немного. Некоторые из них недостоверны. До сих пор неизвестно, он ли писал послание хазарам или один из его современников-поэтов. Менахем ибн-Сарук. Дунаш бен-Лабрат. Есть предположение, что это послание было написано совсем в другое время. Все это нужно было выяснить. Есть документы, написанные на арабском. На испанском. На французском. Мне пришлось запрашивать копии документов из библиотеки Ариаса Монтане, из Мадрида. Прошло полгода, пока я их получил. Невозможно было писать главу о поездке Ибн-Шапрута к Санчо, королю Леона и Наварры, не проглядев сначала личной переписки халифа Абдул-Рахмана Третьего. На это ушло много труда. Все, что приводится по этому вопросу в "Тарбице" и "Ционе", ничего не стоит. Болтовня ученых, которые не знают, о чем говорят.

В этом месте судья Бенвеништи проявил личный интерес и спросил, не бывал ли писатель в Кордове, где находится множество документов времен Абдул-Рахмана Третьего.

— Нет, не бывал. Нет у меня на это денег, — ответил писатель.

— Когда вышла эта книга? — поинтересовался судья.

— Лет шесть тому назад. Семь.

— Она есть еще в книжных магазинах?

— Не знаю. Не интересовался.

Мой адвокат снова принялся задавать вопросы.

— Не будете ли вы любезны сказать нам, исходя из собственного опыта, написав несколько биографических романов: не случилось ли так, что наступал некоторый перерыв в вашей творческой работе... в работе над подобным романом?

— Перерыв?... Не понимаю... Какой перерыв? — хлопал писатель глазами.

— Я хотел спросить — не случается ли, что писатель сталкивается... с определенными трудностями в процессе работы и в силу этого вынужден прекратить работу на некоторое время, пока он не справится с ними?

— У меня не бывает никаких перерывов. Нет у меня для этого времени. Я работаю по шесть часов ежедневно. Времени осталось немного, я хочу успеть.

— Я имел в виду — предположим. Возможен ли такой перерыв в...

— Возможен, возможен, а что же тут такого? — сердито перебил его писатель.

— В силу каких причин, позвольте вас...

— В силу каких причин? — Болезни, мигрени. Съезды, заседания. Или когда писателя вызывают в суд. Неизвестно зачем.

— Я очень сожалею, что пришлось побеспокоить вас, отрывать от дела, — смиренно пролепетал мой адвокат. — Но ваш опыт может разъяснить нам некоторые детали в одном вопросе, по которому наши мнения расходятся. Когда я спрашивал о причинах, я подразумевал причины *внутренние*...

— Не знаю, может быть, — недоуменно пролепетал он. Но тут же сердито загремел: — Литература — это не ремесло. Если у писателя есть вдохновение — он пишет. Если оно ушло — лучше б ему не писать. Невозможно заставить его насильно. Приковать к письменному столу. Слишком много литературных подрядчиков развелось у нас в последнее время.

— Этот уход вдохновения, как метко вы его определили, — оживился мой адвокат, — не зависит от воли писателя, а... Можно сказать, что это управляется вмешательством высшей силы...

— Я не занимался этим. Не думаю, что судебный зал — это место, подходящее для решения древнего философского вопроса, дана ли человеку свободная воля или же его желания устанавливаются предопределением свыше. Люди поумнее нас не решили этой проблемы.

— Вы совершенно правы, — вмешался в дознание

судья Бенвеништи. — И все-таки мы бы попросили вас высказать ваше мнение по этому вопросу.

— Я не философ. Я писатель, — коротко ответил он. А секунду спустя добавил: — Мое мнение? Я придерживаюсь мнения рабби Акивы — все предвидено, а свобода дана.

— Иными словами, все-таки свобода дана, — улыбнулся судья.

— Да. Но все предвидено, — вставил писатель, нахмутив брови.

— Из сказанного вами, — заговорил адвокат Шило, — я вывожу, что вполне *возможно*, что писатель, приступивший к какой-нибудь литературной работе, будет вынужден прервать ее посередине в силу независящих от него причин.

— Я сказал уже — это возможно. Мне приходилось слышать о писателях, которые начали писать роман — биографический или не биографический, — бросили, и закончили его через десять лет. Или вообще не закончили. Я не сообщаю тут ничего нового. Это можно прочесть в любой книжке по истории литературы.

— То есть, в этом нет ничего необыкновенного. Это происходит в силу природы литературной работы.

— Да, в силу природы, в силу природы, — поежился писатель на стуле.

Шило скромно поблагодарил его: — На данном этапе — это все, господин судья, — сказал он, собирая свои листки. Потом он развалился на стуле, и на его очках заблестело выражение удовлетворенности. Он достал из кармана платок, отер пот со лба и бросил усталый, но торжествующий взгляд на кафедру обвинителя. Подошел слуга и поставил перед почетным секретарем стакан воды, но тот отстранил его. Адвокат Эврат, чье смелое лицо ничуть не поблекло под взглядом моего защитника, поднялся с места и упер руку в бок, готовя собственные вопросы. Сначала он поинтересовался, какие достоинства требуются от писателя для работы над биографиями определенных личностей. На это писатель ответил кратко и энергично: "Любовь.

Вот и все. Невозможно писать без любви”. — ”Любовь к личности, являющейся темой книги?” — спросил Эврат. — ”Да, любовь к личности, являющейся темой книги”, — недовольно подтвердил пожилой писатель. Когда его попросили назвать еще несколько качеств, поскольку, как утверждал Эврат, одной любви недостаточно, чтобы писать биографический роман, он перечислил: прилежание, постоянство, аналитические способности, умение излагать свои мысли точным и ясным языком. Когда Эврат спросил его, как выбирает писатель тему для биографического романа, он ответил: ”Только в силу симпатий, только в силу симпатий”. Потом добавил: ” Предложили мне как-то написать биографию Усышкина. Отказался. Терпеть его не могу”.

— Не случилось ли, что вы связывали себя с издательством договором на написание книги в течение какого-то определенного срока, получив...

— Никаких обязательств. Никаких сроков. Я никогда не брал обязательств. И не возьму никогда, — затряс он бородкой.

— Вы не связаны с каким-нибудь определенным издателем?

— Связан, ну и что? Я пишу, а он издает. Я работаю, а он ест. Моя книга о письмах Рамхала вышла уже в трех изданиях, а мне об этом даже не сообщили. Не дают никаких отчетов. Дерут с писателей шкуру и отправляют их заживо в преисподнюю.

(Широкая улыбка засияла на круглом лице моего защитника, когда прозвучали эти слова.)

— Не получаете ли вы авансов от издательства, с которым вы поддерживаете связь?

— Получаю.

— Не влекут ли за собой эти авансы некоторые обязательства...

— Какие обязательства? Продан я им? В рабство? Никакой уважающий себя писатель не стал бы брать на себя никаких обязательств.

Тут адвокат Эврат повысил голос и сказал:

— Господин почетный секретарь Союза писателей! Обвиняемый, сидящий перед вами господин Йонес, договорился с издательством, которое я представляю на этом суде, написать биографию покойного Давидова в течение полутора лет и по этому договору получил девять тысяч лир чистой монетой, по пятьсот лир в месяц. Он не написал *ни одной страницы* этой книги! Что вы думаете об этом как писатель, как секретарь, как человек, за которым...

Мой защитник вскочил с места и, краснея, завопил: — Это демагогия! Мой ученый коллега подменяет факты своими домыслами, не располагает никакими доказательствами того, что мой подзащитный... — но судья успокоил его, звякнув молоточком, и велел ему замолчать.

— Господин Йонес никогда не обязывался показывать вам незавершенный труд! — успел крикнуть Шило в сторону обвинения, прежде чем уселся.

— Я еще докажу, что никакого "незавершенного труда" не существует и никогда не существовало, — сдержанно бросил Эврат моему адвокату. И, снова повернувшись к свидетелю, спросил: — Что вы думаете о таком нарушении обязательства?

— Что я думаю? Я думаю: что посеешь, то пожнешь. Не надо было связывать себя. Связал — возмести ущерб.

— Большое спасибо, — собрал Эврат трофеи. — Я повторю, чтобы уточнить: Вы считаете, что даже если произошла какая-то задержка в работе в силу "отсутствия вдохновения", как утверждает мой коллега, защищающий обвиняемого, это не освобождает его от выполнения обязательств в том виде, в каком они упомянуты в договоре, и с него следует взыскать причиненный ущерб.

— Конечно! Конечно! Здравый смысл обязывает! Честный... — но секунду спустя проснулось милосердие почетного секретаря к подмастерью его же цеха, попавшему в беду, и он добавил, слегка смягчив голос: — Разве что, если издательство само откажется.

Более того. Дайте ему отсрочку. Еще полгода. Год. Может, справится...

— Большое вам спасибо, — улыбнулся адвокат Эврат, внезапно повернулся ко мне и высоким тенором, направив на меня карандаш, крикнул: "Господин Йонес! Издательство готово дать вам целый год отсрочки, чтобы завершить работу, которую вы обязались выполнить, — согласитесь вы на это или нет?"

Но пока я бледнел от удивления, мой защитник вскочил с места, точно удерживая меня, чтобы я не ступил на мину, и крикнул: "Обвиняемый не обязан отвечать на это! Я прошу вас, господин судья, осудить форму этих внезапных вопросов, единственная цель которых сбить моего подзащитного с толку и запугать его!"

Судья постучал молоточком и, разъяснив несколько процедурных деталей, разрешил задать этот вопрос, оставив за мной право отвечать или не отвечать.

— Согласитесь вы на это, господин Йонес, или нет? — повторил Эврат свой вопрос, подняв голову.

— Нет, — ответил я.

— Два года, господин Йонес! — провозгласил он, точно на аукционе. — Согласитесь?

— Нет.

— Я ждал такого ответа. Спасибо. Это все, господин судья, — уселся Эврат, бледный от волнения.

Судья поблагодарил писателя, попросил извинения за то, что оторвал его от работы, объявил заседание закрытым. Служитель отвел к выходу почетного секретаря, который торопливо семеня, не поворачивая головы ни вправо, ни влево. Мой защитник поглядел на меня со своего места, как на человека безнадёжного. Следующее заседание состоится через три недели.

В тот день, когда Давидов вернулся с Мертвого моря, был убит Глотман на дороге из Туль-Карма в Кфар

Сабу. На следующий день — выкорчевали две тысячи саженцев на границе калькилийских полей. Арабские рабочие перестали приходить в поселковые сады, вместо них были присланы рабочие-евреи в сопровождении вооруженных охранников. Неделью спустя подожгли садовый склад на краю рощицы, в которой находился барак Давидова. Грузовичок, выехавший туда вечером, чтобы отвезти рабочих по домам, подорвался на mine, проезжая по грунтовой дороге. По ночам раздавался свист пуль со стороны Миски, Тиры, с востока. Подразделения английской армии расположились в поселке, сопровождали колонны, ездившие в северную часть страны через Туль-Карм и Дженин по тому самому шоссе, на котором хозяйничали громилы и которое было усеяно минами, гвоздями, бутылочными осколками; всякий, кто проезжал по этому шоссе, был прекрасной мишенью для камней и винтовочных пуль. Как-то утром, когда Давидов отправился рыть окопы в окрестностях кибуца Хамефаллес, к бараку подъехал взвод солдат, чтобы произвести обыск. Его восьмилетний сын стоял на улице, возле матери, державшей на руках маленькую дочку, и глядел, закипая от слез, на то, как опрокидывают кровати, вытаскивают разные вещи, расковыривают пол — плитку за плиткой. Когда солдаты вернулись к машине и поехали прочь, он бежал за ними, швыряя камни, до самого шоссе. Вечером, когда Давидов вернулся домой и увидел, что учинили в его доме, Нимрод успокаивал его, заявив, что, если бы у него был пистолет, он забрался бы на самый высокий эвкалипт и уничтожил бы их всех до единого.

В смятении, удрученный и подавленный, ехал я поздним утром в Кфар-Сабу, чтобы встретиться со Шмуэлем Харари. Я сидел в автобусе с распухшей головой и шептал: к черту Давидова, к черту эту книгу, которая мне жизнь укорачивает. Я придумывал различные способы отомстить Эвьятару, Нили, всему свету. Предыдущей ночью, незадолго до полночи, вошли в "Подвальчик" — ни с того ни с сего, плетью яркого

света по глазам — Нили и Руди. Я был настолько потрясен, что вел себя по-дурачки. Я вскочил, пожал им обоим руки, двигал стулья туда-сюда, молотил какую-то чепуху. Ну и быстро же я протрезвел от своего счастья. Нили, только-только поздоровавшись со мной, уже перенесла свой взгляд через мое плечо, ища кого-то, а когда мы подошли к столу, то она устроила все так, чтобы сесть возле Эвьятара. Руди сел слева от нее, отгородив ее от меня. Так она пропала для меня в ту же минуту, что нашлась. Я вынужден был кивать головой, изображая беседу с ее мужем-биологом. Они только что вернулись из театра, и спектакль им не понравился. Пьеса как раз была интересной, но игра... Я не расслышал почти ни слова из того, что он говорил. Я старался вслушаться в беседу, происходившую на противоположном конце стола (и сразу же с такой сердечностью! И сразу же на языке, понятном обоим!). Да, Нили говорила очень толково: постановка была такой упрощенной. И почему это актеры должны все время обращаться к публике? А актриса, игравшая... Ни приятности, ни грации, ни аристократизма. А этот пафос! Декорации противоречили духу пьесы: слишком барочные, слишком орнаментальные, в то время как здесь как раз требовались прямые, лаконичные черты, только фон и рамки... Эвьятар во всем соглашался с ней. Покачивал головой, вставляя иногда тихое замечание (остроумное, по всей видимости), сопровождавшееся ее смехом (отравлявшим мне существование). Только Лвия, сидевшая слева от Эвьятара, нарушала гармонию. Иногда она врывалась и громким, уверенным тоном перебивала Нили: "Да что ты! Я очень извиняюсь, но именно это делает пьесу превосходной! Именно эта орнаментальность, о которой ты говоришь, она-то в духе эпохи, потому что это все-таки современная пьеса!"... Куда тебе, рабыня, базарная баба, против процессы благородных кровей! Нили даже не отвечала ей. Продолжала разговаривать с Эвьятаром — сдержанно, понизив голос, взвешивая каждое слово. Руди тем временем заливал мне в уши свои пасмурные речи, не

выпуская трубки изо рта, а я кивал головой, стараясь не упустить ни одного слова из того, что говорится там, и кровь моя кипела. В какую-то минуту, когда Эвятар шепнул что-то Нили, и оба так дружно рассмеялись, точно были давними приятелями, — мне захотелось крикнуть Руди: Эй, человеке, вытащи трубку изо рта, неужели ты не видишь, что там творится? Не чувствуешь, что у тебя изо лба вылезает рог? И только когда они собрались уходить, Нили снова улыбнулась мне и, пожимая руку, сказала: "Это очень приятное место. Наверняка увидимся еще". Она ушла, а я остался со своей мучительной тоской. Я уселся, налил себе. "Ужасно высокомерная особа, а?" — обратилась ко мне Лвия минуту спустя. Но я уже был погружен в стакан горькой, в горькую механхолию, и пил до тех пор, пока "Подвальчик" не закрылся.

Удрученный и подавленный, проклиная тот вечер, когда я привел Нили в "Подвальчик", и тот день, когда взялся писать книгу о Давидове, ехал я в Кфар-Сабу. Сошел на главной улице и стал искать транспортную контору Харари. ("Мулька Харари, в прошлом водитель в "Объединенном Шароне", один из деятелей Хаганы. Работал с Д. в 36—38" — значилось в моем списке.) Два шумных грузовика стояли на площадке перед конторой и кто-то кричал, размахивая руками: "Да ну езжай, езжай уже и не забудь привезти запчасти от Гликмана!" — и грузовик тронулся с места. Харари был человеком очень толстым, с огромной головой, в замасленной шляпе, сдвинутой на потный лоб. "Заходи", — сказал он и повел меня в свою контору — узкую комнату, в которой, кроме стола, двух расшатанных стульев и огромного календаря с голой Бриджит Бардо на стене, обитали шины, запчасти и коробки самых различных размеров. "Садись, — сказал он. — Прости, что я принимаю тебя в такое время, но..." Позвонил телефон, Харари надвинул шляпу на лоб и пустился высекать голосом искры ("Нет у меня! Не сегодня! Додж уже выехал! Не о чем говорить! Пришли рассыльного! Да!"), а швырнув трубку на место, успоко-

ился и сосредоточился на мне. "Что тебе рассказывали о Давидове? — спросил он. — Что он был безответственным человеком? — Напиши, что это брехня. Что он был человеком с причудами? — Напиши, что брехня! Авантюрист? — Брехня! Пиши, не стесняйся! Напиши, что это Харари сказал! Пиши: Абраша Давидов был героем! От моего имени! Я был с ним в Кальмании, в Рамат ха-Ковеше, в Мешек ха-Оцар, в Ган-Хаим, — в пекле, ночь за ночью! Страна не знает — что за человек был Давидов..." Потом успокоился и смягчил голос: "С Ципорой ты уже говорил?" А немного подумав, посоветовал: "Нет, оставь ее. Не стоит. Ничего у тебя из этого не выйдет".

Частенько открывалась дверь, что-то спрашивали, что-то забирали, суетились; частенько Харари выскакивал на улицу, кричал, давал шоферам указания и возвращался.

В тот день, когда Давидов вернулся с Мертвого моря, был убит Глотман на дороге из Туль-Карма в Кфар-Сабу. По ночам на водонапорных башнях устанавливали прожекторы, и снопы света описывали большие круги по окрестностям, срезая тьму над вершинами тополей, над садовой листвой, высвечивая наготу холмов с притаившимися врагами. Связисты пронизывали темноту точками и тире, передавая короткие фразы предупреждения, успокоения, поддержки — из Кальмании в Рамат ха-Ковеш, из Рамат ха-Ковеша в Эвен-Иехуда, из Эвен-Иехуда в Натанию... В начале августа Давидову была поручена оборона участка между городом и Рамат ха-Ковешем, и он расположил свой штаб в Кальмании, в самой гуще садов. По ночам он выходил проверять посты вблизи арабских деревень, днями объезжал караулы охранников, сопровождавших рабочих. Заходил домой на час—два, повидаться с женой и детьми. Вместе с Харари, вооруженные револьверами и гранатами Мильс, они проверяли грунтовые дороги и глубокий песок между садами, прежде чем там пройдут машины, везущие рабочих. Как-то они наткнулись на каменную баррикаду, заметили трех арабов, прячу-

щихся за деревьями. Те открыли огонь, Харари ранило в плечо. Давидов бросил в них гранату и преследовал до выхода из сада. Арабы вышли на открытую дорогу, ведущую к Миски, а он спрятался за кактусовой изгородью и стал дожидаться их. Когда они проходили мимо него, он бросил в них вторую гранату. Успел даже увидеть одного из них, разорванного, извивавшегося в песке и крови. Потом вернулся к Харари, положил его на плечи и нес до самой Кальмании. Спас его от смерти.

— Страна не знает — что за человек был Давидов! Необыкновенный человек! Тебе, небось, рассказывали, что он был типчик с причудами, а? Может быть. Но в минуту опасности он в точности знал, что нужно делать! Необыкновенный человек! Еще до ФОШа¹, до Пальмаха — он выводил людей за пределы нашей территории, атаковать громил. До Какуна добирался! Знаешь ли ты, что это были за дни? Послушай, что он мне как-то сказал: в физике, мол, есть закон насчет того, что всякое тело может находиться в данное мгновение только в одном месте. У нас — каждый человек должен находиться сразу в *нескольких* местах! Почему? — Потому что мы строим страну *вопреки* законам физики. А он так и делал! Собственной персоной! Был и здесь, и там! Находился в Кальмании и в то же время в садах Рейскина, Ароновича, в Ган ха-Шароне и еще в десяти местах! И вместе с тем был человеком мягким, — смягчил Харари голос. — Как он относился к своим подчиненным! Ко всем, кто с ним работал! С какой преданностью! Послушай, что я тебе расскажу: как-то пришла Ципора в штаб, в Кальманию, пришла и говорит, что девочка лежит с высокой температурой, и он обязан быть дома. Что, ты думаешь, он сделал? Взял машину, съездил домой, а вечером — представь себе, что за человек! — вернулся вместе с Нимродом и

¹ФОШ (ивр.; аббрев. от Плугот садэ) — полевые отряды еврейской самообороны.

больной девочкой, уложил ее в одной из комнат и велел санитарке за ней присматривать. Три дня и три ночи были дети вместе с нами, в здании штаба, и в перерывах между выездами он занимался ими! Кто-нибудь обязательно скажет тебе, что семья для него ничего не значила. Да, можно было так подумать, потому что у него на дворе дети всегда ходили босыми, грязными, как у цыган, и черт его знает, когда и что они ели! Ципора занимается хозяйством, а папы никогда нету дома! Но послушай, что я тебе скажу: он был отличным отцом и прекрасным мужем! Да, и прекрасным мужем, не верь тому, кто будет рассказывать тебе что-нибудь другое. Какое сердце! Послушай, у нас здесь случилось большое несчастье с машиной, возившей рабочих в Мешек ха-Оцар и в город. Выехала в два тридцать из фермы, а через триста метров наткнулась на заграждение. Ее обстреляли из садов Хаджа Абдалы, а у людей не было оружия. Только у водителя, Белкинда, но его ранило с самого начала. Двое побежали звать на помощь, и пока прибыли войска, четверых уже убили. Ты должен был бы видеть этого человека после такого несчастья! Он ходил, как помешанный! Я виноват! — говорил он мне. — Почему я не послал проверить дорогу, прежде чем они выехали! — словно можно было каждый час проверять. Ужасные были похороны! Весь городок плакал. Его там не видели. Заперся дома и ни с кем не разговаривал. Такое у него было сердце...

В конце того года, когда волнения улеглись, Давидов решил купить участок целинной земли в тридцать дунамов — на деньги, скопленные у Мертвого моря, — и выращивать горошек. Участок купил и даже засеял, но когда пришло время собирать урожай — его призвали в ФОШ. Отправился на месяц на курсы, а когда вернулся, нес патрульную службу вдоль "восточной линии", от Таибе до Мигдаль-Цедек. Отряд наводил страх на деревни, и во время одной из ночных вылазок взорвал "мадафу"¹ Миски вместе с громилами, собиравши-

¹ Мадафа (араб.) — комната для приема гостей.

мися там в это время.

— Есть у тебя немного времени? — спросил Харари, запирая контору на обеденный перерыв. — Съездим в Кальманию, а оттуда сможешь увидеть весь этот фронт. Чтобы писать о Давидове, надо *видеть*, только слышать — недостаточно...

Когда мы ехали на грузовичке к северу, Харари иногда останавливался и показывал мне грунтовые дороги между садами, где закладывали мины и возводили заграждения. Мы въехали в четырехугольный двор фермы Кальмании и забрались на водонапорную башню, стоящую посередине. Оттуда виднелась Калькилия, развалины арабской Кфар-Сабы, отроги скалистых холмов, которые атаковал ФОШ, туманную, точно мираж, Таибе на горизонте, темные кучки садов, аллеи акаций, изгороди из кактусов. Очертил рукой границу, пальцем указал посты, окопы, западни — здесь, и тут, и там. "Ты спрашиваешь, где Миски? *Нет*у Миски. Стерли ее. Этот дом, который ты видишь, вот, школа, это все, что осталось от деревни убийц, черт бы их побрал. Но Тиру оставили. Не спрашивай меня — почему. Хочешь подъехать? Давно я уже там не был".

Дурным сном вспоминается мне посещение Тиры: дома из камня и глины, грязные переулки, башня мечети, пыльные площади, поросшие сорняками, дорога, пересеченная струйками мутных помоев... Шайка детей, преследовавших нас с криком: шалом, шалом; трели египетских песен, летевших из динамиков мечети; кадки с цветами у входов в мастерские; лицемерные ивритские вывески; иссохшая площадка у подножия горы, изнывающая от зноя, — все это преследовало нас мрачным летним видением, висящим между усталой землей и пустыми небесами. В этом злом молчании замышлялось недоброе. Два замурзанных малыша выскочили на узкую дорогу из переулка, и машина чуть не сбила их. Женщина завопила, а парни бросились на нас, угрожая, пока кто-то не отогнал их. На кузове повисло несколько мальчишек, один из них сорвался на землю и разревелся. Ослиная упряжка, груженная

узлами с горохом, ведомая стариком, уступила нам дорогу, почти что прижавшись к стене. Когда мы уселись на террасе кафе и Харари разговорился со знакомым арабом, я бредил, как в лихорадке. В глубине знойного пейзажа я видел Нили, Руди, Эвьятара, Давидова, раненного, истекающего кровью... "Что с тобой? — расшевелил меня Харари. — Тебе нехорошо?" Я, наверно, очень побледнел.

18

Через неделю ко мне пришло письмо от Моше Барнеа, учителя средней школы в Кфар-Сабе. Я привожу его тут слово в слово:

"Уважаемый господин Йонес!

Я узнал от г-на Шмуэля Харари, что вы трудитесь над созданием биографии любимого нами, ныне покойного, Авраама Давидова. Я очень этому обрадовался, но посетовал, что мне не довелось встретиться лично с вами. Итак, прежде всего позвольте благословить то великое дело, которое вы вершите. Я давно уже задумывался над тем, что долг нации перед ее избранником — пусть и не вождем, и не полководцем он был, а простым человеком, шедшим Божьими стезями, — увековечить книгой память того, чей образ, как огненный столб, поведет наш стан, а в особенности нашу молодежь, не знавшую Аврама. Во-вторых, я, как учитель литературы и воспитатель Нимрода, павшего жертвой на алтаре нашей независимости, хотел бы внести в это свою скромную лепту, осветив одну из сторон многогранной личности Давидова, которая, как мне кажется, укрылась от глаз других.

В течение четырех лет бытности моей воспитателем Нимрода мне довелось несколько раз встречаться с его отцом, хоть и с большими промежутками между встречами. Как вам известно, Давидов большую часть времени проводил вне дома, но и находясь дома, он был столь погружен в исполнение своих обязанностей, что

не находил времени навещать нашу школу. Но я всегда восторгался духовной связью, существовавшей между отцом и сыном; Шаул и Йонатан, возлюбленные и дорогие, не расставались при жизни, а теперь, когда оба лежат один подле другого в иерусалимских горах, я могу сказать — и в смерти неразлучны. Нимрод весьма преклонялся пред своим отцом, так что я, его учитель, мог это почувствовать, пусть даже он никогда не проносил этого вслух. А отец — отец любил сына, как самого себя. Во время наших редких встреч я всегда поражался обилию его познаний, широте кругозора и глубине понимания им педагогических проблем. Но не об этом хотел бы рассказать я здесь, а только об одной встрече, за два года до гибели Нимрода.

Нимрод не преуспевал в естественных науках, не из-за отсутствия способностей, а по лени, а может, и из-за пренебрежительного отношения к ним. Это не давало мне покоя, потому что я боялся, как бы он, не дай Бог, не провалился на выпускных экзаменах. Поскольку в те дни было неудобно (а когда, вообще-то, это было удобно?) приглашать Давидова в школу, я отправился к нему, посетив как-то вечером его барак в рошице.

Время было уже весьма позднее, мы сидели в комнате вдвоем. Давидов, как это было принято у него, встретил меня, сияя, с большим почетом. Поставил на стол бутылку водки, маслины и огурцы, собственноручно засоленные его женой, и умолял меня выпивать и закусывать. Мы беседовали с ним о том, о сем, я спрашивал, как у него дела, он отвечал. Потом он спрашивал, как дела в школе, а отвечал я... Я не стану приводить здесь подробно эту беседу, хотя всякая беседа с ним полезна в смысле общеобразовательном. Потом я высказал свои опасения за его сына, и на это он ответил следующим образом (я привожу его слова в том виде, в каком они сохранились в моей памяти) :

Я буду с вами откровенен, — так, приблизительно, сказал он, — и замечу, что отставание Нимрода по математике и физике не так уж беспокоит меня. Даже если

он провалится на экзаменах — это не будет для меня большим несчастьем. Для меня важен не аттестат, а предназначение. Цель в жизни. Кем я хотел бы видеть его? Преуспевающим дельцом? — Нет. Ученым? — Нет. Человеком общества, знатоком жизни? — Опять нет. Я хочу, чтобы он наслаждался теми возможностями развития личности, которых, в силу необходимости, был лишен я. Поглядите, — сказал он мне, — мне не было предначертано свыше стать рабочим с лопатой или охранником с ружьем. В молодости вся моя жизнь была заполнена музыкой, литературой, философией... И вот — с того дня, когда я прибыл в страну, и до сих пор — я не касался скрипки, по пальцам могу пересчитать книги, которые я прочел. Вроде бы, я свободный человек, делаю все, что хочу, никто меня ни к чему не принуждает, я не связан никакими рамками. И все-таки — я не свободен. Мои решения выносятся — как приговоры. Необходимость заставляет меня делать то, что противно моей натуре. Настоящая свобода является не осознанием необходимости, как утверждают марксисты, а чем-то более глубоким: свободой развития душевных качеств, заложенных в каждом человеке. Но я не жалею, — сказал он. Я живу в такое время, в такой стране, где люди выполняют веления необходимости не только по собственной воле, но иногда в силу душевного подъема. Это эпоха помешательства, но помешательство тут здоровое. Я отказался от некоторых своих желаний, изгнал их из своего сердца, вычеркнул. Но я хочу, чтобы Нимрод вырос *другим* человеком. Свободным в том смысле, в каком я это понимаю: я хочу, чтобы он воплотил *себя*, чтобы он всеми силами отдавался наклонностям и способностям, которыми наделила его природа. А еще я хочу, чтобы он был человеком с открытой душой, свежей головой, без предвзятых суждений, терпимым, уважающим других, но имеющим собственное мнение. Если это мое стремление воплотится, — сказал он, — я буду знать, что мои старания и самоограничения не были напрасными. Буду знать, что я готовил ему почву. Если рас-

смаатривать жизнь, как единое целое, тянущееся от поколения к поколению, так что жизнь человека не кончается с его смертью, а продолжается в его сыне: что-то вроде бессмертия души, — выйдет, что ни я, и никто другой из нашего поколения ничего не потерял. А что касается математики — такая отметка или другая, — какое это имеет значение.

Вот что сказал мне Давидов в тот вечер. Не ручаюсь за точность слов, но смысл их был таков. И мне кажется, что этого достаточно, чтобы опровергнуть мнение, принятое в среде тех, кто был с ним знаком, — что он, мол, был "бродягой", не уделявшим должного внимания предметам духовным. Давидов был большим гуманистом, человеком высокой нравственности! Обладателем благороднейших стремлений! И еще — не более и не менее, как человеком, несущим в себе глубокую боль, не поверяя ее никому!

Как тяжело мне думать, что жизнь такого умного и деятельного человека прекрасной души безвременно оборвалась, что не воплотились и его надежды — да будут озарены их светом грядущие поколения!

Бог даст, его душа возродится на страницах книги, над которой вы трудитесь; даст Бог, и эта книга восстановит имя его в правах — для нас и для идущих за нами!

Желаю вам успехов в вашем труде,
с глубоким уважением,

Моше Барнеа".

Такое вот письмо. Я помню, что это было первого числа, потому что во втором конверте, который я извлек из почтового ящика, был чек на пятьсот лир, подписанный Д.Карпиновичем.

Аз есмь муж, приведший Нили в "Подвальчик"; но не мне, не мне досталась Нили. Три жертвы упали к ее

ногам, не считая ребенка: ее супруг Руди, Лвия и я. В конце концов пал и Эвьятар. А если я перейду от таких боевых выражений к речи научно-биологической — к которой, против воли, привык мой слух, так как я вынужден был выслушивать надоедливое бормотание Руди, — мне следует заметить, что с проникновением Нили в организм нашей небольшой компании у нас началась метафаза — движение хромосом к полюсам в новом делении клетки — после того, как было нарушено существовавшее прежде энтропическое равновесие.

Я наблюдал ее со стороны. Уголками глаз — тогда, когда ее появления стали очень частыми, раз, два раза в неделю, после спектаклей, концертов. Меня же она удостаивала тенями улыбок, крохами фраз, пусть и очень нежными, очень любезными, с явной благодарностью за то, что это я привел ее в "Подвальчик" в тот первый вечер. Руди не делал ничего, чтобы отвести беду, и если бы не Лвия, караулившая собственного мужа, не давая себе отдыха, готовая царапаться, кусаться, спасать свое сокровище, — солома вспыхнула бы разом. Но как бы там ни было — в укромном местечке тлел огонек, дожидаясь удобного случая.

Трое, сказал я, пали жертвами, не считая ребенка; но и все остальные — изнывали по ней, каждый на свой лад. Элираз — фальшивя, Накдимон — с шуточкой, Авнер — враждебно затихая... Она не осчастливила ни одного из них. Да они и не претендовали на нее. Поедали глазами, не отбавляя от ее красоты ни капли. Лисята, кружащие возле виноградника.

Я наблюдал со стороны, как загораются ее глаза при виде Эвьятара, сразу от входа, как они с ним таинственно совещаются, сидя рядышком, как крепнет их тайный союз, точно по воле свыше, так что никакая сила, ничье желание не может их разлучить; я видел, как они крепятся, как закручивается в них пружина, и чем крепче стягивается, тем сильнее развернется. Я чувствовал, как они втихомолку изнывали по той желанной минуте, когда их оставят в покое, на одну только

минуту оставят их наедине, и тогда, со стоном высвобожденного напряжения, они упадут друг другу в объятия. Или — когда ее не было — вдруг заострились чувства, когда раздавался в "Подвальчике" телефонный звонок, и официант звал Эвьятара: "Эвьятар, тебя к телефону", — и он вставал из-за стола (Лвия впивалась в него глазами, в которых горели подозрения), по-кошачьи шагал к низкому столику, хватал трубку, повернувшись к нам спиной, придвигал микрофон ко рту, изливал благовония, высекал искры, гладил трубку, точно *ее шею* — о, долгие минуты краденой любви! — пока не возвращался к столу с виноватым лицом, стараясь загладить грех мягкой улыбкой, с которой еще не были смыты следы наслаждения ("Кто это был? Кто?" — спрашивала Лвия, а он пытался отвязаться от нее, пожимая плечами, точно это заклятый зануда пристает к нему с давно забытой историей...); или — поздно ночью, в одном из баров где-то в городских джунглях — я видел на ее лице страдальческое выражение, страсть, приговоренную к длительному ожиданию неизвестно до каких пор — она болезненно улыбалась, разглядывая Эвьятара с Лвией, плывущих в танце по залу: ноги его движутся в одном ритме с ее ногами, но прикрытые глаза мечтают совсем о другом... Вдруг, точно разом стряхнув с себя гнет, она вставала, протягивала мне руку: "Потанцуем, Йонес?" — и тогда, когда мои руки обвивали ее талию, а ее душистые волосы щекотали мне щеки, -- мне хотелось умереть от досады: о, быть дурачком, собирающим под столом ее оброненные улыбки, сухой веткой под ее ногами, но только не братом милосердия, на чье плечо она преклоняет свою больную голову!... Но и эти жестокие любезности выпадали на мою долю не часто; большей же частью мне приходилось сидеть с Руди за чашкой кофе и слушать краем уха его унылые лекции по биологии, заставляя себя из вежливости задавать вопросы, вставляя их в долгие паузы: "Если так, Руди, то чем же отличается живой организм от мертвого, если у них идентичный состав клеток?" — "Что ж, это вопрос справедливый, вопрос, на который до сих пор

не было дано удовлетворительного ответа, — Руди педантично излагал свой предмет, а вокруг шумела музыка и стучали каблуки. — Ученый Шредингер определяет жизнь, как состояние материи, в котором непрерывно протекает энтропия сдерживается поставкой энергии... таким образом создается непрерывная цепь физических процессов, ведущих...” — “Да, но можно ли создать живую материю из мертвой?” — “Этим, как вы понимаете, занимаются биологи вот уже несколько десятков лет, но до сих пор никто не опроверг древнее правило, гласящее: “Omne vivum ex vivo”¹, хотя и...”

Omne vivum ex vivo; но вся образованность Руди не помогла ему избежать того, что должно было случиться в силу железных законов физики, законов притяжения и отталкивания; или предотвратить биологический процесс, результат которого можно было предвидеть заранее. Требовались только условия оптимальной температуры, чтобы процесс этот достиг экстремума, и эти условия представились в ту ночь, которая для этого и существует — о, колдовская ночь! — ночь праздника Пурим, ночь маскарада в квартире Авиви.

Все было предвидено; но и свобода была дана — в такую ночь, в ночь искр и заклинаний, когда стаи духов плясали под разноцветными бумажными фонарями, а какой-то проклятый чертенок слепил глаза и дымил гашишем; свобода была дана всем побуждениям — обнимать, совращать, похищать и выбегать на росистый двор, в ближайшую аллею, в один из темных коридоров, а Титания могла обнять ослиную голову, прижать ее к груди. Я был в костюме сатира, красавца-сатира, как сказала Хагит еще у меня дома, прикрепляя мне ко лбу козлиные рога и копыта к ногам (“Сегодня ночью Нили будет твоей, бедняжка, посмотришь, как она упадет в твои объятия, как только ты войдешь, — предсказывала она с понимающей улыбкой, стоя надо мной и тщательно вымазывая мне брови. — Эвьятар в ее сети не попадет, он слишком умен,

¹ omne vivum ex vivo (лат.) — все живое из живого.

слишком осторожен..."). Но только мы вошли — это было близко к полночи, и толпа цыганок, аристократов, вельмож и клоунов уже не держалась на ногах от вина и танцев — я понял, что меня ожидает вальпургиева ночь и что конец ее мрачен. Кто-то оторвал от меня Хагит прямо с порога и потащил ее танцевать. Одинокó проталкивался я внутрь, ища ту, которую любил всем сердцем. Я пялил глаза, ища ее среди сотни хохочущих, пьяных, смешливых и грозных масок, искал и не нашел. Накдимон, одетый шейхом, с усами и в феске, протянул мне руку и замычал с арабским акцентом: "Гасыпадин Давидов, как дела? Что это у вас за рога? Один — боевой рожок, а другой — рог изобилия? Не для того ли вы оделись козлом отпущения, чтобы мы отправили вас к черту?" Сразу вслед за ним передо мной возник Гумпель, с головой филина, с большими глазами, шипя: "Мефистофель! Судный день настал, народ готов встретить тебя! Поберегись, грядет конец света!" Оснат, с распущенными волосами, в просторном цыганском платье, прыгнула мне на шею, повисла на мне, целуя и крича: "Сатир ты мой! Какой же ты чудесный! Какой же ты печальный! Приходи этой ночью ко мне на кухню!" — но тут же слезла с меня и полетела вешаться на других. Где же Нили? Где Нили? — вглядывался я во все стороны — и вдруг — слава Богу! — в глубине зала я наткнулся на Руди, одетого французским графом, с седым париком на голове, с моноклем в глазу, медленно шагающего, кланяясь каждому встречному, целуя дамам руки. "Руди! — поспешил я к нему. — Какой аристократизм! А где Нили?" Но Руди холодно смерил меня, глянув в монокль и печально сообщил: "О, Нили! Она на небесах! Добрый Господь взял ее к себе!" — и тут же, сменив направление, зашагал дальше, кланяясь другим. Я искал Эвьятара, но мне подвернулась Лвия в черной рясе, в белом чепце, пробивавшая себе дорогу сквозь толпу масок, неся перед собой поднос с бутербродами; она поглядела на меня, узнала и с тревогой спросила: "Может, ты видел Эвьятара? Улетел, павлин эдакий! Еще с начала вечера..." Загремела музыка, и все закружи-

лось, загремели копыта козлов и дьяволиц. Нили не было, и Эвьятара тоже. Около стола с вином стоял Элираз в коротеньком платьице, с двумя тощими косичками, заплетенными красными ленточками; увидев меня, он пропел, нагло ухмыляясь: "Есть у черта только тень, крутит он хвостом весь день, обнимает он — кого?... Пей!" — сунул мне в руку стакан... И тогда передо мной явился — точно привидение на колдовском пире — образ Ахувы.

Я стоял возле Элираза со стаканом в руке, глядя на танцующих, кружащихся в густом тумане, пытаюсь содрать глазами маски с высоких девушек, бессмысленно топчась на месте... Кто-то толкнул меня, прыгнув к столу, и оттолкнул меня к стене. Вино пролилось, я споткнулся. А когда я выпрямился, — она. Как? Откуда? Почему? Я побледнел. "Очень идет тебе такой наряд", — подняла она на меня робкий взгляд. "Ты..." Она сидела на низкой табуретке, на ней было белое платье, золоченая корона царицы Эстер, на коленях — белая сумочка. Рядом с ней сидел молодой моряк, положив ей руку на плечо. "Как... здесь..." — "Как видишь. Встретились..." — улыбнулась она улыбкой давних, мучительных дней. У моряка были большие, черные, печальные глаза, холодно сверлившие меня насквозь. "Познакомьтесь, — слегка покраснела она. — Это Йонес, это Ави". Ави не улыбнулся, не кивнул головой, его большие глаза примеряли ко мне то, что он знал, то, о чем догадывался. "Садись, — притянула Ахува еще один табурет. — Что слышно?" — Я сел. "Так себе. А у тебя?" — "Как всегда. Живешь все в той же комнате?" — "Да, на чердаке". — "Ави — моряк, — улыбнулась она. — Это не наряд". — "О! — сказал я. — Военно-морской флот?" — "Торговый", — ответила Ахува. "На каком корабле?" — через силу обращался я к ее спутнику. "Акко", — кратко ответил он. "Ах, Акко, — сказал я. — Вы плаваете в Западную Африку, как мне кажется..." — "Европа", — ответил Ави. "Европа? — повторил я. — А теперь вы приплыли сюда, в отпуск?" — я готов был вести беседу, пока он не рас-

качается, спрашивал его о том, о сем, о кораблях, морях, городах, о заработке матросов (Ахува мучилась вместе со мной; видимо, жалела), но Ави не поддавался. Он оставался чужим, равнодушным, плавал в других водах. Молчание стояло стеной. Где же Нили? Где Эвьятар? Я был прикован к табуретке, горящее лицо Ахувы обжигало меня. "Как у тебя с книгой?" — спросила она. "Так себе, продвигается. Хочешь потанцевать?" — спросил я. Ахува встала, рука матроса соскользнула с ее плеча. Мы двинулись в сторону стайки танцующих, сумочка оставалась в ее руках. "Сумка", — сказал я. "Ах, да!" — покраснела она, вернулась и определила ее моряку на колени. Танго текло медовым ручьем. Ее бедра были мягкими, ноги нетвердыми. "Твой приятель?" — спросил я. "Встречаемся", — ответила она. "Молодой уж очень", — заметил я. "Не такой уж. Двадцать семь". — "Ужасно серьезный". — "Молчаливый. Я видела тебя как-то на улице, — сказала она. — Прошла мимо тебя. Ты, видно, не заметил меня". — "Чего ж не остановила, не поздоровалась?" — "Ты спешил. Не хотелось тебя задерживать. Очень тебе идут черные блузы". Как-то видела меня во сне, рассказывала она. Ей снилось, что я нес мешок с камнями по улице, развороченной отбойными молотками. За мной погнался пес, ей захотелось подойти ко мне, предупредить об опасности, но тут она с криком проснулась. "Станный сон", — сказал я. "Я часто вижу сны", — улыбнулась она. "Ты все в той же квартире?" — спросил я. "Да", — ответила она. "Все на той же работе?" — "Да", — кивнула. В детском саду появилась новая заведующая. На пасхальные каникулы она поедет к сестре в Галилею. По вечерам она читает "Со всем недавно". "Как поживает папа?" — спросил я. "Болеет", — вздохнула она. "Болеет? — заволновался я. — Что с ним?"

Длинная рука в черной кисее махнула мне из леса танцующих. Мне? Она вновь махнула мне, играя пальцами, точно стараясь привлечь мое внимание. Да, Нили! — пробежала по моему телу теплая волна крови,

столь мощная, что, казалось, брызнула на белое платье Ахувы. В объятьях Эвьятара. Черная шляпа с широкими полями, над которой развевается пурпурное перо. Отдалилась. Растворилась в толпе, а потом, когда наши орбиты вновь пересеклись, обожгла мне пальцами плечо, радостно крикнув: "Йонес!" — и снова утекла по течению. "Кто это?" — спросила Ахува, и музыка смолкла.

Я проводил Ахуву к моряку. Белую невесту к морскому царю. Я решил стоять там на причале, пока не утихнет буря в моей душе. И вдруг подлетела ко мне Жар-птица, обняла меня за шею и захохотала: "Йонес! Сатир! Плавающие усы!" У меня закружилась голова. "Познакомьтесь, — сказал я. — Нили. Ахува". Нили низко поклонилась, описав большую дугу черной рукой. Тоскующей голубкой стояла перед ней Ахува, на ее губах дрожала улыбка. Потом она опустилась на табурет, прижавшись к молчаливому моряку.

Опишу ли я все великолепие Нили? — Она была обнажена. Нет, она была одета. Все ее стройное тело — красивые бедра, талия, грудь, до обнаженных плеч — было затянуто тканью из черной сетки, повторявшей все ее округлости, все изгибы ее тела, открывая тайну и пряча вдвое большую; а под сеточкой зеленели — фиговый листок и еще два. Черная шляпа бросала тень на ее лицо, а руки белели на черной кисее. Занавеси волос лились медом на белизну плеч, блистая в молниях ее глаз. Она была змеей. Она была нимфой. Она была счастлива.

Она была так счастлива, что когда загремела самба, она схватила меня за руку и потащила в умопомрачительный поток, и я еще не понимал, в чем дело, а уже кружился вместе со всеми. Мои руки охватывали ее, как сноп, плавно вели ее, направляли и резко кружили ее. В этой головокружительной суматохе мне на глаза иногда попадалось белое лицо Ахувы, глядящее на нас, точно сквозь пелену воды; большие глаза моряка, вперившиеся в нас издалека; Хагит, болтающая с Элиразом, провожающая меня с улыбкой; Руди, шага-

ющий вдоль стен, вежливо кланяющийся; испуганная Лвия, бродящая, ищущая; снова Ахува, моряк, Хагит; Руди, целующий руку даме... Когда музыка зазвучала громче, сотрясая деревья этой чащи, в воздухе засверкали искры, Нили стала дикой, как дьяволица. Она вертела задом, трясла бедрами, заламывала руки перед моим лицом, точно заклинала. Змеи ее глаз тянулись к моей шее.

— О, Йонес, что со мной сегодня... Я просто не знаю, что со мной... — бросилась она мне на шею — возбужденная, задыхающаяся, вспотевшая — сразу, как замолкла музыка. Ее голова покоилась на моем плече, она зажмурила глаза, и рывки моего сердца восстанавливали ей дыхание. Вдруг она вскочила, вскинув голову, поправила волосы и пошла прочь. Стройной, лунатической походкой плыла она по взволнованному залу, удаляясь, пока не исчезла в недрах коридора. В противоположном конце я увидел Эвьятара — в его будничном наряде, узких брюках, серой блузе и сандалиях — удивленного, сбитого с толку, растерянного; он скользнул вдоль волн карнавала и потащился к коридору, точно цепочка за ведром.

А ее я уже не видел.

Сколько я выпил? Четыре? Восемь? Восемнадцать рюмок? Со своим бокалом, со своим ядом шатался я меж обнявшимися и одинокими, между веселящимися и покинутыми, меж занятыми любовью и тоскующими, — искал ту, которой жаждала душа моя. Я забрел на кухню, искал ее среди тех, что хозяйничали у кастрюль, и не нашел. Слонялся по комнатам, искал ее среди гор одеяний, среди прячущихся по уголкам — и не нашел. Взошел по лестнице, точно карабкаясь в гору, вглядывался в копошащихся и шепчущихся на темных верандах, — а ее не видел. Боднул головой какую-то дверь и пошел наощупь в темноте. Что-то блеснуло во мраке — на кровати. Нили? — Ах, нет, это была Лвия, лежавшая навзничь в своей монашеской рясе. "Кто это?" — скрипнул ее голос в темноте. Я подошел и коснулся ладонью ее щеки. "Уходи! Уходи!" — закричала

она, как ночная птица, и я почувствовал на своей руке ее слезы. "Прости, прости..." — пробормотал я, убегая, и захлопнул за собой дверь. Ночные огни мерцали, как летящие по кругу созвездия. Я бросился на пол у балконной ограды и сомкнул глаза. Спал ли я? Сколько прошло времени? Времени прошло много, потому что, когда я вновь спустился в зал, он напоминал поле битвы. "Окончен бал, и ветры вышли подметать зал опустевший". Беспризорные отголоски музыки еще кружились по залу вместе с рваными бумажными цепочками. Пол был усеян осколками стаканов. Стулья и табуреты валялись один на другом. Одинокие маски бродили, точно демоны, в поисках разлетевшихся душ, а по углам тискались какие-то нетрезвые личности. Кто-то подошел ко мне, роняя слюну, точно дурной пес, и принялся бодаться, мыча: "Давидов!" Я оттолкнул его, свалил на землю. Он поднялся, протягивая руки мне к горлу, а я всадил ему рог в живот. Вдвоем покатались мы по пыльному полу, и кто-то — не Авиви ли? — растащил нас в разные стороны. Я успел разглядеть еще графа Руди, одиноко шествующего к своей машине, заводящего мотор и уносящегося восвояси. "Фройденталь! — крикнул я. — Руди фон Фройденталь!" Но он вихрем унесся во тьму, вдаль от моих бессильных уст. Слова "я люблю тебя, люблю тебя навеки", пропетые одинокой певичкой, проводили меня из пустого зала.

Очухался я, лежа на пляже. Море было облачным и близким, песок отсырел. Я дрожал от холода. За мутными стекляшками собственных глаз я обнаружил старушку, стоявшую неподалеку от меня и делающую зарядку. Синие жилы вились по ее ногам, живот распух, пустые мешочки ее грудей вытягивались при каждом наклоне, сплющиваясь, когда она выпрямлялась. Тяжелая голова сидела на изношенном теле песочного цвета. Я пытался припомнить, как добрался досюда. Руди отчалил в одиночку. Где была Нили? Где был Эвьатар? Я вспомнил, как одиноко тащился по ночным улицам, как частенько прижимали меня внезапные фары к тротуарам. Улицы были длинны и безмол-

вны, они бледнели, а мертвые дома кутались в лохмотья зари. Помнил, что вошел в какой-то бар, покинутый музыкантами, оставленный весельем, подсел к стойке, попросил выпить, а какой-то грубый верзила вышвырнул меня на улицу. За что же он меня? Или я просил невежливо? А может, выпил и не заплатил?... Я пошарил по карманам, вытащил кошелек. Он оказался пустым. Старушечья нагибалась, выпрямлялась, выставляла сморщенные руки в стороны, вперед. Щепочки ее ног дрожали. Потом она подошла к воде, помочила ступни, ополоснула бедра, вошла в море по коленки и плеснула воду на живот. Море было близко-близко, языки волн лизали мои подошвы. Хромой походкой проковылял вдоль моего тела краб. Куда исчезла Нили? "Ночь, о ночь! Языческая ночь!..."

20

Кто поведает о подвигах Давидова? Кто их исчислит? — В тридцать восьмом он был среди заселявших Ханиту, в том же году возводил стену Тэггарта вдоль северной границы; летом тридцать девятого был со строителями "Стены и башни", в долине Бейт-Шеана и на белых песках против пальм и башенок прекрасного Акко; в 1941 готовил побег нелегальных иммигрантов из лагеря в Атлите; в сорок втором, сорок третьем — слонялся по базам Пальмаха, пустынные ветры знакомились с ним, и зной опалял лицо...

Но не лежала душа моя к Давидову в те времена; она витала по "Подвальчику" или по моему чердаку.

Что случилось той ночью, с которой Нили так изменилась? Может, "буря прошла и неспелый бутон сорвала"? По вечерам она приходила в "Подвальчик", теперь уже не с Руди, а одна; незадолго до полночи она поспешно вставала, улыбалась на прощание, сдерживая не то печаль, не то обиду, выходила на улицу, помахивая ручкой — такси! такси! — одна-одинешенька; а в промежутке между тем и другим она помногу молчала,

помалу пила, посмеивалась, словом-другим обменивалась с Эвьятаром, и слова эти вылетали птицами, подбитыми на лету. Она сидела тихо, прислушивалась к разговору, подпирая подбородок ладонью, иногда опускала глаза и погружалась в раздумье, а может, и замышляла что-нибудь, иногда подымала глаза — губы улыбаются, а во взгляде горечь... Она уже садилась возле меня, а не рядом с Эвьятаром; и когда она начинала говорить, она обращалась ко мне или к кому другому, точно скрываясь, прячась; а когда на стол выплескивался поток речей Лвии, в ее глазах зажигалась ненависть; но и ненависть была ей очень к лицу. Прекрасна была Нили в своей ненависти.

Много роковых, отравляющих кровь событий произошло, по-видимому, в ту ночь, в те потерянные часы от полуночи до рассвета, когда я шатался, окутанный винными парами: изменилась не только Нили, но и Эвьятар, и Лвия. Эвьятар теперь вечно чего-то боялся, вечно жался, говорить стал так тихо, что и слов не разобрать; вдруг закипал от злобы, потому-то и потому-то, а почему — непонятно; вдруг начинал осыпать комплиментами того, к кому прежде бывал равнодушен, и снова не понять — почему Лвия ошетибилась, выставила колючки, точно еж, стала агрессивной, властной — ее, мол, живность, ее владение. Нили она стыдила, точно шлюху, клеймила ее взглядом, порицала молчанием, бичевала невниманием, точно ее нет и в помине.

А я?

Я отрастил себе бороду. То есть, она сама у меня выросла; вроде бы безразличием к ней произвел я ее на свет. Сначала причиной тому была одолевшая меня несобранность, эта меланхолическая вялость, из-за которой у меня все из рук валилось, даже бриться по утрам не мог. Подолгу лежал я в кровати, в комнатной духоте, точно в печи, путаясь в рваных и латаных видениях: Нили, Эвьятар, все, что случилось той ночью, — и вдруг щемило сердце: Давидов! Тяжелая туча вползала мне в голову — невыполненный долг! Долг все растет, я из него никогда не выберусь! — разом я вска-

кивал, оставлял кровать в диком состоянии, бежал к морю, плыл, заплывал как можно дальше — о, дали, к которым можно уплыть! до самого Таршиша! — потом выползал на берег с пустой головой, валился на кровать, дремал и грезил, дремал и грезил... Понемногу мои щеки — слегка ввалившиеся — покрылись желтоватым мягким пушком, неравномерной травянистой растительностью с забытой межи — тут густо, там пусто. Потом я счел это явление положительным, стал о нем заботиться — подрезать кустики, расчесывать, выравнивать, утолщать, пока борода не стала великолепной, гладкой и округлой, как разваленный сноп пшеницы. На меня стали заглядываться девчонки. Да, борода предоставляет определенные преимущества мужчинам моего возраста, но только в тот период (между периодом Ханиты и периодом Атлита — в переводе на давидовские векселя) не лежала у меня к этому душа. Эта борода была не столько украшением, сколько выражением траура.

О, заговор, устроенный этой парой — намеренно против Лвии, но неосознанно и против меня, — как им удавалось укрываться в молчании, в скромном опускании глаз, в душераздирающей сдавленной печали! Я раскрыл этот заговор как-то в полуденный час. В наш город приехал цирк, и я пошел поглазеть на него вместе со старыми и малыми. Как иногда на море, так и здесь — я отправился в далекие миры: в космическую высь на взлетах трапеции, стесняющих дыхание удивлением и страхом; в индийские джунгли с большими слонами с тяжелыми ушами, с мягкой походкой; в северные страны с танцами на коньках; в Испанию с россыпью звуков и громов, стуком каблуков и кружением юбок; в Венгрию, в Китай, в Марокко... Потом выскочили на арену три тигра тремя языками пламени, а их дрессировщица — стройный длинноволосый деспот, амазонка с бичом — смирляла их дикость мановением ресниц, движением плеча, безмолвным и энергичным. Она хлестнула бичом по полу, метнулась молния, тигры вспорхнули, оторвались от земли, а со второго

взмаха... Со второго взмаха мое ухо уловило всплеск смеха, очень чистый, веселый и короткий, как у колокольчика... Тримя рядами ниже, прямо передо мной, сидели эти двое, в обнимочку; голову она положила ему на плечо, а ее медовые волосы стекали ему на руку. Тигры, дрессировщица, веревочные лестницы, клоуны, фокусники, акробаты — все растворилось в тумане. Мой взгляд вонзился в их затылки, в их головы, всякое их движение царапало меня по сердцу: вот его рука скользит по ее шее, заставляя ее замереть; вот он шепнул ей что-то на ухо, и снова она рассмеялась; вот она оторвалась от него на мгновение, оба напряженно глядят на арену, вот (на арену ринулись львы, на их пути выставили огненные обручи) она впилась в его руку, точно моля о спасении, вот она прижалась к нему. Точно нет глаза видящего и сердца внемлющего, точно нет суда в Судный день — притиснулась губами к его бакенбардам... Эх, Нили, такой чужой Эвьятару выглядела ты по вечерам, а Эвьятар отрекался от тебя в "Подвальчике"...

Не дай тебе Бог, читатель, перенести муки ревности, подобные тем, что выпали на мою долю в последующие дни, когда казалось мне, что за каждым поворотом вот-вот возникнут они у меня перед глазами, обнявшиеся, свившиеся, и я мысленно искал то место, где они укрываются; или в наступившие после этого вечера, когда я сидел мучительно близко к Нили (молчащей, страдающей...) и добровольно хранил их тайну, жгущую меня изнутри. Я перескочу через эти муки ревности и расскажу о той ночи, когда я устремился, как птица, в ловушку и получил то, что оказалось как бы ничьим.

Мы сидели в "Подвальчике" и праздновали выход в свет первого номера "Восклицательного знака"...

Вчера я вынужден был прерваться. Сначала снизу по-

слышались крики, звуки ударов, арабские ругательства, а сразу вслед за этим прибежала госпожа Зильбер, испуганная, запыхавшаяся: там будет что-то ужасное... нужно что-то предпринять... вызвать полицию... они убьют его... Я побежал вслед за ней, а когда мы долетели до самого низу, из квартиры часовщика Ардити вывалились два парня и, как диверсанты, сделавшие свое дело, ринулись прочь, вскочили в грузовичок, стоявший у тротуара, завели мотор и умчались, всколыхнув шумом улицу. Господин Ардити стоял в дверях с видом спасенного утопленника и бормотал блеклыми губами: "Увести?... Силой?..." — "Что это у вас! — крикнула госпожа Зильбер. — Не ваш ли это сын был, тот, что постарше!" — "Нет у меня сына, — шепнул Ардити, нахмурясь. — Если придет снова — плевать, вызову полицию. Храни его Господь — так поступить с сестрой... Да она ведь чуть не умерла". Он указал на дочь, лежавшую на диване с влажным полотенцем на лбу. Мы вошли в комнату и, вслушавшись в невразумительное бормотание закутанной в черную шаль старухи, сидевшей в углу и все время качавшей головой, точно причитая, догадались о том, что произошло: брат Йонины, служащий в Рамле, обручил ее после многочисленных уговоров, с одним из своих знакомых, владельцем овощного лотка из того же города. Йонина вскоре передумала и не пожелала выходить за него замуж. Теперь эти двое пришли заставить ее венчаться. Брат сгоряча ударил ее по лицу, разошелся, стал разбрасывать стулья, разбил об пол вазу. Уходя, они грозились прийти снова и силой забрать ее под венец. "Силой не возьмут, — сказал Ардити. — Я ее все время уговаривал выйти за него. Теперь нет. Кончено". А старушка, бабушка Йонины, подтвердила, кивнув головой: "Она учится на секретаршу, она найдет себе жениха. Получше, чем этот". — "А я и не сомневаюсь", — присовокупил Ардити. Его желтое лицо, вытянутая лысина, прикрытая несколькими прядками гладких серых волос, длинные пальцы — пальцы часовщика — все это отражало поруганное величие.

Ионина была хромой, и своей тонкой улыбкой точно просила за это извинения. Я встречал ее раз, два раза в день. Иногда она была в платье с синими звездочками, иногда — с красными, но всегда в чистом и блистающем. Ее изъян не отразился на лице — как это часто бывает — разве что "розочкой" на ее правой щеке. Отпечатком старого шрама. У нее было гладкое, открытое лицо, как у десятилетней девочки. Как-то она споткнулась о дворовый коврик, неся сумку с тяжелым арбузом. Арбуз покатился к моим ногам, я вложил его обратно в сумку и помог донести до дверей. Я спросил ее: "Откуда вы?" Она ответила: "Мы из Марокко", — и звонко засмеялась, словно было в этом что-то смешное. С тех пор мы добрые знакомые, и она тепло здоровается со мной. Маленькая "розочка" величиной с монету всегда притягивает мой взгляд. Точно это старинный талисман, на котором выгравирована таинственная надпись. Хромота, на мой взгляд, делает ее более приятной. "Силой они ничего не добьются, — сказал я Ардити. — Поможем вам. Все вместе". Ионина приподнялась над подушкой и повернула ко мне печальное лицо. Ее левая нога была парализована.

Да, мы праздновали выход в свет первого номера "Восклицательного знака". Мы передавали его из рук в руки, восхищались его формой, обложкой, на которой восклицательный знак был изображен в виде большого колышка, под которым сияла капелька крови; блестящими буквами, пахнущими свежей типографской краской. Оснат поднесла его к лицу, потерлась о него носом, как о младенца в пеленках, глубоко вдохнула его запах — "Ух, хорошо!" — и почтительно трепеща, открыла первую страницу. В самом начале журнала большими буквами было напечатано некое подобие декларации, называвшееся "тринадцать принципов неверия"; дальше шли стихи Эвьятара, Авнера, большая статья Гумпеля о поэзии Накдимона, глава из повести Шаула Нуна и всякое другое. На двух по-

следних страницах был мой набросок — петитом — о "Круговороте естества в рассказах Гнесина", черновой набросок, написанный несколько лет тому назад, нечто вроде читательского дневника, подправленного к печати в ходе подготовки журнала. Журнал переходил из рук в руки, а дойдя до Нили, сидевшей рядом со мной, застрял у нее надолго. На четвертой странице сияло заглавие стихов Эвьятара: "Три оды супруге брадобрея". "Что такое ода?" — шепнула Нили. После того, как я объяснил ей — снова уставилась в страницу, подперла подбородок ладонью и погрузилась в стихи, точно была одна в комнате; принялась разгадывать заключенную в них тайну. Когда я попробовал перевернуть страницу, она увела журнал себе на колени и продолжала вглядываться в строчки. Щеки ее горели. Толкнула меня локтем и нацелила палец на слово "хламида" в строчке: "Бритва цирюльника у самых глаз, а ты в великолепнейшей хламиде". "Что такое хламида?" — тихо поинтересовалась она. Я пожал плечами. Мне хотелось вырвать журнал у нее из рук, забросить его подальше, крикнуть: "Цирк!"... В ту же секунду я услышал голос Лвии, недовольный голос, пропитанный ненавистью: "Сколько же ты его будешь держать? Есть же и *другие* люди..." Нили удивленно подняла голову, точно этот крик ее разбудил. Потом протянула ей журнал через стол и сказала с дьявольской усмешкой: "Возьми его себе! Я и не думала отнимать его у тебя!" — "Благодарю!" — выскочило коброй из уст Лвии, когда она принимала журнал. Эвьятар, выгребая угли из костра или гася огонь, еще не набравший силы, — положил Лвии руку на плечо и что-то шепнул, успокаивающе улыбаясь. Нили опустила глаза. Накдимон, который сидел рядом с нами и от глаз которого не ускользнула эта сцена, налил вина Лвии, Эвьятару, Нили и мне. Он принялся хвалить "Два мнимых стиха", написанные Авнером: "Всегда я удивлялся, — сказал он басом, — как это из-под пера такого типа, как Авнер, могут выходить такие умные стихи. Ты смотришь на него — дурацкая рожа. Ты говоришь с ним — а ему и

сказать нечего. Или ляпнет что-нибудь такое, что ты сам за него краснеешь — какие-то банальности... Но в стихах!..." — "Это только подтверждает то, — сказал Гумпель с дальнего края стола, — что мы писали в "тринадцати принципах неверия" о независимости поэзии. Она не зависит не только от общества, но и от личности самого поэта". Все рассмеялись, в том числе и сам Авнер, который не был избалован комплиментами и поступался собственной честью, уступая славу своим стихам. "Как ты умудряешься вариться в одном соку со своими стихами? — продолжал Накдимон пускать в него стрелы, смазанные медом. — Тебе не стыдно перед ними? Я имею в виду — когда вы остаетесь один на один. Например по ночам, в пустой квартире". — "Человек никогда не стыдится пред своими детьми, даже если они умней его", — ответил Авнер. "Какой классический афоризм! — воскликнул Накдимон. — Человек — никогда — не — стыдится..." Вдруг, точно ребенок, совершивший открытие, Оснат пискнула: "Скажите, а не странно вам, что ни у кого из нас нет детей? Ужасно странно..." Наивность этого открытия смутила всех, словно сальность, которую во взрослой компании ляпнул ребенок. Всех, кроме Гумпеля, воскликнувшего: "Это только подтверждает то, что о нас говорят, — что мы публика *бесплодная!*" — "Возвеселись, бесплодная, нерожавшая!"¹ Возвеселись, сочини стишок!" — зашебетал Элираз. Лвия погрузилась в чтение журнала, лежавшего у нее на коленях. Теперь она сама старалась разгадать тайну, заложенную в "Трех одах супруге брадобрея". Теперь щеки пылали у нее самой. Нили хлебнула вина и шепнула мне: "Спроси ее, почему она так долго держит журнал. Есть и другие люди..." — "Вопрос, которым стоит заняться, — вопрос рождаемости, — налил себе Накдимон еще одну рюмку. — У нас есть четыре женатые пары, которые не плодятся, а только плодят скандалы! У поэзии нет никаких обязательств перед обществом,

¹ Исайя 54:1. Далее — шутливое подражание.

как справедливо писал Гумпель, но у поэтов-то! Это безответственно с вашей стороны, господа! Стране нужны кадры! Раса гогочущих, здоровых подмастерьей! Армейские офицеры! Резвые и одаренные чиновники! Если вы примете во внимание международное положение..." Лвия захлопнула журнал и бросила его на стол. С минуту посидела, глядя прямо перед собой, мрачно размышляя, потом обратилась к Эвьятару: "Вставай, пойдем". — "Да что ты, Лвия? — положил ей Эвьятар руку на плечо. — Еще не поздно". — "Ты можешь оставаться. Я-то все равно иду", — она схватила сумочку и встала. "Посидим еще немножко", — с мольбой впилился Эвьятар в ее руку, но она вырвалась и стала проталкиваться к выходу. Эвьятар поднялся и потащился за ней. "Пошли исполнять заповедь!" — крикнул им вслед Накдимон. Нили налила себе еще одну рюмку.

Настала полночь — час, когда Золушка спешит домой, — но Нили не вставала. Продолжала сидеть, и туман размышлений отгораживал ее от болтовни, хиханек, разговоров и забав, окружавших ее. Временами она наливала себе рюмку, выпивала, продолжая, по-видимому, отделять золотое руно, от прикосновения к которому погибают. "Ты увлекаешься", — шепнул я ей, увидев, что она наливает снова. Она пожала плечами и снова хлебнула. Понемногу на ее лице обозначилась странная улыбка — ангельский поцелуй из иных миров. Как она была прекрасна в этом сомнамбулическом состоянии, слегка приоткрыв губы! Все уже ушли — было два часа ночи — а она оставалась сидеть, окутанная дымом сигареты, тлеющей в пепельнице, голову уронив на руки. "Что с ней?" — поинтересовался официант, забирая посуду. "Устала", — ответил я. "Есть у тебя платок?" — спросила она, не поднимая головы. Я вытащил из кармана платок и подал ей. Утерев глаза, она подняла заплаканное лицо и бессмысленно уставилась в одну точку. Кроме нас в "Подвальчике" никого не было. Запустение "усталой, сгорбленной ночи". Вдруг она заговорила: "Я ненавижу ее, Ионес! Ух, как я ненавижу ее!... Я молю Бога, чтобы кто-ни-

будь спас меня от этой ненависти! — и, спрятав мой платок себе в сумочку: — И его. Ты не знаешь его, Ионес!” А потом затараторила, не останавливаясь: Эвьятар — это легкомысленный, бесхарактерный трусишка. Живет во лжи, окружает себя ложью, запутывается в ней. Как-то она сказала ему это, а он ответил, что правду он оставляет для стихов. Но нет, он и в стихах пишет полуправду, потому что у него не хватает смелости, а поэт, у которого не хватает смелости быть жестоким по отношению к самому себе, никогда не достигнет больших глубин. Как он боится рисковать! Как он боится показаться на людях вместе с ней! Как-то они шли по улице и увидели меня издалека — так он тут же утащил ее за угол. ”Я схватила его за руку и спросила — чего ты боишься? Ионес мой друг, твой друг, и какое ему дело? И тебе какое дело?... Нет, нет, ни в коем случае... Все эти увертки, ужимки, прятки — это губит меня, сводит меня с ума!...” И почему он живет с Лвией, когда совсем не любит ее? Как это можно жить всю жизнь, притворяясь? Как это можно находиться лицом к лицу, днем и ночью, с такой дешевкой, у которой и мысли живой нет, с такой рожей, как у дохлой курицы! Как это он не испытывает отвращения к самому себе? И все это потому, что он поддается деспотии, поддается напору, дрожит за свою шкуру, боится любой авантюры, любого риска! ”Да ведь сама поэзия — это авантюра, и какой же настоящий поэт остановится перед авантюрой!... Как-то я сказала ему — насколько же он нерешителен, а он процитировал мне какие-то строчки из Элиота: ”Время придет — убивать и творить, срок воплотиться — тебе и мне, и для сотен сомнений срок”. Потом, дома, я прочла это стихотворение и захотела сказать ему, как та женщина, положив голову на подушку: ”Это не то, чего я ждала, это не то, совсем не то...” Но он бы все равно не понял. Предатель. Изменяет жене, изменяет мне, а с нами обеими изменяет самому себе”. Официант подошел, извинился и сказал, что пришло время запереть. Мы вышли на улицу. Я спросил ее: ”Как же

ты доберешься? Заказать тебе такси?" Она постояла с минуту, глядя во тьму, потом сказала: "Переночую у тебя, если ты не возражаешь. Постелишь мне одеяло на полу — посплю как-нибудь. Все равно все потеряно".

Когда мы вошли в комнату, она упала на кровать и забормотала: "Ужасно голова кружится. Ужасно". Заслонила ладонью от света и крикнула страдальческим голосом: "Погаси! Я не могу этого вынести..." А потом, в темноте, сказала тихо, но внятно: "Иди, иди сюда".

О, скромное, аскетическое жилище одинокого скульптора Полищука! Чего только не слышали его стены, наострившие уши во тьме, чего только им не выпадало видеть при бледном свете утра! Катаклизмы — утверждают историки — повторяются, но никогда не повторяют предыдущей формы; так ведется и в моей комнате. Снова был поздний утренний час. Нили сидела на кровати, прислонившись к стене, курила и сбрасывала пепел в скляночку, которую держала в руке. Я сидел на стуле подле нее, боясь подумать, боясь понять, что произошло, что нас ждет, что мы с ней делали и что теперь будем делать. Снова, как прошлым вечером, она говорила, говорила, точно слова сами вылетали из ее рта: домой она теперь не вернется. Все погибло, погибло. Ей только ребенка жаль. Что она будет с ним делать? Матери она его отдать не сможет. Та такая же эгоистка, как она сама; она живет сейчас с каким-то богатым промышленником. Пятый или шестой роман после того, как она развелась с отцом. Когда Нили было восемь лет, мать изменила отцу с одним инженером, его старым другом, еще из России. Она хорошо это помнит, ей всегда хотелось быть такой красивой и гордой, как мама, — и вот уже пошло по второму кругу. Это, видимо, наследственность. А что касается Эвьятара — тут все ясно. Он никогда не решится порвать. Любит, а может и не любит, а на самом деле больше всех он любит самого себя — но вер-

нуться к нему она уже не сможет. Найдет себе какую-нибудь чертежную работу в том же учреждении, где работала прежде, в учреждении одного из друзей ее несчастного отца, живущего теперь в Хайфе. Снимет комнату и возьмет ребенка к себе. Будет нелегко, но она больше не в состоянии выносить этот буржуйский скучный академический городок с дурацкими разговорчиками соседок, с этими мелкими интригами чернильных крыс, с этими гулянками то у одного, то у другого, вся цель которых — это бабья болтовня и шашни по взаимному согласию, чтобы скуку разогнать... "Ты не знаешь, что это такое, Ионес, ты не можешь себе представить, какое это жалкое существование..." Послышался стук шагов по лестнице. Нили замолкла, сдавила сигарету в склянке и спокойно общила: "Это Руди". Меня охватила паника, как в тот раз, с Ахувой. "Что будем делать?" — шепнул я. "Я догадывалась, что он придет", — сказала она. Закатила голову и зажмурила глаза, точно приготовившись выслушать решение суда. Луч солнца золотил ее длинные мягкие волосы. В дверь постучали. "Открыть?" — тихо спросил я. "Открой", — пожала она плечами. Я встал и распахнул дверь. Руди был бледен, нечесан и небрит. "Прости, что я помешал вам", — хрипнул он с порога. "Заходите", — пригласил я его. Он вошел и уселся на стул. На нем был измятый костюм, галстук был не затянут, точно наброшен в спешке. С минуту он вглядывался Нили в лицо, а потом заговорил, точно преодолевая сухость глотки: "Послушай, Нили, мне безразлично, что ты делаешь с самой собой, и ты знаешь это; но ты не можешь оставлять на меня ребенка. К девяти мне надо в лабораторию; сейчас половина одиннадцатого. В мои обязанности не входит одевать его, кормить, везти в сад. Я думаю, что это тебе ясно". Руди замолк, дожидаясь ответа. Нили пошарила рукой по кровати, нашла пачку сигарет, закурила и выпустила длинную струйку дыма в сторону окна. "Каких действий ты от меня ждешь?" — тихо спросила она. Воздух дрожал, словно натянутая струна. Спокойный утренний

свет заливал комнату, но она еще была полна судорог прошедшей ночи и сдержанных судорог Руди. Было очень грустно, так, как бывает, когда думаешь о смерти. "Я же сказал тебе, — заговорил он, — мне безразлично, где ты проводишь время и с кем ты его проводишь. Ты можешь спать, где хочешь. Но в семь утра будь дома. Я не обязан выслушивать его вопли: мама! мама! — и завязывать ему шнурки. Нет у меня на это времени. Я работаю, понимаешь ты или нет? То же самое и после обеда, и вечером. Есть у тебя определенные обязанности". Нили сбрасывала пепел в склянку, лежавшую на ее ладони, и молчала. Ее молчание показалось мне слишком долгим. Почему-то я почувствовал, как злоба Руди передается и мне. В конце концов она повернулась к нему и спросила: "Откуда ты узнал, что я здесь?" В голосе Руди зазвучали сердитые нотки: "Эта история длится уже больше двух месяцев, — покраснел он. — Я не спрашивал тебя, куда ты едешь по вечерам и чем ты занимаешься до самой полуночи. По крайней мере, пока ты заботилась о нем. Но теперь, Нили, это переходит все границы. И терпению моему есть предел. Если ты хочешь... если ты хочешь покончить — пожалуйста. Но так не расстаются. Надо решить некоторые вопросы. Ты знаешь, как это делается. Ты не можешь одновременно и жить в доме, и забросить его. Я нахожусь в дурацком положении — кормить, возиться... Я теряю время, деньги, нервы... Я не обязан ездить по утрам в город и спрашивать о тебе в кафе, вместо того, чтобы быть на работе... Или носиться по улицам на машине... И платить штрафы ко всему прочему... — он вытащил бумажку из кармана пиджака и швырнул ее на стол. — Так это дело не пойдет, Нили". Легкая насмешка скривила Нили губы, когда она поглядела на квитанцию, лежащую на столе. Я стоял у дверей, как часовой, невольный зритель, незванный свидетель, чужой в своей комнате, чуждой самому себе. Руди встал, нащупал в кармане ключи и сказал: "Я хочу, чтобы к трем ты была дома и забрала Рами из сада. Если ты хочешь ехать сейчас — пожалуйста". Нили про-

должала курить, не двигаясь с места. Руди подождал еще немного, потом повернулся к двери; проходя мимо меня, бросил: "Извините за беспокойство", — и вышел.

Я подошел к столу и расправил оставшуюся на нем скомканную бумажку. Ему следовало уплатить штраф за стоянку в запрещенном месте. Нили закрыла лицо руками и запричитала: "Я чудовище, Ионес. Какое я чудовище!" Я сунул бумажку в карман. "Тебе надо ехать", — сказал я. "Какое я гнусное существо, Ионес, — ее лицо исказила страдальческая гримаса. — А знаешь, почему? Потому что вся эта история рассмешила меня, ужасно рассмешила. Я с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. Да и теперь. Как будто меня не касается... Как будто я смотрю какой-то спектакль... Ненастоящий вроде... Какой-то черный юмор..." Потом глянула на меня и изрекла: "Вообще-то, это ты во всем виноват. Если бы ты не пришел тогда, в тот вечер..."

22

Сегодня четырнадцатое кислева, четвертая годовщина со дня смерти моей матери, да будет ей земля пухом; нижеследующие строчки я посвящаю ее памяти. Читатель может перескочить через них и не потеряет ничего в развитии сюжета. Я побывал на кладбище, стоял над ее могилой, но как я ни старался сосредоточить свои мысли на ней — ничего у меня не вышло. Другие предметы занимали мое внимание. Сначала мой взгляд бродил по надписям на соседних могилах; потом в голове мелькнул сюжет юмористического рассказа о богаче, который купил участок на кладбище для себя и для жены, выстроил там часовенку с куполом, поставил чугунную ограду; когда жена умерла и он схоронил ее там, — женился на другой, которая заставила его поклясться, что он не ляжет в могилу вместе с первой женой; но когда у него умерла и эта жена — он не мог решить: с какой ему лечь. Поразмышляв о рассказе,

я вспомнил о книге про Давидова, которую я не написал, и о суде, который висит надо мной; о денежном долге и о долге перед покойным. Потом на дорожку, где стоял я, вышла сефардская похоронная процессия, и вид красивой девушки в зеленой шелковой косынке, стоявшей неподалеку от меня и рыдавшей в платочек, привлек мое внимание. От нее пахло дешевыми духами, запах которых всегда наводит на меня тоску. Когда она прекратила рыдать, я спросил ее, кто был покойный. "Большой человек, — блеснули слезы в ее глазах, — большой человек". — "Как его звали", — поинтересовался я. "Моше. Моше Абулафия. Погиб. В аварии. Ужас. Такой молодой. Только месяц, как получил новое такси". Я стоял и печалился вместе с ней по Абулафии, а когда церемония окончилась, проводил ее до ворот кладбища. По дороге домой меня грызло раскаяние. Нет у меня Бога в душе. Тридцать лет своей жизни отдала мне мать, благословенна ее память. Не было у нее никого, ближе меня. Но когда я стою над ее могилой — раз в год — и то не могу сосредоточить свои мысли на ней.

Моя мать, урожденная Юделевиц, была женщиной скромной и много выстрадавшей. Прошло всего несколько лет, как они с отцом уехали из Кфар-Гилеади, а уже сошли с ее лица сияние Галилеи и сияние энтузиазма первостроителей, она погрузилась в домашние заботы, а после смерти отца — и в траур. О далеких днях она больше не вспоминала. У нее был маленький киоск на перекрестке, в киоске — две банки с сиропом: одна — с красным, а другая — с зеленым; немного баранок, немного конфет и целые полчища ос, жужжавших в часы зноя и упорно обсасывавших сладкие струйки на банках. Соседская ребятня толпилась около лотка во время перемен и с наступлением вечера, выматывая у нее нервы. Она отгоняла их, как отгоняют мух с варенья, но они все стояли и галдели, и таскали с лотка, так что она никогда не знала, кто платил, а кто нет. До восьми, до девяти стояла она там, как на часах, и я помню, как закопченный фонарь, ржавый

ручной фонарь, болтавшийся на длинном железном крюке над лотком, отбрасывал красноватые тени на ее озабоченное лицо. Я стыдился ее и этого заработка перед ребятами и перед самим собой, и я обходил киоск как можно дальше, чтоб не увидели меня ни рядом с ним, ни рядом с ней, чтобы как-то обозначить различие между нами. Каждый день я задавал себе вопрос — с горечью, со злостью — почему этот киоск должен стоять так близко к школе. По вечерам, когда она подавала мне убогий ужин — яичницу с салатом, салат с простоквашей — я упорно подчеркнуто молчал, так что никакими вопросами — что сказал учитель? как прошел экзамен? по-прежнему ли у меня плохо с горлом? — она не могла выжать из меня ни слова. Никогда я не доставлял ей удовольствия хорошей новостью, ни когда получал высокую оценку, ни когда удостоивался похвалы за сочинение. Когда мы проходили "Мою песнь" Бялика, я представлял себе его мать в образе собственной матери, но в отличие от него, не испытывал к ней жалости. С другой стороны, в мечтах я представлял себе, что когда-нибудь я стану великим писателем, как ее сын. Все, что я утаивал от нее — и собирал для себя — я выплесну как-нибудь на бумагу. С наступлением субботы мы сидели с ней вдвоем за столом, покрытым белой скатертью, в той низкой, оштукатуренной комнате, по стенам которой бродили печальные тени, — сидели и молчали. Я все еще чувствую во рту горький вкус меда, намазанного на мягкую булку, которая прилипала к небу, сведенному от слез. Я сильно тогда тосковал по покойному отцу, которого знал по немногим фотографиям и отрывочным рассказам матери. Мой отец, Шаул Рабинович, был высоченным, длинноруким мужчиной с костистым черепом и очень густыми бровями. Хотя мне было всего четыре года, когда он скончался, мне до сих пор кажется, что я помню его низкий и теплый голос, его чахоточный кашель, его глубокий смех; помню его большие руки, щекочущие меня под мышками, его полысевшее темя, трущееся о мой живот. Странной смертью умер мой

отец. У него были вставные челюсти, которые каждый вечер, перед сном, он вынимал и клал в стакан. Как-то он забыл вынуть их, проглотил во сне и задохнулся. Он оставил нам в наследство деревянный ящик, а в нем — большой раздвижной ключ, клещи, два молотка; да еще ржавую жестяную вывеску: "Водопроводчик, все виды ремонта с гарантией", которая продолжала висеть на дворовой калитке еще несколько лет после того, как его не стало. На плохонькой этажерке осталось несколько книг на русском, которые он привез с собой с Украины, и, когда я вспоминал о нем, я открывал эти книги и листал их: большой том Шекспира с волшебными листами чудных гравюр Ромео и Джульетты, коленопреклоненного Отелло подле Дездемоны, красавицы Офелии, уносимой потоком; том Пушкина с набросками тушью — нежная Татьяна с томным взглядом, дуэль Онегина с Ленским, Борис Годунов с мечом у пояса, подъезжающий на коне к какой-то татарской крепости; том "Фауста" с кривоногим, остробородым Мефистофелем; несколько книг на иврите издательства "Тушия"... Своего покойного отца я любил и хвалился перед товарищами, что он был смелейшим богатырем Каменец-Подольска и убил там двух казаков, что он был членом Кфар-Гилеади и вместе с Трумпельдором оборонял Тель-Хай и даже здесь, в городе, был командиром роты в "Хагане"... Что там делалось, в Кфар-Гилеади, когда мои родители еще жили там? — Частенько я в мыслях витал в этом Кфар-Гилеади, в орлином гнезде у входа в крепость, крохотном раю моих сновидений, который караулят охранники, закутанные в абай¹. Что делал там мой отец? Почему решил уйти и вернуться в город? В самом ли деле он был одним из защитников Тель-Хая?... Я помню, что как-то вечером к нам пришли двое крупных усатых мужчин в старых военных плащах и тяжелых башмаках, они очень долго говорили с мамой, пока я не за-

¹ Абая, аба — арабская одежда вроде плаща.

снул, а утром она сказала мне, что это были папины товарищи из Кфар-Гилеади. А потом мне часто доводилось слышать: а, сын Шаула Рабиновича из Кфар-Гилеади... Да, отец был героем моих грез, и спустя несколько лет, в своих первых, незрелых рассказах его образ выливался в некоторых героях, но не находил воплощения. Убогим, карикатурным выходил он из-под моего пера. Не по моей вине насмеялся он надо мной, а я над ним.

Но к матери я испытывал слепую неприязнь, стыдился ее. Когда я учился в гимназии, ее как-то вызвали: в наказание за то, что я издевался над несчастным учителем биологии; когда я увидел ее издалека, я убежал и прятался в уборной битый час. Потом, когда мне сказали товарищи, что меня искала мать, я ответил им: не может быть; как она выглядит? Когда мне описали ее, я сказал, что это была не мать, а наша родственница, приехавшая из Польши. До сих пор не пойму, как это ей удавалось четыре года платить за мою учебу в гимназии на доходы от ее убогой торговли; но чем больше она мне давала, чем сильнее она меня любила, чем больше заботилась обо мне, расхваливала меня мне самому, соседям, товарищам, которые приходили ко мне, — тем грубее я с ней обращался. Все, все меня раздражало — ее разговоры, ее молчание, ее мягкий печальный голос, ее бесконечное терпение, ее приглушенные стоны за перегородкой, ее мысли, которые я мог читать, когда она лежала, не засыпая; ее дурные сны, которые и я мог видеть, ее заботы обо мне, заботы, заботы... Не мучали ли меня угрызения совести? Да, мучали, но как правило тогда, когда я был далеко от нее, не варился с ней в одном соку; но и тогда я откладывал искупление вины на будущее, на те времена, когда я буду великим и знаменитым: тогда я построю ей замок на вершине горы, как можно дальше от меня, там она не будет знать ни забот, ни нужды, там проведет она в спокойствии остаток дней. Когда я уехал в кибуц, кажется, я сделал это не из положительных побуждений, а для того, чтобы уехать

подальше от нее; или чтобы огорчить ее, потому что она утешала себя мыслью о том, что я буду учиться в университете. С фанатическим рвением отвергал я ее уговоры. Университет! — возопил я — когда из Хулды тащат оружие! Когда окружают Рамат ха-Ковеш! Что бы сказал на это отец?... Достаточно было упомянуть отца, чтобы она опустила глаза и замолчала. Как-то в субботу — о, черная суббота! — она приехала навестить меня в кибуц... Я вынужден был сидеть возле нее в столовой целых четыре трапезы! Водить ее к плитам, потому что ей захотелось поглядеть на кухню! Показывать ей птичник, коровник, посадки бананов, склад с одеждой! Стоять возле нее, когда она встречала товарищей на дорожках поселка и пускалась беседовать с ними! Субботнее утро было потеряно, а после обеда, подумав о том, что если она останется здесь на весь день, то я упущу и субботний сон (одну из компенсаций трудовой жизни, к которой никак не могла привыкнуть моя ленивая натура) — я пустился бегать по лагерю в поисках машины, идущей в Тель-Авив. Нашел; и пользуясь доводами об экономии, я убедил ее ехать на попутке. Так я омрачил ей день, о котором она мечтала, и я помню, как она прощалась со мной — грустная, с тяжелым сердцем, с влажными глазами, помахивая мне рукой из окошка.

Потом в армии... Не из-за страха ли смерти подобрел я к ней? Мне кажется, что это была единственная счастливая пора в ее жизни со мной, хотя она тогда и глаз не смыкала, и боялась за мою судьбу. Я приезжал в коротенькие, внезапные увольнительные с позиций в Негеве, я говорил с ней так, как никогда прежде, рассказывал ей о боях, подбодрял ее, утешал, целовал ее — и приходя, и уходя. "Йонес", — цеплялась она за руку, точно боясь, что смерть отнимет меня у нее. "Я знаю, мама, знаю", — целовал я ее в лоб. "И пиши побольше, не скупись". Я писал помногу и не скупился.

Но потом, когда я уже учился в университете, все пошло по-прежнему. В Иерусалиме у меня были Рита, Шула, Ноа, а ее мне надо было изгонять из размышле-

ний, чтобы не вскакивать во гневе с кровати. Да, во снах она все-таки появлялась. Всегда красивее, чем была на самом деле, всегда в роскошном одеянии. Как-то я увидел ее на балу, во дворце русского царя; на руках браслеты, белое шелковое платье до самой земли; она шла под руку с усатым офицером. Когда я увидел ее, она покраснела и сказала: познакомься, это твой отец. Мой отец умер, ответил я дрожа, умер. Офицер улыбнулся лисьей улыбкой и возразил: ты ошибаешься, сынок, я был в Каменец-Подольске, да, в Каменец-Подольске... В другой раз я видел ее играющей в карты в обществе почтенных дам; на ее обнаженных плечах лежала розоватая шаль. Она бросила на столик пятерку червей, а на нее — бубновую пятерку. Я стоял за ее спиной и шептал: Короля! Короля! Она нежно улыбнулась мне и заметила через плечо: ты имел в виду джокера, сынок, джокера...

Работая в Негеве, я познакомился с Ахувой, которая была тогда воспитательницей в детском саду; как-то на субботу я привел ее к матери. Мама так разволновалась, что румянец, засиявший на ее щеках, сделал ее молодой и красивой. Она приготовила нам праздничный ужин, а за едой не прекращала расхваливать меня. Было кому слушать; и перед Ахувой предстал образ не только высоко одаренного, но и прекрасного во всех отношениях человека, которому суждено стать превосходным мужем. Я проводил Ахуву домой, к ее родителям, а вернувшись, обнаружил, что мать не спит, а сидит и читает вечернюю газету. Она сняла очки, нежно глянула на меня и попросила: "Налей мне, пожалуйста, Ионес, стакан чаю". У меня чуть слезы не потекли: это был один-единственный раз за всю ее жизнь, насколько я помню, когда она попросила меня подать ей чай к столу. Да, она очень полюбила Ахуву, а та отвечала ей вдвое большей любовью, почитая ее, как мать. Никто никогда так не угождал ей, как Ахува в те дни. Осыпала ее подарками — платками, салфеточками, домашней утварью, которой ей недоставало — никогда не приходила с пустыми руками. Она мыла

посуду после еды, убирала комнаты, украшала их. А после нашей свадьбы силой тащила меня навестить мать по крайней мере раз в неделю, а потом завела обычай приглашать ее к нам на субботний вечер. Это была слишком короткая весна, пришедшаяся на последние ее дни. Снова овладевала мною злость в ее присутствии, как в детстве. Я сидел и злобно, упорно молчал или находил различные поводы выйти из-за стола, оставляя им их женские разговоры. "Какое странное у тебя свойство, Ионес, — сказала мне как-то Ахува. — Ты злишься на тех, кто любит тебя..." Через несколько месяцев после нашей свадьбы мама заболела и умерла. Точно сказало ей сердце — ее наивное сердце, которое не догадывалось о том, чем чревата судьба, — что она передала меня в надежные руки и задача ее жизни выполнена.

23

В Ханиту я приехал после обеда, через несколько дней после той ночи с Нили, после того утра с Руди. Со всех сторон надвигались деревья — орешники и дубы, боярышник и клены; в воздухе стоял прохладный запах сосен. Где-то далеко-далеко дурным сном витали проспиртованные ночи "Подвальчика", больные рассветы моего жилища, ожидания, биения сердца, обдающие лоб холодным потом. Небеса вздымались над Джебель-Лахлахом, над Джебель-Мардой, над Тель-Алхава и Сахль-Беной, а за горной вершиной проглядывали зеленые долины Юга и Запада, до самого синего моря, лижущего белые скалы. Мы сидели в соломенных креслах в санаторском саду, тени становились все длиннее, птички рулады слетали с шепчущих верхушек, бьющих шишкой о шишку. Нахум Долев не хотел ничего рассказывать. "Послушай, — говорил он, — не обо всем можно писать. Бывают такие истории... Слишком мало времени прошло... Люди еще живы... Это не так просто..." Я умолял его. Он колебался. Терял перстами

светлую шевелюру. Задержал взгляд на диком кусте орешника. Достал из кармана пачку сигарет. "Послушай, — сказал он, — Давидов — это Давидов. Все мы это знаем. Человек, который превратился в легенду... в символ. Нельзя же так вот вдруг... Ты понимаешь, то время, которое он провел здесь... Остался какой-то неприятный осадок... Понятно, такие вещи случаются, а может быть как раз... Но тогда... Все это было слишком в открытую, не ждали от него... Особенно в тех условиях... Я понимаю, что в биографии надо показывать и обратную сторону, слабости и все такое... Но в том случае... Не просто... Может, пропустишь этот эпизод с Ханитой... Или просто напишешь, что он провел здесь два месяца со дня заселения до середины мая, работал, сторожил, ходил на Джердию с Уингейтом... И все тут..." Только когда я дал честное слово, что покажу ему эту главу прежде, чем она пойдет в печать, согласился рассказывать.

Скандалная история в Ханите, которая все равно не вошла бы в книгу, даже если бы я ее написал, развивалась так:

Давидов был в той колонне из четырехсот человек, которая вошла на гору пешком в день заселения, 23 марта 1938 года. Вместе с другими добровольцами со всех концов страны таскал бревна, листы жести, мотки проволоки и инструменты по склону горы, по тропинке, протоптанной сквозь толщу дикого кустарника. Он хорошо запомнился всем в тот день, потому что его голос долетал от головы колонны и до ее хвоста — песней, взбадривающими окриками, понуканием ослов, несущих баки с водой. Запомнилась и сила его рук, поднимавших чугунный молот, чтобы вбивать столбики ограды в скалистую землю. Ночью, близко к полночи, разыгралась сильная буря, повалившая палатки, разметавшая жесь и разорившая стоянку. Сразу вслед за этим началась атака. Давидов стоял на посту вместе с Нахумом, и, когда с западного поста слышались сигналы тревоги, они вдвоем бросились туда и нашли Бренера, залитого кровью.

В следующие дни он стал дозорным, ходил с ружьем. Болтался по постам, гулял по окрестным хребтам, охранял геодезистов, строителей стен из жести и гравия. Будучи специалистом по подрывной части, он помогал на прокладке дороги, выбивал щели и закладывал в них динамит. В большой степени благодаря ему эта работа была выполнена — несмотря на пули, летевшие весь день с далеких позиций каких-то банд на хребтах — всего за пять дней. Когда у родника внизу устанавливали мотор, он был с механиками, помогая им советом и делом; и все хорошо помнят, как в час, когда вода поднялась к лагерю, он смеялся, как ребенок, разделся, стал нагишом под струю и освящал прибывшую воду собственным телом. В первую же субботу — пропал. Отправился утром в Верхнюю Ханиту и не вернулся. Послали искать его, и не нашли. Когда вечером он вернулся — рассказал, что пересек ливанскую границу, добрался до садов Альмы и поел фруктов. Ему не верили, но косынка, полная плодов мушмулы, подтверждала его слова. Чудная земля по ту сторону Джебель-Марды потрясла его воображение. Он называл ее Джебель-эль-Хейр — доброй горой, которая в недалеком будущем будет включена во владения Ханиты. "Он был пьян, понимаешь... Пьян от пейзажа, леса, гор... И ведь это было весной, а весной здесь зеленеют все пустоши, цветут шалфей и орхидеи, весь день жужжат пчелы... Особенно в той обстановке, когда нас было здесь девяносто человек, спали в палатках или на позициях, ели в шалашах из соломы, да еще арабские шейхи и английские конные охранники... В долинах — крохотные пшеничные поля, которые жнут серпами... Я помню, как-то охраняли мы жнецов Эйн-Хора; вдруг положил он ружье на камень, схватил серп и принялся жать, точно с цепи сорвался, а когда наступил перерыв, он вонзил серп в землю, встал и сказал речь... С театральным таким пафосом: Братство крови с горами... Война запустению... Дыхание истории... — Смеялся, конечно; а когда ребята захлопали ему в ладоши, покрыл их по-арабски в три этажа, так

что эхо по горам разнесло... Но для него все это было не в шутку,, Он был пьян, просто пьян... А может, и нельзя обвинять его, кто знает?...”

Среди добровольцев из Хайфы была девушка по имени Ариэла — санитарка, жена И.Л., одного из директоров Солель-Боне, отвечавшего за поставку стройматериалов и техники на участок. Она была неистова, эта красавица — веселая, смешливая и темпераментная. “Если бы все это держалось в тайне — может, и не было бы в этом ничего, — рассуждал Нахум. — Случается... И есть вещи, за которые нельзя осуждать... Но тут — это было прямо под солнцем, у всех на глазах, безо всякого удержу... Видели, как они гуляют вдвоем в рощице, сидят в столовой за одним столом, вместе отправляются на пост... Иногда он брал ее с собой в Бацу, когда ехал в полицейский участок или за продуктами... А потом в Верхнюю Ханиту... А ведь И.Л. был не кто-нибудь... Удивительно преданный человек, с таким сердцем! Почти каждый день он приезжал на участок, занимался о том, чтобы материалы поступали в срок, спрашивал — может, не хватает чего, помогал, давал советы; если бы не он — не построить бы нам стену и бараки меньше чем за две недели. А потом и генератор, и столовую. И все это благодаря ему. А вспомни, в каких это было условиях. Каждая поездка на участок и назад была большим риском... Конечно, он ничего не знал. Приезжал на час-другой и возвращался в город. Слишком он был занят... Ты понимаешь, не беру я на себя право решать — что этично, а что нет, но есть такие вещи, как бы это тебе сказать, что это просто противоестественная наглость, если можно так выразиться...”

В Верхней Ханите стоял тогда большой каменный дом, в котором жили арабы-арендаторы. Они не хотели выезжать из него, если им не выплатят значительную компенсацию. Каждый день приходили к ним из нижнего лагеря торговаться, а те все повышали цену. Поставили на крыше двух охранников, устроили заграждение из мешков с песком и оставались в доме. Как-то

Давидов предложил завладеть домом силой. Поднялись наверх человек двадцать с мотыгами, молотками, кусками кабеля и мешками с песком. Вошли во двор, начали сооружать укрепление. Окружили его окопами и забором, стали укреплять стены. Когда арабы заупрямились, захотели остаться, те вытащили их вещички во двор, погрузили на ослов — и хозяев, и добро — и отправили их через границу. Так была захвачена Верхняя Ханита. На крыше был установлен прожектор, и две Ханиты обменивались сигналами по ночам, светя с лагерьной башни и с крыши дома. Давидов перешел наверх. Теперь он отправлялся отсюда сопровождать геодезистов, грузовичок, осуществлявший связь между двумя участками, охранять трактор, работающий на спорной территории. Иногда завязывались перестрелки с бандами, разместившимися на северных хребтах, или драки с арендаторами, жавшими нашу пшеницу, и с угольщиками, резавшими ветки в лесу.

Давидов требовал, чтобы санитарку перевели в Верхнюю Ханиту. Ариэла просила, чтобы ее перевели наверх. Отказали и ему и ей. На заседании правления намеки перешли в открытый скандал: этот пошленький роман отравляет атмосферу, нельзя этого больше терпеть. Когда прокладка шоссе между двумя участками была завершена — устроили пир горой в новой столовой. В ту же ночь — после пения и танцев — Ариэла была "похищена" и отправилась наверх с Давидовым. После этого она дни стала проводить в Нижней Ханите, а ночи — в Верхней. Снова этот вопрос был поднят на совещании. Некоторые товарищи предлагали отправить домой Давидова, или Ариэлу, или обоих. Из уважения к Давидову, из уважения к И.Л., из-за опасения, что это выйдет за пределы лагеря и превратится в крупный скандал — предложение отклонили. Давидов устроил шалаш в кроне ветвистого дерева и превратил его в брачное ложе для себя с Ариэлой. С заходом солнца он спускался в Нижнюю Хагиту, забирал свою голубку и поднимался с ней наверх. Когда в лагере спрашивали — где Ариэла, шутники отвечали: Ариэла? В стоянке Давидова.

— Беда в том, что все это было слишком в открытую, — повторил Нахум. — Они не стыдились, не прятались... Оба они были одной породы — цыгане, казаки или что-то в таком духе; вольные, горячие, откровенные... И никакого им дела не было, и никакого чувства вины... А может, так оно и должно быть, я откуда знаю... Может быть, так гораздо честнее, чем прятаться... Но для нас... Понимаешь, это все нас сделало против нашей воли, даже к нашему огорчению, соучастниками, заговорщиками... Потому что когда И.Л. приезжал в лагерь — а приезжал он очень часто — никто, понятно, и не намекал ему на это... Иногда мы даже помогали им, когда вынуждены были скрывать это дело, пользуясь всякими мелкими уловками... Так что на самом-то деле *мы* были грешниками, а они-то... Надо иметь в виду весну, пейзаж, всю эту романтическую обстановку... Патрулирование в поле, ночные вылазки, лес, полнолуние, Галилея и все такое... Кто знает, теперь, когда глядишь на это издали... — Нахум улыбнулся, точно слегка смутившись, сжал в пальцах хворостинку и щелкнул. — Вот смотри, на Пасху они разъехались по домам — и он, и она. Сразу после праздника — в тот день, когда убили четверых ребят, ехавших на грузовичке в Нахарию, — Давидов вернулся и привез с собой сына, которому было тогда лет десять—одиннадцать. Взял его с собой в шалаш, в Верхнюю Ханиту... Это был занятный мальчик. Серьезный, молчаливый. Старше своих лет. Сопровождал отца, куда бы тот ни шел. Вот и сюда тоже... Все-таки странно... Ведь не грудной уже... Видел, понимал... Десять дней он здесь пробыл... Да, тот, конечно, сделал ему отдельный шалаш — на другом дереве, но все-таки... А, что я в этом понимаю...

Как-то, недели через две после того, как Нимрод вернулся домой, в нижний лагерь неожиданно приехал И.Л., часов в десять вечера. Аризлы он не нашел. Ему сказали, что она в Верхней Ханите, и предложили выслать за ней пикап. Он отказался, сказав, что поедет сам, на своей машине. С башни в Верхнюю Ханиту

просигналили: "К вам едет И.Л. Постарайтесь предотвратить катастрофу". Тот, кто там, в Верхней, принял этот сигнал, — не то не понял, не то не захотел понять, и не предупредил того, кого следовало. Когда И.Л. приехал наверх, и тут не нашел Аризлу. Кричали, звали ее по имени, но прошло еще довольно много времени, прежде чем она пришла к каменному дому — вся расстрепанная. Что там у них было, никто не знает. Видели, как они молча вышли из дома, а потом покатили в темноте по склону горы. Дня через два Давидов собрал вещички и отправился в сторону лагеря строителей Северной стены.

24

В Аелет-ха-Шахар мне рассказали о Северной стене. Мундик был человеком трудной судьбы, скупым на слова. Старый командир, вернувшийся к черной работе в винограднике, теперь он изнывал и от солнца, и от воспоминаний. Вечером, сидя в своей комнате, он очень хотел отдохнуть; его тяжелые руки покоились на поручнях кресла. "Не так уж много есть мне, чего рассказать, — заявил он. — Он был с нами от Малкийи до Бацы Бет, до самого конца. Что же мне рассказать-то тебе?" — задумался он.

Когда стена дошла до Тарбихи — поведал он — налеты участились. Окрестности кишели бандитами; они, вместе с крестьянами пограничной зоны и с той, и с этой стороны, чуть ли не каждую ночь устраивали диверсии, проделывали лазейки, разваливали большие участки ограды. Они минировали дороги и крали стройматериалы. Мундик, Давидов и еще три охранника на одном броневишке патрулировали вдоль стены по ночам. Как-то ночью броневик проезжал мимо Барама, наткнулся на барьер из камней, сумел объехать его, а через несколько сот метров уткнулся во второй барьер и, объезжая, опрокинулся. Их захлестнуло лавиной огня, двоих сразу же ранило. Давидов выбрался из пере-

вернутой машины и под огнем помчался в сторону полицейского участка Бар-ама. Добрался туда, вызвал подмогу. Вернулся с двумя броневиками, и в результате боя банда была отброшена, оставив на поле шестерых.

Что же еще?

Да, как-то был дефицит воды для замески бетона. Около Сасы. Спустились на двух грузовиках к дождевому озеру около деревни и начали заправлять баки. Собрались крестьяне, подняли большой шум, утверждая, что это их вода. Водовозы стояли на своем, поскольку получили разрешение от властей. Вспыхнула драка. Тут приехал броневик, там как раз был Давидов. Когда ситуация обострилась, Мундик хотел открыть огонь. Давидов удержал его. Эта вода принадлежит крестьянам, — сказал он, — и их права на нее важнее, чем разрешение властей. Он предложил заправиться водой, но заплатить. Заплатили, зато избежали кровопролития.

Что же еще?

Да, еще в Хурфейше. Стена, которая строилась быстрыми темпами — несколько сот метров в день — подбиралась к табачным плантациям Хурфейша. Собирались уничтожить плантации, чтобы расчистить дорогу для прокладчиков. Давидов приехал туда как раз тогда, когда рабочие начали корчевать посадки, с криками набросился на них и повырывал мотыги из рук. Вopil, что они не понимают, что такое труд. Труд — это труд, и нет никакой разницы — чей он. Проведете стену северней или южней, а посадок не губите. Поставил этот вопрос перед руководством, и решено было внести в план поправки. В Хурфейше это до сих пор помнят.

Аналогичный случай был и в Неби-Рубине. Когда вели стену между Мансурой и Неби-Рубином, загородили дорогу женщинам, приходившим черпать воду из источника с другой стороны границы. Те пришли со своими кувшинами, как водилось испокон веков, собираясь обеспечить свою деревню водой, и обнаружили, что путь перекрыт. Давидов похлопотал за них,

и благодаря ему в стене проделали ворота, через которые те проходили под надзором охраны раз в день.

Что же еще? Мундик неспешно курил. В морщинах его лица запечатлелись воспоминания целого поколения, но казалось, что ему лень прерывать их сон. Он был приучен утаивать, выбалтывать было не в его натуре. С тех пор прошло лет двадцать. Теперь существовал только виноградник. Царство земляных комьев, подпорок и ветвей, в которое я вошел, чтобы извлечь его из привычного окружения. "Вот, кажется, и все".

Может, все-таки, еще что-нибудь?

Нет, это все.

Он продолжал курить, погрузившись в себя. Ствол его тела после шестидесяти лет деятельности высох, но был еще крепок. Мундик привык к молчанию еще с тех времен. "С Дотаном ты встречался? — спросил он сквозь клубы дыма. — Повидайся с ним. Ему есть что рассказать".

Потом заговорил:

— В первый месяц, когда мы были в Малкийе, я и не знал, что он здесь. В лагере было около тысячи человек. Сборище рабочих, сторожей, шоферов, начальства. По большей части, новоприбывшие; говорили на идиш, немецком, польском, по-арабски. Целый палаточный город. Старожилов было не много: ребята из ФОШа и подкрепление из кибуцов. Терялись в общей массе. Может, палаток десять из ста пятидесяти. Только когда мы подошли к Сасе, я наткнулся на него. Совершенно случайно.

Тусклый, скудный отблеск далеких дней озарил его лицо.

— Смешной, вообще-то, случай. В полдень вдоль стены проезжала цистерна с водой. Останавливалась каждые сто метров, и все рабочее — разметчики, вбиватели столбов, крепители проволоки, "моточники" — стекались с участков, держа в руках кружки, и пили. Всегда там были крики, ссоры, драки, потому что воды никогда не хватало. Проклинали Моше, как во время исхода из Египта. Как-то я ехал в броневикуе вслед

за цистерной, патрулируя между сторожевыми постами, наблюдавшими за хребтами гор. Цистерна стояла на некотором расстоянии впереди нас, и рабочие уже набросились на нее. Вдруг я увидел справа, в просвете между столбами, одного-единственного человека, запутавшегося в мотке проволоки. Мы остановились. Я вышел из броневика и подошел посмотреть, что случилось. Это невозможно описать. Человек прямо-таки застрял в катушке. Скрючился, свернулся, зацепившись одеждой за колючки проволоки. Когда он увидел меня — улыбнулся, точно попавшись с поличным. Я, говорит, запутался. Придется вам, ребята, выручать меня. Тут-то я его и узнал. Смешно было найти такого человека в подобной ситуации... Было в этом что-то странное... Нелегко мне это объяснить...

Снова тяжело задумался, окутанный клубами дыма. Потом сказал:

— Я удивился тому, что он решил работать "моточником". Черная работа — укладывать мотки с проволокой между рядами столбов, — а ведь его место было в охране, с ребятами из ФОШа. Не знаю, что его на это толкнуло. Может, хотел "быть с народом", как говорится. Жил в одной палатке с укладчиками мотков. Спал, как и они, на соломенном матраце, прямо на земле. В лагере я видел его несколько раз, рано утром, после сигнала горна, он стоял в длинной очереди перед кухонным окошком с судком в руке. Или вечером, в длинной очереди к умывальникам. Несколько раз я предлагал ему присоединиться к патрулю, но он отказывался. Только позже, когда стена подошла к Тарбихе — поднялся на броневик. И то под влиянием молодого английского офицера, с которым подружился...

Морщины на лице Мундика разгладились, когда он скинул с себя груз воспоминаний.

— В последние две недели мы стояли у Бацы-Бет, — продолжал он. — Настроение было печальное, знаешь, как перед расставанием. Как-то стояли мы вдвоем у стены, глядели на нее... Точно серебряная, искрящаяся река, тянущаяся до самого горизонта... Он спросил:

”Может, ты знаешь, для чего мы ее построили? Ни барьер, ни стена, ни граница. Банды преодолевают и более сложные препятствия. Через несколько лет она все равно поржавеет, прогнет и обвалится. Для чего же, в таком случае? — Может, для того, чтобы здесь остался памятник идиотизму британской администрации?...” Тебе не случалось проходить там в последнее время? Так оно и вышло... А тогда ее называли стеной. Стена Тэггарта...

— Вот, кажется, и все.

А потом добавил:

— В Баце мы пробыли неделю, но в Ханиту он ни разу не поднялся. Как-то, когда я пошутил насчет этого, он ответил: ”Глупости. Девичья весна раз в жизни бывает. У Ханиты она уже была”. Не ходил туда, хотя знаком был там со всеми... Странно, у этого человека было так много товарищей, а по-настоящему — ни одного друга...

25

Судьба издевается надо мной, и подлости у нее не меньше, чем чувства юмора. Сначала она подставляет мне ножку, а когда я падаю, дает мне еще и пинок в зад. Очень забавное зрелище! Сегодня, за пять дней до очередного заседания суда, я получил заказное письмо из налогового управления — министерство финансов, служба взимания, старший исполнитель: поскольку за два истекших года я не подавал отчета о моих доходах, их оценивают в пятнадцать тысяч лир и — ”настоящим уведомляю, что если в течение пяти дней со дня отправки этого письма Вы не уплатите налог в размере 3.350 лир, я буду вынужден прибегнуть к параграфу 5(4) Положения о налогах (взимание), дающему право на конфискацию имущества, доходов” и т. д. и т. п. Три-тысячи-триста-пятьдесят-лир! А всего-то сколько у меня осталось? Я глянул в банковую книжечку: 873,50 — вот и весь остаток. Полтора года я

жил за счет Давидова, а с тех пор — я ем, но не работаю, плачу адвокату, покрываю судебные издержки — и ничего не зарабатываю. Резервуар опорожняется с той же быстротой, что и водоемы Негева. Даже если я им и докажу, что я получил всего девять тысяч лир, все равно мне придется заплатить больше, чем у меня есть. Я тут же побежал к адвокату, показал ему письмо. Он глянул на меня, улыбнулся и сказал: Не волнуйтесь. Уладим. — Как же! Ведь пять дней! — закричал я. — Пять дней! — Прежде всего подадим просьбу об отсрочке, — сказал он. — А там посмотрим. За *это* никто вас в тюрьму не посадит... И на том спасибо. С адвокатов хоть та польза, что ты не остаешься в одиночестве, один на один с колоссальным механизмом, который все норовит раздавить тебя.

26

Возвращаюсь к Нили, к братии. Все запуталось еще крепче после того утра с Руди. Нили сделала мою комнату своим убежищем, гнездом своих отверженных страстей, конспиративной квартирой, куда она сбегала, чтобы найти поддержку; своим отелем, своей гаванью. Свое время — нет, свое сердце! — она делила между Эвьятаром, мной и собственным домом. Все стало еще сложнее, потому что ночи она часто проводила у меня (своему маленькому сыну она наняла "кормилицу" на деньги, добытые у своего отца), а по утрам — или в другое время в течение дня — встречалась с Эвьятаром. Все стало всемеро сложнее, потому что часто мы встречались втроем, в маленьком ресторанчике неподалеку от моего жилья, или ходили в музей или в кино на дневной сеанс. Это, конечно, было очень забавное зрелище — и повод повеселиться всем, кто нас видел — когда мы шли по улице втроем: чернобородый с одной стороны, светлорылый — с другой, а посередине девушка с золотыми волосами. Нечто противоестественное — решит читатель; нынче так думаю и я. Но тогда

голова моя не была столь ясной. Я находился в каком-то сумеречном состоянии, точно ходил с высокой температурой: в глазах у тебя туман, логические связи нарушены, и все делается как-то неестественно. Ты не обращаешь внимание на то, что подумают или скажут люди. Не вполне реальное существование, когда все, что окружает тебя, меняет свои естественные размеры и цвета. Иначе как мне объяснить мои отношения с Нили, когда она влеклась к Эвьятару, оставаясь женой Руди? (А я ЛЮБИЛ Нили, да, я вправе писать это полностью большими буквами! А она ЛЮБИЛА Эвьятара — и это я вправе писать полностью большими буквами!) Иначе как же мне объяснить, что, несмотря на ревность, пылавшую во мне, я не испытывал вражды к Эвьятару; мало того, что-то вроде негласного товарищества связывало нас. И как объяснить мне, что в те часы, которые мы проводили втроем, погружаясь в тихую беседу за ресторанным столиком (напряжение, напряжение тайных, неизвестных встреч, страстные ночи во тьме — все это дрожало лишь подспудно, уступая осторожной, испытующей беседе), — были среди лучших часов из того, что запомнилось мне с тех времен?

Да, беседы с Эвьятаром над чашками со стынувшим кофе. Фраза и молчание, фраза и напряженное раздумье. Нили тоже робко вставляла слово, поднимая взгляд то на него, то на меня. Втроем мы спускаемся в подземелья, нащупывая дорогу. Камерная музыка в рисунках Брака. Мощь романских фресок. Почему искусство эпохи Ренессанса воздействует на нас все слабее, зато растет влияние средневекового искусства. Почему добаховская музыка говорит нам сегодня больше, чем Бетховен и Моцарт. Вот Монтеверди, Персель... Или гротески Босха... "Нравственное" и "безнравственное" искусство... Или в чем тайна магии повествования. В *сходстве* ли с подлинной действительностью, знакомой нам, или наоборот, в том, что отличается от нее... Этот разговор я хорошо запомнил, быть может потому, что Эвьятар привел в качестве примера

цирк, вызвав у меня щемящие ассоциации. Магическая сила повествования — сказал он — достигается не тем, что пишется *правда*, пусть даже и очень талантливо, а тем, что пишется *неправда*, но неправда со своими законами гармонии, внутренний ритм которой зачаровывает нас. Подобно цирковому фокуснику — сказал он. Мы все знаем, что перед нами — обман зрения, но все мы очарованы, потому что нас пленяет некая гармония, волшебной палочкой подчинившая нас своему ритму. Это и есть истина, скрытая во лжи. С другой стороны, существует ложь-в-виде-истины. Писатель перечисляет "истинные" события, взятые из действительности, то, что было на самом деле, так, как это было; но он лжец, потому что это плагиат. Он пытается подражать чужому ритму, уже существующему в действительности, божественному, так сказать, ритму, которому подчинена природа. Разумеется, такая попытка обречена на неудачу, потому что она слабее оригинала, потому что это фальшивка по отношению к оригиналу. Лучшие рассказы — всегда ложь, вымысел, фантазия, изобретение. И все-таки они — истинны, потому что в них есть проявление внутреннего ритма автора, и если он этому ритму будет верен — не соврет. Гармония — новая, личная, не известная до сих пор гармония — это и есть тайна рассказа и стиха, музыки и картины, и мы уже не спрашиваем, "похожи" ли звуки или краски, или компоненты, или персонажи на то, что нам известно, или нет. И тогда нас не интересуют ни идеи, ни задачи, точно так же, как они не интересуют нас в природе. Гармоническая иллюзия, гармоническая "ложь"... Не так ли?

Не так ли?... Эвьятар не выносит решений, хотя его умудренность бросается в глаза в примерах и доводах, которые он приводит. Нет, он предлагает тему для обсуждения. Да и нет. Мы еще не рассмотрели предмет во всех аспектах. А может, это все совсем не так, и мои слова вообще ничего не стоят.

— Но смотри вот, Эвьятар, — прерывает Нили молчание, в которое все мы погружаемся, раздумывая над

тем, что было сказано, каждый наедине с собой. — Это верно, конечно, то, что ты сказал. Но мне кажется... Смотри, ты привел пример с фокусником. Ложь, которая очаровывает нас. Но в том же цирке есть еще и канатоходец... Это уже не "ложь". Это "истина", "действительность", и все-таки это очаровывает нас... Я пытаюсь размышлять: в чем именно здесь разница, то есть, между способностью придать определенную последовательность известным событиям и... Не то, чтобы я с тобой не согласна, просто есть и другие примеры... Возьми Бальзака. Папаша Горио или Евгения Гранде. Именно потому, что предмет и люди так *знакомы* нам... Тебе так не кажется, Ионес? — поворачивается она ко мне.

Ионесу ничего не кажется. Он видит цирк. Его кровь кипит, когда он вспоминает об этой паре, сидящей тремя рядами ниже, прижимаясь друг к дружке; когда он пытается представить себе, где они встречаются *без него*, чем они тогда занимаются...

— Да, Бальзак, — заставляет он себя принять участие в разговоре. — Но Эвьятар прав. Иными словами, у Бальзака... главное не в конкретном материале, а в "определенной последовательности", как ты сказала, а это уже снова его *собственный* ритм... подчиняющий, так сказать, действительность...

Да, я вынужден сознаться, что была значительная доля лицемерия в этом благородном, ученом, добродетельном спокойствии, сводящем на нет всякое дурное, постыдное возбуждение; спокойствию, в которое я облакался. Ревность? Горечь? Зависть? — Нет, упаси вас Бог подозревать меня в этом! Я как бы говорил, точно Вагнер Фаусту: "Часы бессмысленных фантазий были и у меня, но склонностей таких я за собой не замечал". Когда мы с Нили оставались в комнате наедине, и я вглядывался в облачка, плывущие по ее лицу после какой-нибудь встречи с Эвьятаром, пытаюсь угадать, какие у них там творятся секретные дела, — мне приходилось надевать различные маски: старшего брата, исповедника, пронизательного непричастного пси-

холога — и все это, чтобы не уронить достоинства в ее глазах: мой голос — голос разума, уши — уши справедливости; я — ее верный советник, опора ее поверженного сердца. Я помню, как-то после обеда она вошла в комнату, бросилась на кровать и уткнула голову в подушку, не сказав ни слова. Что-то у них там с Эвьятаром произошло. Что? — спрашивать ниже моего достоинства. И вот я сижу и жду, сдерживая сердце, точно придавив подушкой будильник, чтобы не слышно было его тиканья. Я знаю, что в конце концов она сама заговорит. Довольно много времени спустя — так что и слоновьи нервы лопнули бы от напряжения — она уселась, схватила пачку сигарет, раскурила, затянулась и тихо сообщила: "Между нами все кончено". (Я молчу. Топчу в себе мелкие язычки пламени преждевременной радости. Вытягиваю лицо — как я приучил себя — напуская выражение тревожного удивления.) "Что случилось?" — спрашивает в конце концов старший брат, волнуясь за сестру. "Ты себе не представляешь, Ионес, какой он эгоист, какой он эгоист..." — "Эгоист?" — удивляется верный друг Эвьятара. А потом она рассказывает по собственному почину: встретились. (Где? Где? — это всегда оставалось тайной. Всегда она заставляла меня бродить наощупь, без карты и компаса, вынуждая меня прочесывать весь город в поисках ее кафе, садиков, пляжей.) У них был долгий разговор, "выяснение отношений". Она требовала от него решить — либо-либо. Объяснила ему, что такое положение не может продолжаться. Он сделал вид, что не понимает. Почерствел. Заупрямился. Сказал, что он ничего не может поделать. "Тогда я сказала ему, что нам лучше не встречаться — и все тут". Нилины обеты! Часов сорок она оставалась верна своему слову. И разумеется, разумеется, через пару дней они встретились снова, и это, по-видимому, было бурное примирение, потому что придя ко мне, она выглядела совершенно иначе, и лицо ее излучало сияние. "Помирились?" — спрашивал всевидящий психолог. "Ах, он такой бестолковый, Ионес, такой бестолко-

вый. Он ведь младенец, большой младенец... Что же я могу поделывать, Ионес, я ведь *люблю* его!" — восклицает она, точно балованная девчонка. Старший брат улыбается, прячет свои яды поглубже и с ухмылкой прощает ошибки своей сестре-воспитаннице. Еще через минуту она усаживается подле него, гладит ему бороду: "Что бы я без тебя делала..." — и платит поцелуем за широту его всепонимающей, всепрощающей, всезнающей натуры. Через пару дней мы снова встречаемся втроем. Тихая, долгая беседа витает над чашками кофе — о тайной мудрости, вложенной в ивритские слова.

Теперь, когда я вспоминаю об этом, я хватаюсь за голову и спрашиваю себя: как я мог существовать в этом треугольнике, как мог выносить ее мучительные признания, гнет масок, резкие колебания температуры между ночами и наступавшими вослед утрами, эти догадки, эти ожидания...

Как-то я ждал ее у себя в комнате — она обещала прийти в три, но прошел и пятый час, и шестой, а она все не приходила; уже и сумерки начались, и тени вытянулись, и душа моя устала ждать, а еще больше — предчувствовать недоброе... Тогда унесли меня ноги к тому дому в южной части города, к дому Эфраима Авербуха, где, казалось, ждал меня приглушенный свет в ту минуту, когда я искал утешения.

Да, в окошках горел свет. Я притаился в тени, вглядываясь и оставаясь невидимкой. Семья сидела за столом. Ципора кормила младенца манной кашей, пачкая ему мордочку, — ложечку за ложечкой. Каша стекала на подбородок. Эфраим нарезал хлеб для двоих старших. Ципора попросила его что-то принести. Он вышел на кухню и вернулся с сахарницей. Дети поссорились между собой из-за ножа. Эфраим рассердился. Мотылек все кружился над лампочкой. Ципора кормила младенца в темпе, за которым тот еле поспевал. Обилие манной каши, обилие, прущее изо рта... Войти ли?

Они встретили меня дружным восклицанием. Борода! Могли бы и не узнать, смеялись они. Похож на какого-то английского артиста, — сказала Ципора,

впихивая ложку в младенческий рот. Шестилетний и восьмилетний мальчики уставились на меня с любопытством, точно на иностранца. Садись, покушай, почувствуй себя как дома — принесли хлеб, масло, сыр, помидоры. Сделай ему яичницу, Эфраим, ты не видишь, как он голоден? Какими судьбами?... (Такими вот судьбами — не слышно было шагов Нили, устала душа моя ждать наступления вечера...) Мотылек все кружился, а на столе поблескивали банки с простоквашей и ломтики сыра. Да желтый глаз яичницы слезился, глядя на меня. Я много о тебе думаю, сказал Эфраим, о твоей книге... Книге?... Да, сказал он, о той книге. Сначала он сомневался — тот ли я человек, потом твердо решил, что и впрямь тот. И другого никого нету. Фон, основа, ушедшие дни. Что я пишу сейчас. Теперь странно как-то пишут. Он читает иногда в журналах. И молодых тоже. "Я ничего не понимаю. Объясни мне хотя бы раз — чего они хотят? Чего им надо?" Беседы с Эвьятаром и Нили бродят в моей тяжелой голове. Разговоры в "Подвальчике", точно в желтом тумане. Независимость. Независимость. Глубинная истинность. Гармонический ритм. "Может, я идиот? — недоумевал Эфраим. — Но вот я иногда просматриваю стихи. Хоть убей — ничего не понимаю. Строка со строкой не вяжется. Никакого смысла. Слова, слова, и не знаешь, откуда это растет... Где они росли, писатели эти?... Я как-то сказал Ципоре — они просто смеются над нами!" О, святая простота! Что они понимают, что они понимают! Врата сада, того, где разноцветные попугаи поверяют друг другу свои тайны, где нечто непостижимое сияет меж ветвей — закрыты перед ними. Что они понимают в этом чудесном мире фантазии, мире лжи-которая-истина. У Ципоры от волнения, вызванного разговором, запыхали щеки. Она любит читать, но то, что она читает — раздражает ее: ни сюжета, ни героев, ни времени, ни страны, и жизни никакой нет, а ведь пишут для того, чтобы кто-то понял, не так ли? Почему когда она читает Ромен Роллана, или Достоевского, или Стейнбека, или "Давар"... Я упорно гляжу в тарел-

ку, набивая рот хлебом. "Или тебя, — сказала Ципора. — Вот ведь тот рассказ, "Герой нашего времени"..."

У меня хлеб в горле застрял. Мне надо уйти. Куда? Мир фантазии, полный очарования! Вещи, которых никогда не было, текущие, как подземные реки! Орфей, спускающийся в ад в поисках Эвридики! Где же сейчас Нили? В каком укромном уголке? Главное — это *внутренняя* истинность, — говорю я им, прихлебывая кофе. Писатель не может обманывать самого себя, — заявляю я и вижу Эвьятара. И Нили, в его объятиях. Писатель пишет *потому что*, а не *для того что*, — делаю я еще один глоток. "Это верно, насчет внутренней истинности, — соглашается Ципора. — Но когда я не ощущаю... никакой причастности к этому... А Толстой не стремился к внутренней истинности?... Я просто удивляюсь..."

Младенец уже сидел на ее коленях — сытый, млеющий от удовольствия. Он развалился, точно в кресле, на широкой полной груди, поглядывая на мое бородатое лицо и, видимо, забавляясь таким зрелищем; играя своими кривыми розовыми ножками у края стола. Мне надо идти, объяснить ничего не удастся. "Я провожу тебя", — сказал Эфраим Авербух и вышел со мной на улицу.

На улице — высокие небеса. Масляный запах исходит от мастерских, запертых на замки. Здесь раньше жил Рахамимов, здесь — Фридман с парализованной женой, здесь — плотник Блох, о дочери которого рассказывали, что она забеременела от араба из Яффы и закопала ребенка в саду в Абу-Кабире. В субботу, после обеда, мы отправлялись искать это захоронение под сухими листьями, шуршавшими по-змеиному. Там была прохладная тенистая листва, каменные желобки пахли гнилой водой. А еще арабский прудик. Как-то из-за толщи деревьев послышался грозный голос; это был, по-видимому, отец закопанного ребенка. Да, Блох живет здесь до сих пор, — сказал Эфраим, — состарился, мастерская сгорела, дочь — в сумасшедшем доме. Был уже восьмой час. Рано, слишком рано, чтобы возвращаться в пустую комнату. Пойдем, выпьем

немного, — предложил я.

Мы вошли в болгарский ресторанчик, ресторан Баруха Даниэля, где мне часто случалось есть, когда мама была слишком занята, или через много лет — когда я приезжал домой на короткие каникулы. Сюда заходили рабочие из гаражей и ученики из мастерских, я впитывал их рассказы, замышляя перенести это когда-нибудь на бумагу. За угловым столиком сидел я с Ахувой в наши первые дни, там она прельщала меня обещаниями зарабатывать на жизнь, чтобы я мог целиком отдаться творчеству. Барух Даниэль приветствовал Эфраима, а меня не узнал. "Закажем бутылку арака?" — воодушевился я. За компанию со мною выпьет и он. Он еще угробит меня своей невинностью, подумал я. Маленький ресторанчик оказался пуст, стены его были наполовину зелеными, наполовину оранжевыми, а над баром, как тогда, как всегда, поблескивали банки с маслинами, черными и зелеными, розовая маринованная репа и фиолетовые соленые баклажаны; большой, длиннокрылый комар вентилятора висел под потолком, мертвый, покрытый пылью. "Скажи-ка, ты не Рабинович?" — пригляделся ко мне Барух Даниэль, вытирая тряпкой стол. Он самый, кивнул я. "Борода, вот, — улыбнулся он, поведив рукой у своего подбородка. — Иначе я бы тебя сразу узнал. Давно тебя не видно. Где ты теперь обитаешь?" — "Здесь. В Тель-Авиве". — "Сюда не приходишь больше. Забыл нас, а?" — "Живу далековато, в северной части". — "Я тебя помню еще таким вот, — он выставил ладонь на высоту стола. — Приходил обедать у меня за четыре гроша, — он по-стариковски улыбнулся Эфраиму. — Четыре гроша — это был его предел. Тогда это были большие деньги! И девушку твою я помню. Милая, тихая. Как она поживает? Приведи ее как-нибудь. Они сидели здесь, — обратился он к Эфраиму, — за угловым столиком, и говорили, говорили, говорили. Все клиенты уже ушли, а они все сидят и говорят. Сколько у тебя детей?" Ни одного, ответил я. "Некогда детей делать, а? Такая вот теперь молодежь!" — а когда вернулся и поставил бу-

тылку арака, промолвил: "Я даже отца твоего помню. Больше тридцати лет прошло. Да, это был человек! Один на миллион такой бывает! Это был *душа*-человек!"

Эфраим выпил полрюмки за мое здоровье, поинтересовался — как у меня. Книга, рассказы и вообще. Я сказал, что хочу уехать из Тель-Авива. Переехать куда-нибудь — в Иерусалим, в Цфат. Может быть, в Беэр-Шеву, а то и в Эйлат. Здесь нет тишины, нет покоя, невозможно писать. Эта мысль ему понравилась. А именно: Беэр-Шева, Эйлат. Надо писать о современности, о новой стране, для которой клан старожилов является всего лишь конторским этажом. Старые, благоустроенные жители паразитируют на ее теле, сказал он. Пиявки, сосущие кровь. И о паразитах можно писать, заметил я, и о пиявках. Да, конечно, согласился он, но только когда видишь все тело в целом. И все в таком духе. Чем больше я пил, тем больше нравилась мне мысль о Беэр-Шеве и Эйлате. Я уйду в народ — забавлялся я в своем воображении, подогретом парами арака, — спущусь в рудники Тимны или к южной гавани, откуда корабли отчаливают в Офир. Солнечные печи, горы руды, пески пустыни, заблудшие стада, скалы Эдома, запыленные джипы, буйные марокканцы, прокаженные бандиты, шлюхи Чермного моря. Да, сказал я, проживу года два в Эйлате, поработаю на медных рудниках, по ночам буду писать самую великую книгу о пылающей, дикой, мирной стране. Книгу, от которой будет исходить сорокапятиградусный жар. Эфраим был всем сердцем на моей стороне, он видел меня воплощающим его сокровенные мечты. Не зря он верил в меня столько лет.

О, эта вера в меня! Это меня, наверно, и вывело из себя. Я уже не помню, как именно было дело. Кажется, он сначала спросил, вижу ли я Ахуву, и как она поживает. От арака я стал злее. На его широком, наивном лице я узрел обвинительное заключение. Нет, сказал я, с Ахувой я не встречаюсь. Я живу с одной замужней красавицей; у нее есть сын. Мы влюблены друг в дру-

га. Счастливы. Я видел, как серело его лицо, как разочарование сковывало его, лишая дара речи. Упавшим голосом он спросил, не собирается ли она развестись с мужем. Нет, ответил я. Так вот и живем. Она делит свои дни и ночи между мною и домом. "А он знает?" — спросил Эфраим. "Конечно!" — ответил я. С наслаждением, с мучительным наслаждением — подливая себе из полупустой бутылки — я описал ему то утро, когда испуганный Руди ворвался в мою комнату и застал ее со мной. "Я тебе не верю", — заявил он. Я усмехнулся. Его дурацкая совестливость, точно зеркало, сунутое под нос, побудило меня шмякнуть его о пол. Да, так оно и есть, я такой, весь как есть перед тобой, конец иллюзиям. Он промычал еще что-то о честности, о совести. Кажется, сказал даже — не обо мне, о ней — что она испорченная, беспутная. Потом я остался один.

Я не помню, как это случилось, что он ушел. Может, я обидел его тем, что обрадовался его порицаниям. Может, не смог вынести разочарования. Может, захотел быть подальше от грязи. Я остался за столом в одиночестве. Сидел и вглядывался в блистающую четвертинку. По ней плавали круги, точно красные блики на стенах материнского дома — по утрам, когда окно слегка дрожало от ветра. Безмерная печаль, исходившая от угрюмого вида зеленых стен, охватила меня. Много лет тому назад здесь сидел мой отец — душа-человек, один на миллион! — скуластый человек с длинными сильными руками; сидел со своими друзьями и рассуждал о защите южного Тель-Авива от громил из Яффы. А может, это легенда. И Давидов легенда, и все это враки, кроме где-то там ждущей меня пустой комнаты.

Я встал, намереваясь заплатить.

— Все в порядке, он уже заплатил, — сказал мне Барух Даниэль.

— Какой же это *порядок*? — громко крикнул я.

— А какой же тут *непорядок*? — скривилось в усмешке старческое, изъеденное морщинами лицо Баруха Даниэля.

— Какой же тут порядок! — брызнули у меня слезы из глаз. — Это непорядочно! Так не оставляют друга! Я же был его *гостем*!

— Перепился ты, господин Рабинович, а это очень вредно...

Помнится, стоя на улице, я еще колебался, куда пойти. Беспокойная, мутная мысль говорила мне, что следует вернуться к Эфраиму Авербуху и попросить прощения. Я отогнал от себя эту дурацкую мысль и двинулся на север, в "Подвальчик".

27

Это было, как в дешевой любовной оперетке.

Через три или четыре дня после того печального вечера с Эфраимом Авербухом я предложил Нили поехать вместе со мной в Эйн-Харод. Мне предстояло встретиться с неким Авраамом Бидерманом, который вместе с Давидовым принимал участие в некоторых заселениях тридцать девятого—сорокового года. Мысль о том, что она будет со мной — пусть всего несколько часов, вечером и ночью — вдали от моей комнаты, вдали от Эвьятара, от "Подвальчика", так что мы сможем погулять по террасным спускам после захода солнца, дойти до Гильбоа в шуршании роши у родника Харода, которую я помню еще с далеких дней, — эта мысль пленяла меня, как мысль об очищении. Нили отказалась. Она сказала, что ее тошнит от кибуцов — сидеть в столовой, под наблюдением сотен любопытных, подозрительных, осуждающих глаз, слышать со всех сторон шепотки, ночевать в чужой комнате, на чужой постели — нет, это все не для нее. И вообще, что она будет делать все то время, пока я буду записывать эти воспоминания. Будешь слушать вместе со мной, предложил я. Нет, рассказы о героях ей скучны. Нет ничего скучнее рассказов о героизме, сказала она. И если бы, мол, я прислушался к ее совету, я бы тоже бросил всю эту затею с книгой. Это непременно выйдет приключенче-

ская книга, которая сможет заинтересовать разве что подростков. Это задело меня. Я промямлил что-то о нашем долге перед прошлым, о том прошлом, что живет во мне... Романтика, сказала она, романтика, из которой давно уже песок сыплется. "Долг? — рассмеялась она. — Все мы живем благодаря тем, кто произвел нас на свет. Счастье наше только в том, что этот долг передается по эстафете и нам никогда не приходится выплачивать его! Если бы мне пришлось подумывать о том, сколько я должна своему отцу..." С горечью в сердце, не попрощавшись, расстался я с ней.

В четыре я приехал в Эйн-Харод, и пока Авраам Бидерман освободился от своих дел, пока мы расправились с ужином и вошли в его комнату, было уже около семи. Ровно в семь я начал записывать его повествование.

Летом сорокового года, начал он...

Нет, я пропущу эту главу. Все равно я помню из нее не так уж много. Я записывал то, что он говорил, не вслушиваясь. Он рассказывал о какой-то колонне грузовиков с людьми и стройматериалами, выходящей ночью из хайфских пригородов и ползущей по пескам вдоль финиковой рощи на берегу возле Акко... Рассказал о возведении башни при лунном свете, когда песок напоминал снежный сугроб, а волны шумели и лизали берег... Много рассказывал. Недоброе предчувствие насылало на меня мрачные видения. Что-то роковое происходит этой ночью в мое отсутствие. Я видел Нили с Эвьятаром в какой-то темной комнате. Поблескивают рюмки, кто-то шепчется... Ее отказ ехать со мной — хитрая уловка, чтобы выкроить себе ночное свидание... С нетерпением ждал я конца его рассказа, бешено водя пером по листу.

В девять он утомился. Я сложил листки и объявил ему, что обязан добраться до дому сегодня же ночью. Ночью? — поразился он, энергично возражая — почему ночью? Он уже приготовил мне комнату для ночлега, и как это в такой поздний час... Я сказал ему, что у меня нет никакой возможности остаться, потому что

в шесть утра мне надо выезжать в Негев, машина специально заедет за мной, я ничего не могу изменить... Испуганное, торопливое выражение моего лица — на котором, наверное, можно было прочесть и просьбу о спасении — видимо, убедило его. Сказал, что он сделает все, что в его силах, чтобы раздобыть мне попутку, по крайней мере до Афулы. Я ждал его у столовой. Решил, что, если машины не будет, я пойду пешком — до Афулы, до Хайфы, пусть даже всю ночь проведу в дороге — я должен добраться туда, обязан появиться там до рассвета. С полчаса он носился по территории в поисках одного из шоферов, или бухгалтера, или секретаря правления, иногда подбегал ко мне и сообщал, что еще не все потеряно. В конце концов нашелся доброволец с джипом, согласившийся подвезти меня до Афулы.

В десять я приехал в Афулу. Полицейская машина — не что-нибудь — довезла меня до Хайфы: маршрутных такси не было; я стоял на шоссе, ведущем в Нацерет, и после того, как всякие подозрения на мой счет рассеялись, я был впущен в машину. В одиннадцать добрался до Хайфы. Тащился по пустым, темным, ошеломленным улицам нижнего города — к стоянке такси. Вынужден был ждать — бесконечно долго, пока не заполнится машина. Заплатил за недостающего пассажира, чтобы ускорить выезд. Потом была долгая дорога, хлещущая в обратном направлении бесконечной тенистой аллеей; ночь, поддетая рогами фар. В два тридцать я подошел к дверям своего дома. В моей комнате горел свет.

О, какая дешевая комедия!

Подходя к дому, я услышал голоса, доносящиеся сверху. Я остановился, расслышав голос Лвии, рассыпающийся осколками: "Но почему ты сказал мне, что уезжаешь? Я хочу, чтобы ты ответил мне! Почему ты *соврал*, зачем ты хотел..." Ее перебил голос госпожи Зильбер: "Как вы смеете — в три часа ночи, когда все спят..." И снова голос Лвии, гремющий всей своей мощью: "Скажите это своему квартиранту; ему вы сдали

комнату, да? Ему...” И сердитый окрик госпожи Зильбер: “Постыдитесь! Ин-тели-гентные люди...” Я поднялся ступеньки на три, волнуясь, поражаясь, пытаюсь угадать, что там произошло в мое отсутствие; а вот и приглушенный голос Эвьятара: “Да, мы все выясним, все — но только не здесь! Не здесь!” Меня прошибло потом. Кого еще из этой комедии дель арте не хватает, раз уж и я здесь? Может, и Руди тут? Соседние двери были приоткрыты — послушать, — и жена аптекаря, стоявшая в дверях в ночном халате, проворчала, обращаясь ко мне: “Позор! Позор!” Башмаки госпожи Зильбер простучали надо мной по лестнице; увидев меня, она воскликнула: “Здравствуйте! Приветствую вас, милостивый государь! Я и не знала, что...” — “Что случилось?” — шагнул я ей навстречу. “Я не стану больше этого терпеть, господин Йонес! — запылали ее щеки. — С меня хватит! Слишком много я прощала! Не для того я сдала вам комнату, чтобы вы превращали ее в... — и, продолжая спускаться, пройдя мимо меня не остановившись, она отвращенно буркнула: Писатели! Еврейская литература!”

“Такие дела никому не сходят с рук!” — я застал Лвию машущей пальцем перед носом Нили, которая сидела на моей кровати. Увидев, что на пороге появился я, она обернулась ко мне, секунду помолчала, а потом спросила, задыхаясь от гнева: “Сколько они тебе за это платят?” — “За что?” — пролепетали мои губы. “За пользование этой комнатой, — она обвела комнату широким жестом. — И ночью, и днем... Вот уже три месяца, как мне кажется...” — “От него-то ты чего хочешь? Он-то в чем виноват?...” — усмехнулась Нили, не двигаясь с места. Комната была переполнена летающими чертенятами. Нили сидела на кровати, заслонив лицо ладонями; сквозь пальцы проглядывала недобрая улыбка, улыбка принимаемого с королевским достоинством оскорбления от разошедшейся базарной бабы. Эвьятар сидел на углях, скрючившись под тяжестью невыносимого позора. Лвия размахивала факелами, намереваясь метать огонь во все стороны. “Не ду-

май, это для тебя добром не кончится! — набросилась она на Нили, помахивая пальцем прямо перед ее носом. — За это тебе еще достанется! Вот увидишь! Если не я, так кто-нибудь другой...” — “Убери свой палец, — тяжело проговорила Нили, сверкнув глазами. — Не желаю, чтобы ты ко мне прикасалась!” — “Потерпишь! — как-то дико рассмеялась Лвия. — Ты *убиваешь* меня, но при этом заботишься о том, чтобы я не коснулась твоего нежного, благородного, ханжеского лица...” — “Лвия, — попытался я утихомирить ее, заботясь о соседях, — я прошу тебя...” — “Ты еще защищаешь ее! —дохнула она на меня пламенем. — Ты... Да ведь она тобой крутит, как хочет, воду на тебе возит...” — “В чем дело, Лвия! Что случилось, в конце-то концов...” — протянул Эвьятар руки, точно моля о пощаде. “Ты знаешь, что случилось! Ты знаешь, что ты обманывал меня, вы оба! Что ты пришел сюда только для того, чтобы...” — “Я же сказал тебе, я же сказал, — не дал ей Эвьятар закончить опасную фразу... — Мы сидели в “Подвальчике”, и Нили попросила...” — “Вранье! — прервала его Лвия. — Не были вы в “Подвальчике”! Я спрашивала! *Здесь* вы были! *Здесь*! Весь вечер вы были здесь, и я прекрасно знаю, что все это время, вот уже три месяца...” — ее охватил приступ кашля, который все усиливался; пытаясь сдержать его рукой, она выбежала за порог, на крышу. Эвьятар встал, вышел вслед за ней, взял ее за руку: “Принести тебе воды?” — “Отойди от меня! Отойди! Не прикасайся...” — она вырвалась и, терзаясь все усиливавшимся кашлем, схватилась за живот. Я поспешил набрать стакан воды, вышел к ней, но прежде, чем я успел подать стакан, ее стошнило. Я стоял со стаканом в руке, а ее все рвало, струя за струей вырывались из ее рта на асфальтированную площадку, на которую из моей комнаты падал тусклый свет. Я подождал, пока ей станет немного легче, и протянул ей стакан. Она выпила, простонав: “Голова раскалывается, ужас...” В глазах ее стояли слезы. “Пойди, приляг на кровать, отдохни немного, это пройдет”, — взял я ее за руку. “Это не пройдет, Йонес, —

пробормотала она, навалившись на бортик крыши. — Это не пройдет, я-то знаю, я уж знаю... — с болезненной слабостью она продолжала шептать, опустив голову на перила. — Он мне врет... Всегда... Я знаю... Он встречается с ней... Я знаю... Про все их делишки знаю..." Эвьятар подошел снова и мягко спросил: "Тебе лучше?" — "Ты можешь идти", — тихо сказала она, не поднимая головы. Он постоял возле нас еще минуту, точно в замешательстве, потом медленно-медленно повернулся к лестнице и удалился. Снова взял я Лвию за руку: "Зайди в дом, полежи немного, отдохни". Она послушно пошла за мной. Нили стояла у стола и курила. Сквозь дым, свысока, следила за тем, как Лвия входит, ложится на кровать. Я склонился над ней, снял с нее запачканные туфли. "Дай мне какую-нибудь таблетку, — шепнула она, не открывая глаз. — Адская головная боль..." Нили покопалась в сумочке, извлекла коробочку с таблетками и протянула мне. Я вышел, принес стакан воды. Лвия слегка приподнялась на локтях, положила таблетку в рот, запила. Увидев перед собой Нили, тихо сказала: "Теперь ты можешь идти. Он ждет тебя", — и уронила голову на подушку. Нили продолжала курить, пуская к потолку тонкие, длинные струйки дыма. Такая вот, молчаливая, окруженная кольцами густого дыма, с горьким раздумьем в глазах, с белой высокой шеей — она была прекрасней, чем когда бы то ни было. Наконец, она раздавила сигарету в пепельнице, взяла сумочку и направилась к выходу. Задержалась еще секунду на пороге, точно намереваясь что-то сказать, и, ничего не сказав, вышла. Я прислушался к ее шагам, тихо, спокойно мерившим лестницу — шаг за шагом, шаг за шагом — пока не смолкли.

Лвия заснула, свернувшись на кровати. Я укрыл ее одеялом и сел за стол. За окном уже бледнел рассвет, и легкий утренний ветер со стоном бродил по комнате.

С первым лучом солнца она испуганно проснулась. Когда она ушла, я взял ведро с тряпкой и привел крышу в порядок.

Битва за черновики была проиграна вчера часа за три в зале суда. На первом этапе перестрелка велась через мою голову — между двумя адвокатами; на втором этапе я, собственной персоной, оказался под перекрестным огнем. Сначала адвокат Эврат пытался побудить суд к тому, чтобы меня обязали предоставить наброски о Давидове, издав приказ о предъявлении документов. Мой защитник аргументировал свои возражения следующим образом: во-первых, эти наброски не могут служить вещественным доказательством обвинению, потому что являются черновиками, представляющими ценность исключительно для их владельца; во-вторых, издание подобного приказа не будет лишено некоторой доли нарушения профессиональной тайны, что не входит в полномочия суда: наброски, сделанные писателем в процессе работы, являются материалом из его лаборатории, его личной собственностью — "санктумом творца". "Можно ли представить себе, что суд издаст приказ, обязывающий меня, например, или моего ученого коллегу, представителя обвинения, предоставить те наброски, которые мы ведем с целью дознания и аргументирования? — приподнял Шило стопку листов со своего стола и сжал ее дрожащей рукой. — Что же говорить о том случае, когда имеется в виду творческая работа, которая всегда ведется писателем вдали от человеческих глаз, наедине с самим собой, и только зрелым ее плодам суждено увидеть свет. В подобном случае нам следует повторить вслед за римским поэтом Горацием: "Требуем этой свободы себе мы, предоставляя ее и другим!" (Часто меня удивляла образованность моего адвоката, которая, судя по приводимым им цитатам, возрастала от заседания к заседанию.) Судья принял его сторону, и представитель обвинения сдался; но сразу вслед за этим Эврат попросил права задать мне несколько вопросов, и эта возможность была ему предоставлена после того, как судья назвал мне мои права и обязанности в качестве

обвиняемого, находящегося под допросом. Мой защитник, предвидевший заранее подобное развитие событий, наставлял меня за несколько дней до заседания, предупредив, что если я хоть словом, хоть полсловом намекну на то, что книгу писать не собираюсь, то сам вынесу себе приговор — возратить весь полученный аванс, полностью уплатить неустойку и судебные издержки. Против воли я вынужден был принять предложенную мне оборонительную тактику, точным названием которой будет не что иное, как отрицание истины любой ценой. Чтобы укрепить свой дух, пускаясь в столь опасный путь, я вооружился несколькими убедительными примерами из истории литературы, как то: сложные отношения Достоевского с Полиной Сусловой, помешавшие ему выполнить свои литературные обязательства; или задержка в сдаче Бальзаком главы издательству, вызванная знакомством с графиней Ганской.

— Вы опросили двадцать семь человек в связи с работой над книгой, — заглянул Эврат в лежавшие перед ним листки. — Последняя встреча состоялась седьмого января прошлого года, когда вы посетили...

— Супругу покойного, — подсказал я ему.

— Да. Скажите-ка, господин Йонес, — глянул он мне в глаза, — как вы записывали то, что рассказывали вам опрошенные, слово в слово или...

— Нет. Разумеется, не слово в слово, — усмехнулся я. — Как бы я мог...

— Но все сказанное ими вы записывали полностью?...

— Нет, не полностью. Как правило, я удовлетворялся конспектированием, фиксацией ориентиров...

— Полагались на свою память, иными словами...

— Да. Память мне никогда не изменяла.

— Превосходно. Пятнадцатого августа, полтора года тому назад, — глянул он в свои записи, — вы встретились в здании Исполкома с Менахемом Швайгом, верно?

— Верно.

— Записали ли вы его речь полностью? Все, что он сказал? Большую часть?

— Вроде того.

— Вроде чего? Полностью или одни лишь ориентиры?

— Ориентиры.

— Так. А... восемь месяцев тому назад вы встретились с господином Эфратом из института Вейцмана в его доме и получили от него сведения о периоде работы Давидова на Мертвом море. Сказанное им вы записали полностью или в конспективной форме?

(Нили. Здесь. В зале суда. Кровь хлынула у меня к лицу.)

— Я не помню точно. Возможно, что...

— Господин Йонес! — зашумел на меня Эврат своим тенорком. — Только минуту тому назад вы заявили, что память никогда вам не изменяет!... А если я скажу вам, что господин Эфрат готов прийти и засвидетельствовать перед судом, что вы непрерывно записывали сказанное им слово в слово в течение двух часов, — что вы мне на это скажете?

(Неужели Руди выдал меня? Решил отомстить? Неужели за мной ходили сыщики?)

— Нет, это неверно, — дрогнул мой голос.

— А если я скажу вам, уважаемый господин Йонес, что и господин Швайг готов прийти и засвидетельствовать, что и его слова вы почти что стенографировали, потому что он вынужден был периодически прерываться, чтобы дать вам возможность поспеть за ним, — что вы мне на это скажете?

(Сражение проиграно, упало у меня сердце в пятки. Они все знают.)

Отступить было некуда. Мне в спину был наставлен пистолет моего адвоката: — Это неправда. Я никому не показывал эти записи, и никто не может свидетельствовать о том, что я там писал.

— Двадцать семь человек, господин Йонес, двадцать семь человек могут засвидетельствовать тот факт, что вы записали их слова полностью, — высоко зазвенел

голос Эврата. — А эти записи во всей своей совокупности представляют собой биографию Давидова, эпизод за эпизодом, да только вы не соглашаетесь передать ее нам в силу причин, о которых вам еще придется отчитываться перед судом!

— Милостивый государь! — осмелел я. — Даже если бы я вел стенографическую запись ведомых мной опросов, и тогда лишь тот, кто ничего не понимает в литературе, может утверждать, что стенограмма представляет из себя литературное произведение. Я не составитель протоколов. Я писатель.

— Великолепно, господин Йонес. Оставим теперь эти записи. Углубимся слегка в метод вашей работы в качестве писателя. В какие часы — позвольте спросить вас — вы обычно предаетесь вашей *литературной* работе, господин Йонес?

Мой адвокат подскочил на месте. Он возражает, возражает! Его подзащитный не является рабом, у хозяев которого есть право интересоваться его делами в любое время дня и ночи! Но судья не принял его возражений.

— У меня нет постоянных часов работы.

— Но как правило?

— Не могу ответить вам на этот вопрос. В любой час, когда я расположен к работе.

— А море располагает вас к работе? — усмехнулся Эврат.

Судья вопросительно склонил к нему ухо: — Не слышал. Что вы спросили?

— Я спросил, не располагает ли его к работе морская обстановка, — пояснил Эврат, — потому что господин Йонес, насколько это нам известно, имеет обычай проводить ежедневно по несколько часов...

Снова подскочил мой защитник: — Куда желает завести нас мой ученый коллега подобными расспросами? Это беспардонное вмешательство в личную жизнь моего подзащитного, и я попросил бы вас, господин судья, не допустить этого! Никакого отношения к делу не имеет вопрос — в какие часы писатель занят своей

работой! Это никого не касается!

— Господин судья, — заявил Эврат, — я намереваюсь доказать, что обвиняемый не занимался никакой работой в течение нескольких месяцев и обманывал доверие моего клиента самым циничным образом!

— Это ложь! — буркнул я.

— Это мы еще посмотрим! — воскликнул Эврат.

Судья постучал молоточком и, разъяснив несколько процессуальных вопросов, дал обвинителю свое согласие на продолжение допроса.

— На основании данных, которыми мы располагаем, господин Йонес, — продолжал издеваться над мной Эврат, — становится ясным, что дневные часы вы проводили на море или в компании приятелей, а по вечерам, как правило, находились в некоем кафе, называемом "Подвальчик", засиживаясь там до поздней ночи. Позвольте же спросить вас, при всем нашем уважении к вашему писательским талантам, — когда вы пишете?

— Господин судья, — обратился я за помощью того, кто стоял выше нас обоих. — Представитель обвинения пытается меня выставить здесь обманщиком, бездельником и циником. Многие знают меня в этом городе. Можно порасспрашивать их. Я не обязан отчитываться в своем поведении перед человеком, интерес которого ко мне носит исключительно юридический характер!

Судья терпеливо разъяснил мне, что я вправе и не отвечать на некоторые вопросы, но только в этом случае мое молчание будет расценено как обвинительная улика; поэтому он рекомендует мне отвечать на все вопросы по мере возможности.

— Когда же вы обычно пишете? — снова задал Эврат свой вопрос.

Я не ответил. Теперь мне было ясно, что за мной следили, ходили по пятам, доносили на меня мои ненавистники.

— Ответа нет, — заключил Эврат. И, снова покопавшись в листах: — Перейдем теперь к другой теме. Когда вы приступили к *обработке* черновиков? Закон-

чив сбор материала или раньше?

— Раньше.

— Намного?

— Намного.

— На три месяца? На шесть?

— На шесть, — ляпнул я напропалую.

— Сколько страниц успели вы написать?

— Страниц... сорок.

— Сорок страниц. Сорок страниц это приблизительно... двенадцать тысяч слов?

— Приблизительно.

— Иными словами, в течение года вы написали двенадцать тысяч слов, что соответствует тридцати словам в день, если я не ошибаюсь.

— Я написал их не в течение *года*, — заметил я, — а приблизительно за три месяца. Потом прекратил работать.

— Это означает, что за девяносто дней вы написали сорок страниц. Чуть больше двух страниц в день.

— Да, — радостно согласился я. — Обычно я переписываю каждую страницу шесть, семь, а то и восемь раз. Если мне позволят такое сравнение — Толстой, к примеру...

— Оставим пока что Толстого в покое, — усмехнулся Эврат. — До какого периода биографии Давидова дошли вы в своей работе?

— До... приблизительно до 1930 года.

— Сможете ли вы показать нам эти страницы?

— Нет, — отрезал я. — В мои правила не входит показывать незаконченную работу.

— Как? Вы хотите сказать, что и те главы, которые вы уже написали, являются незаконченной работой?

— Да, — заупрямился я. — Возможно, что мне придется переписать их еще один раз.

По сияющему взгляду моего защитника я понял, что отвечаю, как следует. Рабби был доволен своим учеником.

— Та-ак... — глотнул Эврат таинственную ухмылочку, полюбовавшись на свои заметки. И тут он перешел

к новому предмету: — Из сказанного вашим защитником на прошлых заседаниях, — сказал он, — я заключаю, что причиной перерыва, наступившего в вашей работе, явился... "душевный кризис", охвативший вас. Так ли это?

— Так, — скромно ответил я.

— Не сможете ли вы сказать нам — вы, разумеется, вправе и не отвечать на этот вопрос — относится ли этот кризис к области личной жизни? Духовной?

— Я воздерживаюсь, — заявил я.

— От чего?

— От ответа.

— Позвольте спросить вас, господин Йонес, — повысил Эврат голос. — Почему, когда наступил этот "кризис" и вы прекратили работу, — вы не пришли к издателю и не поставили его в известность, продолжая в то же время ежемесячно получать жалование, словно ничего не произошло?

Я еле удержался, чтобы не застонать. Да, я обязан был сделать это. Неужели я боялся сознаться в неудаче? Да и как я мог это сделать, после того, что...

— Потому что я надеялся и продолжаю надеяться, — ответил я, — что смогу продолжить. Такие случаи известны. Например...

— Не обязывает ли минимальная мера порядочности *всякого* человека — а уж тем более писателя — прийти и заявить по меньшей мере следующее: я не смогу закончить работу в срок, указанный в договоре, и прошу отсрочки. Выбор оставался бы за издателем, предложившим вам эту работу — предоставить вам такую отсрочку или нет, продолжать выплачивать вам авансы или нет.

Мой защитник поднялся с места: — Позволю себе заметить моему ученому коллеге, — начал он самодовольно, но энергично, — что согласно закону издатель обязан был выплачивать жалование моему подзащитному до конца срока, указанного в договоре, независимо от того, выполнил ли он свою работу или нет.

— Это что-то новое, — воскликнул Эврат.

— Это предусмотрено законом, — гордо изрек мой адвокат.

— Каким законом?

— Сию минуту, — мой защитник поднес один из своих листков к глазам, приподнял очки и сказал: — Я цитирую оттоманский "Закон о найме", глава шестая, статья 581: "Работодатель, нанявший кормилицу на известный срок и обязавшийся платить ей, — кончилось ли у нее молоко или ребенок не возжелал ее груди — должен выплатить ей ту сумму, о которой договорился с самого начала". В применении к нашей дискуссии — случай с писателем подобен случаю с кормилицей.

Смех, прокатившийся по залу, охватил всех — и сидевших в зале, и представителей обвинения, и даже самого судью. И только мой адвокат обводил смеющихся недоуменным взглядом, точно не понимая, что вызвало такое веселье.

— Я благодарю моего ученого коллегу за юридическую консультацию, — утер Эврат губы платком. — Но я собираюсь доказать, что у кормилицы, стоящей перед нами, ни молоко не кончалось, ни ребенок от груди не отказывался.

Снова волна смеха прокатилась по залу. Но вслед за этой передышкой в разгаре боя, позволившей мне обратиться с силами, последовала новая, сногшибательная атака, для которой предыдущие перестрелки служили всего лишь артподготовкой. Все очереди, выпущенные на сей раз в меня, выхлестывались грозным: "А если я скажу вам сейчас, господин Йонес..." и завершались грибообразным дымовым облаком: "что вы мне на это ответите?"

— А если я скажу вам, господин Йонес, что и эти сорок страниц вы и не писали, и не намеревались писать — что вы мне на это ответите?

И сразу вслед за моим протестом:

— А если я скажу вам, господин Йонес, что вся эта история с "кризисом", о котором вы говорите, не имеет ничего общего с действительностью и является вашим изобретением, служащим оправданием вашему

увеливанию — сознательному и злонамеренному — от выполнения конкретных обязательств, — что вы мне на это скажете?

И сразу вслед за моим испуганным мычанием:

— А если я скажу вам, что вы вообще не *собирались* писать книгу, которую вы обязались написать и получали за это деньги — что вы мне на это ответите, господин Йонес?

— Зачем же я с самого начала брал на себя эту работу? Зачем? — сердито крикнул я.

— На это *вы* обязаны ответить, а не я, — засверкали у Эврата глаза. — Но я не нуждаюсь в вашем ответе, — тихо присовокупил он. — Вместо этого я прочитаю вам несколько предложений и попрошу вас определить, кто же их произносил.

Неужели я говорил что-нибудь такое, что могло бы выдать меня? Когда? Кому? Где? Со страхом глянул я на руки, перекалывавшие листы на кафедре, ожидая грозного удара, который сейчас обрушится на меня.

-- Слушайте внимательно, — попросил он, приподняв листок, ядовитые чернила которого были скрыты от моих глаз. — Я цитирую: "Давидов... Кем он был, Давидов, кем? Он был самым страшным тираном, которого знала эта страна с тех пор, когда ее стали отстраивать заново! Он был праведником, да, большим праведником! Но есть ли в мире более страшная тирания, чем тирания праведников? Под властью преступников люди осуждены на страдания, на муки, на террор, но под властью праведников — они вообще не могут существовать! Против преступников можно восстать, но от праведников невозможно даже *защитаться*! Или он, или мы, братцы! Сам факт существования — живым или мертвым! — не даст нам жить спокойно! Его глаза следят за нами! Его имя отравляет нашу память! Его тень преследует нас!... Если мы хотим жить — нам следует *стереть* память о нем с лица земли раз и навсегда, и это наш священный долг!"

— Кто это сказал? — зазвенел голос Эврата в глубокой тишине, наступившей в зале суда.

Я стоял пораженный, потрясенный. Вопиющая тишина окружала меня, а мне нечего было сказать.

— Господин Йонес, — воскликнул он с дрожью в голосе. — Ночью семнадцатого июня, на вечеринке, состоявшейся в доме поэта Накдимона, в присутствии десятка молодых писателей — вы, вы произнесли эти слова, предначертав тем самым собственный приговор!

— Это ложь! — нетвердо промямлил я.

У меня закружилась голова. Завязалась бурная перебранка между двумя адвокатами, их слова звенели у меня над ухом, не доходя до моего рассудка. Я, видимо, сильно побледнел, потому что судья взволнованно спросил, не чувствую ли я себя плохо. Потом застучал молоточком и сообщил дату следующего заседания.

29

Когда я сказал: ложь, — я сказал правду. Но, по правде сказать, это не было ложью. Когда Эврат читал эти фразы, я и узнал их, и не узнал. Мне показалось, что он читает какие-то болезненные мысли, которые приходили ко мне в бреду, иногда шепотом, иногда воплем; но может ли такое быть, что я *произнес* их? Я никогда и никому не посмел бы сказать такого! Это было колдовство, ухищрение ловкача-адвоката, к тому же ясно-видца! И только потом, придя из суда домой, я вспомнил подробности той вечеринки у Накдимона. Его поэма под названием "Обезглавленные" была опубликована в одном из субботних приложений, и мы собрались, чтобы отпраздновать это событие. Много хвалебных речей было тогда сказано, много было выпито вина. Оснат прочитала поэму, Гумпель прокомментировал ее... Я вспомнил, что позже, когда мы уже были навеселе и колкости неслись потоком, а остроты волокли за собой остроты, Накдимон отпустил шуточку, очень всех развеселившую: "Наши отцы сажали леса, а мы заблудились в трех соснах; кроме Йонеса, который пишет правильную книгу!" Я смеялся вместе со всеми, но эти

слова уязвили меня до глубины души. Это я-то пишу "правильную книгу"? Я, которому вся эта история с книгой отравляет жизнь, который в ней-то и заблудился? Да еще этот издевательский тон! Я выпил много в тот вечер, и помню, что все время меня точило, как комар: Давидов, Давидов, — и мне хотелось с кем-нибудь из-за него подраться, а еще позже, верно полночь, в разгаре затеянной мною дискуссии, я произнес речь (сразу же вылетевшую у меня из головы); теперь я припоминаю, что в то время, как я говорил, Накдимон велел Гумпелю записать мою речь, чтобы я "ответил когда-нибудь за эти слова" или что-то в таком духе, и когда я выговорился, ко мне подошел Накдимон, вознес мою руку к потолку, воздавая мне королевские почести, а все вокруг восхищенно гудели... Все это потонуло в тумане, а после той вечеринки мне иногда напоминали об этом, утверждая, что я "говорил великолепно", но отказывались пояснить, *что именно* я говорил... Неужели эти слова передавались из уст в уста, пока не дошли до слуха истца? Или до кого-нибудь из поклонников Давидова? Неужели посланцы обвинителя вели расспросы, и кто-то сказал им?

То, что я не могу сказать на суде, я обязан изложить здесь, на этих страницах, на которых я по собственному почину решил говорить правду и только правду. Да, я признаю: я ненавидел своего господина. Я возненавидел его с тех пор, как был продан ему в рабство. Я не помню, когда именно это произошло, когда пустило во мне ростки это колючее растение, распространившееся затем по моему телу раковым заболеванием. После знакомства с Нили? Нет, гораздо раньше. Может быть, сразу же после первых двух-трех встреч с хранителями воспоминаний о Давидове, его друзьями и почитателями? Медленно-медленно накапливалась во мне эта ненависть, расплзшаяся проказой по коже. Долго я не желал признаться самому себе в этом, боялся ее, страшился называть ее по имени. Отгонял ее от себя, как сбрасывают заразного клеща. Но уже чувствовал в себе яд. Чем больше я выслушивал, чем боль-

ше я записывал, тем крепче становилась эта ненависть. И чем толще становилась папка с записями — тем большее сходство с уголовным делом приобретала она в моих глазах; казалось, что я собственными руками собираю обвинительный материал — против самого себя. Зачем я связался с этим делом?... Мне кажется, что впервые я *признался* себе в этом, в этой ненависти, — в ту ночь, когда я наткнулся на улице на Менахема Швайга, своею пьяной рожей ткнулся в его скривленное от отвращения лицо. Это было в одну из тех ночей, когда внезапные исчезновения Нили оставляли меня несмышленным псом, тывкающим на фонари несущихся мимо машин. Я вышел тогда из из "Подвальчика" здорово набравшись, поддерживаемый под руки Элиразом и Шаулом, и заорал на летевший мимо меня автомобиль: "Фрой-ден-таль! Куда же ты бежишь?" И снова: "Фройден-таль!" Вдруг я увидел этого Швайга еще с одним человеком в кожаном пальто, плывшими на меня в желтом тумане. Я вырвался из рук державших меня, ринулся ему навстречу, покачиваясь на ходу, и ткнул ему пальцем в сердце: "Швайг, почему ты молчишь, Швайг! Ты не видишь, что творится в этой стране? Ее поганят, а ты..." — я не закончил, потому что в ту же секунду вся эта смесь вина и возмущения подступила к моему горлу. Я помчался к ближайшему дереву, прислонился к нему лбом — меня стошнило. В то же время я слышал, как Швайг обратился за моей спиной к своему попутчику, с отвращением бормоча: "Позор! И такому человеку поручают писать книгу о Давидове!" Достаточно было одного презрительного плевка, чтобы разом протрезвить меня. Из-под руки, упертой в дерево, я видел, как эти двое удаляются, точно от нечисти. "Идиот", — пролепетал я самому себе. Потом, когда ко мне подошел Элираз и спросил, кто это был, я ответил, симулируя недавнее опьянение: "А, один из революционных дурней. История с Нили вызывает в нем отвращение", — а он разразился смехом, разлетевшимся по всей улице. Позже, шагая к себе домой, я твердил: "Я ненавижу Давидова, ненавижу, ненавижу, ненавижу его".

Да, я произнес эти слова, гремевшие в зале суда; мне знакомо их звучание. Хватил я тогда через край? — Безусловно. Да и винным духом от них прямо-таки разит. Но я носил их в себе, точно заговорщик. Чем больше в моих записях набиралось сведений о прошедших временах — тем выше становился горб на моей спине. Не горб — целая гора! Все эти подробности, все эти мелочи — то в Отряде, то в Лоде, в Иерусалиме, в Кфар-Сабе, на Мертвом море, в Ханите, по всей стране — сплетались вокруг меня, что ни день — то новый росток, точно дикий вьюнок, губящий тот ствол, к которому он ластится. Я стал писать о мертвом — а он задушил живого! Да, я продал душу свою праведнику! Я не был больше свободен, я оказался в кабале. Я не мог отогнать от себя эту тень, тень Давидова, которая цеплялась за мои пятки, куда бы я ни шел, становилась все длиннее и длиннее, не имея ни малейшего сходства с моими очертаниями. Никакого сходства — и все-таки меня отождествляли с ним, не ведая никакого различия. Считали меня его представителем в царстве живых. "Господин Давидов!" — приветствовал меня Накдимон. "Как продвигается Давидов?" — спрашивали меня на улице люди с тем блеском в глазах, который выдает надежду на чудо и веру в то, что вот-вот, где-то в тайниках моих тесных буковок, уже слагаются одна к другой иссохшие кости, а я вдыхаю в них душу и жизнь. Я вынужден был защищать его от насмешников, восхвалять его перед поклонниками, вызывать его дух для жаждущих увидеть его — в то время, как сам хотел придушить его в себе! О, тирания праведности! — ворчал я, сидя за столом и пытаюсь привести эти записи в порядок и придать им пристойный вид, но нанося на бумагу лишь мертвые буквы, по сравнению с которыми бумажные буквы Ахувы были живехонькими птицами, — зачем он жил, зачем он умер, чего он прицепился ко мне, почему не отпускает, как он пробрался в мою жизнь, наблюдая за мной властным взглядом, следя за каждым моим поступком, днем и ночью! За самыми тайными моими влече-

ниями — а ведь это мое личное дело, Боже мой, личное дело! Да ведь я свободный человек; неужели я не вправе делать все, что мне вздумается — возжелеть, ненавидеть, пьянствовать, блудить — без того, чтобы каждый год его жизни не глядел на меня с осуждением? О, этот суд, где ведется разбирательство о нескольких тысячах долга! За попытку *удушения* должны были бы они меня судить, если бы знали правду!

Правду, — говорю я. Вся ли это правда? Я уж и не знаю. Я начинаю сомневаться в этом. Потому что — в конце-то концов — когда я пишу, что *ненавидел* его, перо издает некий скрип, весьма режущий мне слух. Что-то сжимается во мне, требуя: сотри! сотри! Это слово нельзя произносить с такой ясностью, букву за буквой, без того, чтобы не колыхнулась какая-нибудь из пружин Небесного Трона. Может, это и неверно. Может, это и не так. Потому что когда я вспоминаю о нем, о том живом человеке, с которым я был знаком, о той юношеской встрече на соляных озерах в Атлите или о последней встрече (о ней я еще расскажу) в раскаленной пустыне по дороге в Сдом — что-то такое шевелится во мне — и теплое, и тоскливое... А неужели часто не бывало так, что вспоминая о нем, я чувствовал себя прикрытым его лапидаром? А те минуты, когда, слушая рассказы о нем, я испытывал некое волнение, сходное с волнением знойного ветра, несущего суховатый запах с гор? Не обращался ли я к нему иногда — когда сердце сжималось от тоски — как к *отцу*? Или завидовал его бурным, беспечным странствиям по большой стране — то в Отряде, то в Лодке, в Иерусалиме, на Мертвом море, в Ханите... Может быть, я все-таки *любил* его?...

Нет — сотри! сотри! — кричу я самому себе. И это слово нельзя произносить так вот, буква за буквой, без того, чтобы не услышать издали что-то вроде смеха сатиров.

Что же, в таком случае? И к чему это чувство вины, точно полстраны требует от меня выплатить долг, за который я расписался кровью?

Чувство вины, — говорю я... Насколько оно глубоко? Я не стану из-за этого кончать с собой. И не брошусь, как Раскольников, целовать на площади истоптанную землю. Не приставлю, как Эфраим Маргалит, пистолет к виску; или бритву к горлу, как Уриэль Давидовский. Другие теперь времена. Завтра или послезавтра, или через месяц-другой, когда я кончу писать эту "исповедь", подобную черепку, которым чешут, где чешется, — я спущусь в "Подвальчик", захмелею и забуду все, как забыли мы несчастного "генерала" через пару дней после того, как он исчез. "Чувство вины!" Клещевина, которую восточный червячок истачивает за день! Лужицы, которые легкий ветер высушивает за пару часов! Другие теперь времена. Никто из нас не скажет теперь с истерзанным сердцем: "Велика загадка жизни, тяжелей загадки смерти!" и не побежит в страхе от "той тяжелой печали и той слепоты, что не ищет себе утешения, даже и данного ей!" Любил я Нили? Не любил? Да, я любил ее! Но ведь забыл уже...

Утром я был у адвоката и сказал ему: "Итак, я понимаю, что все потеряно".

— Па-чи-му? — удивленно пропел он. — Из-за тех глупостей, которые он выдавал за сказанные вами? Даже если он докажет, что вы в самом деле это говорили, — какую юридическую ценность представляют собой слова, сказанный человеком в опьянении, в нетвердом сознании? Можно ему их в нос тыкать? Приводить их в качестве улики? Мы всегда сможем утверждать, что вы сказали это в шутку, или с иронией, или просто дурака валяли. Никто не сможет доказать, что это не так. Выражаясь языком психологов — может, и есть какой-то смысл у слов, которые произносит человек в нетвердой памяти, но на суде-то?...

Стало быть, суд продолжается.

Два дня не писал. Но я не жалею об этом. Не из-за сомнительной услуги, которую я оказал Ардити и его дочери, а из-за одного старого, утерянного воспоминания, вызванного благодаря им к жизни.

Несколько дней тому назад, вечером, Ардити поднялся ко мне на крышу, постучал в дверь, вошел, попросил тысячу извинений, а когда я стал умолять его сказать — в чем дело, — предложил мне, униженно бормоча, так что и отказать нельзя было, быть посредником между ним и женихом его дочери: он хочет по-доброму сговориться с этим парнем. Дочь никогда не согласится выйти за него, но так как Ардити понимает, что тот оскорблен и опозорен, он согласен возместить причиненный ущерб; он готов заплатить двести, триста лир — все свои сбережения — только бы избежать ссоры, которая, к его великому огорчению, привела к разрыву между ним и его сыном. Он видит во мне человека умного, доброго и хорошо относящегося к Ионине — а она-то всегда говорит обо мне только хорошее — и просит меня съездить с ним в Рамле и быть у них миротворцем. Я согласился.

Мы приехали туда позавчера с наступлением вечера. Вошли в старый арабский дом, стоявший в конце грязного переуллка, у края каменистого поля, тянувшегося до темной оливковой рощи. Элияху Кальфон сидел в обществе шести—семи домочадцев за большим столом, на котором стояла большая миска с сушеными дынными семечками. Нас пригласили присесть и принять участие в лузганьи, но когда Ардити выразил желание поговорить с Элияху наедине, он провел нас на задний двор. Лампочка, укрепленная над притолокой, освещала раскидистое фиговое дерево, скамейку, шаткое плетеное кресло, жалкую тележку для осла, закопченный стиральный бак на закопченной каменной печурке.

Я заговорил первым, обратясь к хозяину от имени Ардити, заявив, что произошел несчастный случай, ошибка, о которой хотелось бы позабыть... Поза-

быть? — запылало лицо Кальфона — как это можно позабыть! Вся семья, все знакомые жалеют его, насмеются над ним, его достоинство оскорблено... Да, — согласился я, — господин Ардити знает об этом, это весьма огорчает его, и он желает сделать все возможное, чтобы чья-либо честь не была задета, но поскольку девушка не согласна, нельзя же заставить... Заставить? Девушку? — налилось кровью лицо Кальфона — только из-за дружбы с ее братом, только по собственной доброте согласился он на это обручение, потому что какой же нормальный мужчина возьмет в жены хромую, и сам бы, по своей воле отвязался от этой затеи, если бы это не было уже объявлено вслух, к тому же он уже готовился к свадьбе, тратил деньги... Что касается денег, — вкрадчиво произнес Ардити...

Из дома вышла сгорбленная женщина в красном платке и вынесла медный поднос, поставила перед нами чашки с кофе. Ардити говорил о деньгах, Кальфон говорил о достоинстве, а Йонина лежала меж ними, как жертвенная овца.

Глотнув кофе, я устался на стиральный бак, стоявший на закопченной плите, под которой были сложены сухие ветки. Как во сне, обожгло меня забытое видение. Мне было пять лет или того меньше, а на нашем дворе, в тени эвкалипта, стоял такой же бак, на таких же камнях; под ними горел огонь, от бака шел пар, и мама, в красном платке, ворочала белье шестом. Потом она зацепляла рубахи, от которых шел пар, и перекладывала их в кадку. Я сидел на камешке, засунув большой палец в рот, и глядел на огонь, пылающий под баком, на летящие искры, на восходящий пар. Я спросил — как наверняка уже спрашивал много раз до этого: — когда вернется папа? Я знал — что она мне ответит, и знал, что это неправда. Я знал, что он умер. Когда она зачерпнула шестом белую длинную рубаху, с которой текла вода, мне показалось, что она извлекает папу из кипящего бака, и от него исходит пар, но тела у него нет, потому что тело сгорело в огне. Когда она стояла у кадки и терла рубаху о стиральную доску,

я шептал самому себе: она стирает его, она так упорно стирает его... На дворе стояла полуденная жара, опавшие листья эвкалипта валялись в пыли, с верхушки доносилось щебетание. Что-то горькое застряло в моем горле, глаза щипало, точно от дыма, исходящего от закопченных камней. Я не узнавал отца, но мне запало в сердце, будто его тело терзают в стиральной кадке.

Ардити с Кальфоном, сидя под фиговым деревом, продолжали говорить о чести, о деньгах, о хромой Йонине. Когда мы возвращались домой, меня не покидало это видение. Войдя в свою комнату, я записал несколько строк для нового рассказа.

31

На выходящем к морю балконе гостиницы "Дан", за двумя бокалами чистого виски с кристалликами льда рассказывал мне Иехуда Дотан, высокопоставленный чиновник в канцелярии главы правительства, в прошлом член штаба Хаганы, о Давидове в годы войны, о борьбе, о нелегальной алии. В тот полуденный час повсюду играл ветер, сверкало солнце, блистало море. Внизу, на излизанном пеной песке, летали шарики от ракетки к ракетке, разноцветные купальники покачивались на шезлонгах, смуглые тела взлетали вместе с налетающей волной; вдаль трепетали паруса. Виски поблескивало хрусталем, отражая морские блики. Седые пряди Дотана рассыпались по лбу, а голубые глаза шаловливо загорались, когда он вспоминал о Давидове тех дней ("Фантазер! Каким фантазером он был, этот человек, ты себе представить не можешь!"). Он долго и рассеянно забавлялся своими рассказами.

— Например, — говорил он, — например в сорок втором, когда Роммель подходил к воротам страны... Какая безумная идея!...

В сорок втором году Давидов предложил штабу Хаганы открыть нечто вроде второго фронта — еврейского — в центре Европы. Связаться со штабом Крас-

ной Армии и предложить им сотрудничество между партизанами на оккупированных территориях и подразделениями Пальмаха, которые будут заброшены в Польшу, Румынию, Чехословакию и будут производить диверсии на объектах противника. Русские дадут оружие, Хагана — людей...

— А еще раньше, зимой сорок первого...

(О, чудные времена! Сколько мне тогда было? Пятнадцать? Шестнадцать? — Пейзажи Вади-Флах, Кармельские леса, стадо, бредущее к поилке, колючие кусты по дороге на Ягур; группы австралийских солдат, похожих на озорных подростков, вежливо разгонявшие сборища скотоводов на городских улицах; связисты, перешептывающиеся со сторожевыми катерами; сердцебиения знойными утрами при виде крупных газетных заголовкой; похороны с приглушенной болью, со сжатыми кулаками; прохладные каменные мостовые иерусалимских площадей, звенящие от стука подков белых коней и сандалий неразговорчивых священников; колючая проволока, гудение толпы, взволнованное сборище у стен, растекающееся по переулкам, черные закутанные фигуры и сверкающие кривые ножи; гладкий и опаленный, с подтеками воска и слез могильный камень гробницы Рахели; маршевые песни, пухлые и запыленные, упрямые ботинки, от Метулы до...)

Зимой сорок первого...

Я не буду многословен. Вещи все известные, кому больше, кому меньше: после изгнания иммигрантов "Атлантика" на Маврикий Давидов предложил разработанный им план нападения на военный лагерь Атлит; летом сорок третьего он поднимался на сторожевые посты в Негеве и целый месяц провел в Бейт-Эшеле; в ноябре сорок третьего был вызван на помощь осажденному Рамат-ха-Ковешу; в ноябре сорок пятого, после налета на береговую охрану у Гиват-Ольги и Сидни-Али, он оказался в Ришпоне, был перевезен вместе с другими заключенными в Рафиях и провел там три месяца; в марте сорок седьмого был на бере-

гу у Ниццаним в ночь "Шабтая Лозинского"¹, был схвачен, перевезен вместе с колонной в хайфский порт, и, не пожелав назвать себя, смешавшись с иммигрантами, был отправлен на корабль и выслан. Шесть месяцев он провел на Кипре, инструктируя, обучая, тренируя.

Нет, в Пальмахе он не был. В сорок четвертом, после конференции в Мишмар-ха-Эмек ("вот удивительный человек! Не было ни одной конференции, чтобы он на нее не приехал! Гиносар, Бейт-Орен, Кейсария... Вдруг — Давидов! Точно из-под земли выскочил! Как же ты добрался? — Добрался!...") — он захотел записаться в Пальмах — в качестве инструктора. Его уже зачислили, но тут пришла его жена, Ципора, и вмешалась в это дело.

— Ты знаешь, в те дни штаб иногда занимался и личными делами, — рассказывал Дотан. — Мы знали, что делается в доме каждого из активистов. Нам поверяли не только проблемы заработка, трудоустройства, жилья, но и самые интимные проблемы. Иногда нам приходилось даже быть посредниками в семейных ссорах. Знали, например, у кого есть любовница, кто собирается развестись, кто запутался... Не то, чтобы мы очень уж этим интересовались, просто сами люди приходили к нам — за советом, иногда и за помощью... О Давидове мы знали очень мало. Ходили, конечно, слухи: что-то на Мертвом море, что-то в Ханите... Но сам он о своих личных делах никогда не говорил. Разве что о своем сыне. Его он часто брал с собой в город. Ходил с ним в музей, покупал ему книги по искусству. Большие надежды на него возлагал. А о Ципоре, кажется, никогда и не упоминал. Кстати, ты встречался с ней? — Нет, вообще-то не стоит. Итак, как-то она пришла ко мне и говорит: "Послушай, я никогда не вмешивалась в Абрашины дела. Он делает все, что хочет, а я ему не мешаю. Я уже смирилась с тем, что он исчезает из дому на недели и месяцы. У нас есть поле в тридцать

¹ Судно нелегальных иммигрантов.

дунамов — так можешь мне поверить, что он уже пять раз засеивал его, но еще ни разу не убирал. То горох, то вика, то арбузы... Гроша мы с этого не видели. Одни убытки. Теперь я слышу, что вы собираетесь забрать его в Пальмах. То есть, года два, по крайней мере, его не будет дома. Я хочу, чтобы ты знал ситуацию..." Тут она рассказывает мне об их дочери, которой было тогда лет двенадцать—тринадцать. Девчонка росла без присмотра, отказывалась ходить в школу, болталась по улицам, нуждалась в психиатрическом лечении. Под конец она сказала: "Я только хочу, чтоб ты знал, что если вы это сделаете — *плохо* будет. Вот и все, что я хотела тебе сказать". И встала, и ушла. Я сидел, ошеломленный. Было что-то в ее жестком взгляде, в ее резком тоне... Точно бедой грозила. Мы капитулировали. То есть он сам капитулировал. Мне кажется, что это был единственный случай, когда он поступил не по своему желанию, а по ее. Было что-то твердое в этом человеке. И вместе с тем — теплое, сердечное... Столько противоречий...

Гостиничный громкоговоритель вызвал Дотана по имени, и он встал, прервав рассказ. Ему предстояла встреча с неким американским кинопродюсером. Прежде, чем проститься со мной, он произнес, точно вешая на меня талисман перед долгой, опасной дорогой:

— Запомни одну вещь: Давидов был из тех людей, которые *живут историей*, которые *дышат ею*, чувствуют ее своим телом. Может быть, это ключ к пониманию его личности...

Дня через три—четыре ко мне пришел мальчишка-посыльный со срочным письмом. Мне предлагалось сегодня же вечером прийти домой к Дотану и познакомиться с господином Шелдоном Зельниковым, продюсером из Америки.

Хозяйка дома, высокая женщина с острым носом, встретила меня в гостиной виллы с родственной теплотой. "Вы — господин Йонес. Как я рада, что вы приш-

ли!” — вцепилась она в меня обеими руками. Потом доверительно сообщила: “Господин Зельников весьма заинтересован во встрече с вами. Иехуда рассказал ему о вас. Вы говорите по-английски? — Ну, конечно!” Немолодые, некрасивые женщины нежно поглядывали на меня с дивана — видимо, моя борода свидетельствовала о том, что я — единственный представитель породы творцов в этом доме. В центре салона, у стола с напитками, стояло несколько мужчин в темных костюмах, с бокалами в руках. “Джентельмены, — протрубила хозяйка по-английски, все еще интимно касаясь моей руки, — я хочу познакомить вас с нашим писателем, господином Йонесом”. Кружок мужчин развернулся по направлению ко мне с легким поклоном, с вежливой улыбкой, застывшей на полдороге. “Господин Зельников. Господин Йонес. Господин...” — представляла госпожа Дотан каждого из своих гостей, точно замечательный торт, гордость поварихи. А двум израильтянам, находившимся в той компании: “Вы-то знаете господина Йонеса, читали, разумеется, его книги”. Гости не знали, как поступить со своими улыбками, и оставили их в том же замороженном виде. Два израильтянина, не читавшие моих “книг”, покивали головами. “Господин Зельников, — торжественно обратилась к нему хозяйка, — это человек, о котором говорил с вами мой муж. Вы, конечно, помните”. Зельников не помнил, но покивал большой, как у бегемота, головой с тяжелыми старческими веками. “Да, да”, — разглядывал он меня, держа перед собой бокал. В эту минуту показался сам Дотан, поприветствовал меня, налил шампанского в бокал и подал мне, сказал Зельникову несколько слов, продолжая прерванную ими беседу, потом положил мне руку на плечо и отвел в сторону. Зельников, — обратился он ко мне, как к своему сообщнику, — ищет оригинальный израильский сценарий, и он готов вложить полмиллиона в производство фильма. По ходу беседы с ним — когда он называл ему различные книги и темы — ему пришла в голову мысль, что вообще-то Давидов — это лучшая тема

для большого, хорошего израильского фильма, который мог бы охватить все проблемы страны. Всю историю заселения, всю великолепную, полную приключений эпоху первостроительства — сквозь призму жизни одного человека, душой и телом воплотившего высокие идеалы поколения! Это просто чудо — роковое совпадение — что в тот же день, прямо перед встречей с Зельниковым, он разговаривал со мной. Богу так было угодно. Когда он рассказал Зельникову о похождении Давидова — не обо всех, самую малость — у того глаза загорелись. *Очень заинтересовался.* "Приведи, говорит, ко мне этого человека. Тема серьезная!" Потом Дотан расписал мне, как он представляет себе этот фильм, какие выгоды он сулит стране, "и тебе лично, разумеется, — прозрачно намекнул он, — во всех отношениях, нечего тут и разяснять". Зельников готов заплатить две тысячи долларов плюс проценты за сценарий, если он ему понравится. Готов выдать безвозвратный аванс размером в пятьсот долларов, если ему будет сказано, что ты приступил к работе. Обеспечена и правительственная поддержка. "Я не прошу тебя сразу же мне отвечать — да или нет. Подумай. Пусть поварится в тебе. Мне-то мысль пришла внезапно. Но прежде всего поговори с ним. Я хочу, чтобы вы познакомились".

Дотан положил нам обоим руки на плечи — мне и Зельникову — и вывел нас в садик. Теперь Зельников все вспомнил; это тот энтузиаст из России, воевавший и с арабами, и с англичанами. История с нелегальными иммигрантами и изгнание на Кипр. Сын, погибший во время Освободительной войны. Очень волнующая история. Главная проблема — это сценарий. От сценария зависит весь фильм. Он должен носить универсальный характер, так чтобы он задевал за живое любого человека — итальянца, грека, американца — даже если у них нет никаких предварительных знаний о нашей национальной проблематике и историческом фоне. В этом секрет успеха лучших фильмов — "Мост над рекой Куэй", "Пушки Навароне", "Промчался, как ветер".

Давидов должен быть прежде всего *живым*, человеческим, со своими достоинствами и со своими недостатками — не эмблемой! — чтобы любой зритель мира мог сопереживать ему. Чтобы он мог сказать — это я. Или — я *мог* бы им быть... Не смог бы я набросать аннотацию, страниц десять—пятнадцать, до ближайшего вторника? Он улетает в среду, а возвращается через три месяца. Он мог бы взять рукопись с собой и подумать над ней в дороге. Если он увидит в этом основу для сценария — можно будет заключить договор. Смогу ли я это сделать до ближайшего вторника?

В салоне хозяйка подлила мне шампанского. "Мой муж возлагает на вас большие надежды", — бросила она на меня теплый взгляд. На диване возле меня сидела женщина с жемчужным ожерельем на сморщенной шее, — она заинтересовалась моим творчеством. Пишу ли я только сценарии или еще и романы, пьесы? Может ли израильский писатель заработать себе на жизнь литературным трудом? Женат ли я? В какие часы дня или ночи я обычно пишу? Зависит ли это от вдохновения? Не читал ли я, случайно, последнюю книгу Германа Вука? "Вы превосходно говорите по-английски!" — засияли мне ее жемчужины.

Шампанское быстро оказывало на меня свое действие. Я стал легким, ветренным. В моей голове порхали разноцветные ленточки. На моих губах пузырился смех. Я видел сияющий дворец и птичье гнездо. Женщин с ореолами над головами. Потоки меда. Возню чертенят. После пятого бокала я поцеловал хозяйку дома. После шестого — разом попрощался со всеми присутствующими и вышел на улицу. Небесные светила казались мне вертушками и фейерверком, точно в праздничный вечер.

Как в почтовый ящик покойного продолжают класть письма еще долгое время после его смерти, так и ко

мне все еще приходят письма в связи с книгой, которую я не пишу. Сегодня утром я нашел в почтовом ящике письмо от жителя Беэр-Шевы, Хаима Кафри, в прошлом пальмаховца, знавшего Давидова во время строительства дороги на Сдом в 1952 году. Целью письма было уточнить одну деталь в его рассказе, записанном мною полтора года тому назад. Я привожу здесь это письмо для того, чтобы устранить препятствие с пути тех, кто собирается как-нибудь воспользоваться моими записями:

”Здравствуйте, господин Йонес.

Я полагаю, что Ваша книга уже готовится к печати. Все же я отправляю Вам эти строки, надеясь, что Вы еще успеете внести некоторые изменения в главу о Беэр-Шеве—Сдоме.

Несколько дней тому назад у нас собрались друзья, и мы предались воспоминаниям о ”тех днях”, как говорится. Так или иначе, разговор зашел о Давидове, и по ходу беседы мне стало ясно, что я ввел Вас в заблуждение в некоторых деталях *истории с домом*. Возможно, что Вы не придадите этому большого значения, но поскольку я считаю себя ответственным за все, что я рассказал Вам, — а кто-нибудь может оказаться из-за этого в неловком положении — я не хотел бы вызвать этим различные обвинения, кривотолки и тому подобное. Итак, все обстояло следующим образом:

Дом на улице Покорителей, который должен был получить Давидов (мне кажется, что я рассказывал Вам, что дом был в плачевном состоянии; ветхий арабский домик, почти разрушенный во время штурма), — *не был* тогда пуст. Он действительно был *обещан* Давидову, но поскольку Давидов работал тогда на шоссе, жил в курнубском лагере и заявил, что он все равно не сможет въехать раньше, чем через год, когда завершится работа, — дом был временно передан органами по опеке над оставленным имуществом одному из руководителей Отдела гражданского строительства, Шломо Давидзону. Этот Давидзон тем временем подремонтировал его, подправил, пристроил еще одну комнату и

т. д., и в итоге — как мне сказали — вложил в него около пяти тысяч фунтов. Когда Давидов потребовал выполнить обещанное — Давидзона уже нельзя было выставить оттуда, и не только из-за вложенных денег, но и потому, что у него была большая семья (жена и четверо детей), а Давидов, если бы и переехал, поселился бы там только с женой, потому что его дочь, как известно, незадолго до этого выехала в Австралию.

Кстати, поскольку из всей истории с шахтным кооперативом на восемнадцатом километре ничего не вышло, — я сомневаюсь, стал бы он переезжать в Безр-Шеву, даже если бы ему и дали этот дом.

Весьма понятно, что это дело огорчило его; к тому же он находился в подавленном состоянии в те дни в силу известных Вам причин; но, как мне теперь стало ясно, нельзя обвинять в этом тех, кто отвечал тогда за распределение пустующих зданий в городе.

Я надеюсь, что Вы успеете внести эту поправку и что я не причиняю Вам этим большого беспокойства.

С наилучшими пожеланиями.

Хаим Кафри”.

33

Я пропускаю многочисленные встречи, многие события сорок шестого, седьмого, восьмого годов и приступаю к тому горькому, внезапному вторнику, 20 июля 1948 года, когда отец отправился повидать сына и уже не застал его.

На рассвете 10 июля, с истечением срока первого перемирия, Давидов находился в броневой колонне, захватившей Вильгельму, аэродром в Лоде, Тиру и подходившей к Дейр-Тарифу. На следующий день он принимал участие в тяжелых боях за Бейт-Набаллу. Вечером того же дня силы Арабского Легиона оставили эту деревню и в нее вошли наши части. Давидов был тогда минометчиком. Он находился в блиндаже в северной части деревни. В то время как отряды ”Ифта-

ха'' атаковали с двух сторон Лод и Рамле, к северу и к востоку от Бейт-Набаллы еще велись артиллерийские бои. В понедельник утром на укрепленные пункты обрушились снаряды, пущенные с позиций Легиона, и только через четыре часа удалось отбросить врага к горам. В последующие четыре дня — после того как Лод был взят целиком, включая и полицейский участок с укрепившейся в нем сотней солдат — деревня оставалась объектом тяжелого обстрела из пушек и минометов, танковых и пехотных контратак. Кола, в семи километрах к северу от Бейт-Набаллы, несколько раз переходила из рук в руки, а в Хадите, расположенной южнее, все еще продолжались бои. В субботу, когда снова было заключено перемирие, паренек из отряда "Хаэmek" принес Давидову записку от сына, переданную кем-то, ехавшим с позиций Шаар-ха-Гай через Хульду к Барфилие. Записка помечена пятнадцатым июля. Я привожу здесь содержание этого клочка бумаги, хранящегося у меня вместе с остальными непропавшими письмами:

"Укрепление Дейр-эль-Амир, 15.7.48.

Дорогой папа!

Я спешу написать тебе, пользуясь случаем — один из наших отправляется к вам, на равнину, и надеюсь, что он найдет тебя где-нибудь там в районе Лод—Рамле. Мы держимся здесь у Орлиного гнезда, на высоте 650 м над уровнем моря, и если бы я не был близорук, возможно, увидел бы тебя на широкой равнине, простирающейся внизу до самого горизонта, — спокойной, пасторальной, подернутой тонкой пеленой тумана, курящейся голубоватой дымкой то здесь, то там, точно войны нет и в помине. До сих пор все шло довольно гладко. К этой скалистой вершине мы подошли за полночь, совершив довольно долгий, утомительный переход, но почти без боев. Прошлой ночью мы взяли Цову — старым приемом из истории с Айем¹, которую

¹ Город ха-Ай (в рус. пер. Библии — Гай) известен из истории войн Иошуа бин-Нуна (гл. 8).

солдаты противника не учили в детстве. Укрепление мы нашли пустым, а когда взошло солнце, еще успели разглядеть последних из драпающих. Дальше, чем на ружейный выстрел, слава Богу (эта моя "слабость", страх встретиться с ними лицом к лицу, относительно которой ты пытался доказать мне, что это не слабость...). Итак, мы продвигаемся полным ходом, и если солнце остановится на несколько часов, а перемирие не будет объявлено (ходят слухи), то мы с тобой встретимся на полпути, где-то в районе Латруна. Журналистам будет предоставлена возможность описать драматическую встречу двух замыкающих "клещи" колонн, в первых рядах которых — отец и сын... Если же все-таки заключат перемирие (Бернадот, поговаривают, решил отдать Иерусалим арабам, и если в Тель-Авиве думают покориться ему, то — как тут у нас говорят — под знамена! Гражданская война!), значит будем по-прежнему валяться на этих высотах, и я успею сделать еще несколько набросков "солдат на отдыхе", весьма дилетантских набросков (главным образом, подошвы ботинок... Кстати, несколько дней тому назад мы получили недельной давности номер "Давара", и в нем "точки зрения" пятнадцати художников, критикующих недавнюю художественную выставку, — нечто о необходимости "стремиться к возмужанию, изживая незрелость и дилетантство"... Дилетантство, разумеется, надо изживать, но что плохого в "незрелости"? Зрелый плод насмехается над незрелым, а может, и злится на него?...)

Военной карьеры я уже явно не сделаю, и твой отпрыск "героем войны" не станет. В любую свободную минуту (а иногда и во время самих походов, когда ремни впиваются в плечи, а солнце печет голову) охватывает меня желание рисовать — именно красками и именно пейзаж. Война (может, это и несколько сомнительная идея) придает пейзажу какой-то иной оттенок, как бы полностью обнажая материал. Все становится гораздо выразительнее. Валуны окрашиваются в цвет верблюжьих черепов и костей... Арабские домишки

впитывают невероятное количество солнца, так же как известняки в районе Мертвого моря. Что-то невообразимое, как после извержения вулкана ("горы дрожат, и все холмы колеблются"¹), тот же "излом" или "взрывчатость", о которой ты как-то говорил в связи с Гойей. Но здесь — жесточе, может быть потому, что солнце более жестокое. Даже в эту секунду, когда издалека (с вашей стороны, по всей видимости) послышалось приглушенное эхо пушечного выстрела, — даже у звука есть свойство влиять на цвета пейзажа. Если говорить об "израильской живописи", то она наверняка будет иной, нежели европейская, и даже испанская, — из-за сильного света, снимающего цветовые контрасты. Нет ни красного, ни чисто синего, ни чисто зеленого, как у Эль-Греко или Веласкеса. Когда мы были в Абу-Гоше и я снова пригляделся к этой статуе мадонны над входом в церковь, я понял, какое тут колоссальное противоречие между ее мрамором и тем диким движением, которым все вокруг охвачено. Чужой образ, не имеющий никакого отношения ни к пейзажу, ни к давнему времени, въевшемуся в пейзаж (а может, это и есть причина того упорного сопротивления установке статуй во времена греков и римлян?...). "Пейзаж — внутри", как сказал ты мне как-то, но это самое "внутри" у меня весьма подвержено влиянию "извне". Я меняюсь. Я совсем иной — в той обстановке, в которой сейчас нахожусь, — чем тот, каким я был дома, до боев.

Если не считать усталости (две ночи подряд без сна, походы и т. д.), у меня все в порядке. Всякие прежние опасения — исчезли или высохли под солнцем. Странно, но именно здесь, сейчас, на этих высотах, где ждут контратаки, которая наверняка начнется через час-другой, — не занимают меня никакие размышления ни о "страхе", ни о "смерти". Может, это оттого, что я близорук и время "рассекается" у меня на формы...

¹ Иеремия 4:24.

Я вынужден закругляться. Ребята из боевых частей Хаганы прибыли несколько минут тому назад из Иерусалима. Как видно, чтобы сменить нас. Я пока что не знаю, куда нас переведут. Может быть — на другой фронт. Как бы там ни было — наверняка скоро встретимся. Если ты увидишь маму раньше, убеди ее в том, что ей нечего обо мне беспокоиться. "Догоним, настигнем, разделим добычу". Враг убегает от меня прежде, чем мы успеваем схватить его за хвост.

Любящий тебя

Нимрод".

В субботу и в воскресенье еще продолжались бои в окрестностях Бейт-Набаллы. Противник сконцентрировал силы в Будрусе, прилагая все усилия к тому, чтобы вновь захватить Хадиту. Пять раз атаковал и был отброшен, неся потери в живой силе и в технике. В Колу снова вошли солдаты Легиона, и только в воскресенье на рассвете она была вновь захвачена нашими. Бейт-Набаллу продолжали обстреливать. Колонна броневиков подошла к передовым высотам, вынудив наши силы отступить, и только после боя, продолжавшегося несколько часов, атака была отбита, и деревня полностью перешла к нам. В понедельник из Тель-Авива прибыла рота ветеранов Хаганы, чтобы сменить местные силы и расположиться здесь гарнизоном.

Во вторник утром, 20 июля, когда перемирие уже вошло в силу, Давидов получил увольнительную на пять дней. В девятом часу он прибыл в безмолвный Лод, по улицам которого еще носился дым недавних боев, — валялись разбитые броневики, трупы лошадей, обломки мебели, мотки проволоки, — и направился в штаб бригады. Он намеревался съездить домой. в Кфар-Сабу. Около входа остановился джип, и кто-то окликнул его по имени. Давидов с радостью узнал Роженского, жителя Беэр-Тувии, который был вместе с ним в тридцать седьмом году в ФОШе, патрулируя вдоль "восточной линии". Роженский направлялся в Иерусалим, и Давидов тут же, на месте, решил отка-

заться от поездки домой и подняться вместе с товарищем в горы, надеясь найти Нимрода на позициях Шаар-ха-Гая или Хартува. "Всю дорогу он был в приподнятом настроении, — рассказывал Роженский. — Все время восторгался "десятидневной операцией", видом захваченных территорий по обе стороны дороги "Бурма". Он весь светился какой-то открытой гордостью, не свойственной ему. Много говорил, смеялся, рассказывал о подвигах тех ребят, которые были с ним на позициях. О сыне не говорил. Даже не упомянул его". Прибыв в Шаар-ха-Гай, они спросили, где находится штаб полка "Иерусалим", и их послали к водокачкам, стоявшим внизу, на шоссе. В конторе, около водокачек, Давидов попытался узнать, где находится рота его сына, и ему ответили, что она стояла здесь дня два тому назад, а теперь перешла в Бейт-Нобу, расположенную над дорогой к Латруну. Тут Давидов расстался с Роженским, прошел метров сто в обратном направлении и поднялся по тропинке, ведущей к Бейт-Нобе. Когда в полдень он подошел к укреплениям, командир роты был очень удивлен, убедившись в том, что Давидову ничего не известно о гибели сына. Он был уверен, что тот пришел, получив извещение, которое вчера было послано ему на дом. Давидов сначала не понял, когда тот забормотал что-то ему в утешение. Когда тот произнес: "Погиб", Давидов закричал: "Кто?" Командир не знал, что и сказать. "Я думал, что вам известно", — промямлил он. "Я спрашиваю о Нимроде, Нимроде Давидове", — не желал отец уразуметь сказанного. Потом свалился на мешки с песком и сидел — ошеломленный, безмолвный. Командир сел рядом с ним и рассказал ему о бое, произошедшем в ночь на 18-е июля: в полночь вышли атаковать восточные укрепления Латруна. Две высоты были взяты под покровом темноты, но на рассвете подъехали со стороны Ялу броневики Легиона и с ними танк. У роты не было тяжелых орудий. Началась паника, бегство. Рота была окружена, арабы заняли ключевые позиции. С первым лучом солнца пришел приказ об отступлении. Во время

отхода Нимрод был тяжело ранен. Остался лежать на поле. Когда наши вернулись и подошли к нему, он уже не дышал. Тела погибших были перевезены в Кирьят-Иеарим.

К вечеру Давидов добрался до дома. Его жена знала о случившемся еще со вчерашнего дня, но отказалась ехать на похороны. Ночью до поселка доносились крики несчастного отца со стороны домика в роще: "Почему ты покинул нас, почему?"

34

Летом 1952 года я, в числе девяти студентов-добровольцев приехал на строительство дороги к Сдому, в лагерь, бараки которого находились тогда в пункте, называемом "Курнуб-3". Человек восемьсот плавилась в этом пекле, где асфальтовая змея мучительно проби-вала себе дорогу под выбеленными небесами, пересе-кая безмолвный простор, который терзали песчаные бури, прокатываясь от горизонта к горизонту. В обла-ках клубящейся пыли с известковых горок доносился приглушенный рокот отбойных молотков, пробивался скрип зубьев экскаватора, бодающего горы комней и ссыпающего их в пропасть, или скрежет цепей, молотя-щих известняк в белую пыль, которая разлеталась ко всем чертям и восходила дымком над ущельями. В полдень это пекло возопило от жажды, когда цистерна с водой задержалась, застряв где-то в пустыне, на пол-дороге от Иерухама или Беэр-Шевы. Кто-то расходил-ся, распускаясь, замахивался молотком или колом на одного из десятников, заражал своим бешенством це-лую толпу, криком заглушавшую рокоты гор. На рас-каленном жестяном бараке красовалась большая над-пись дегтем: "Все ашкеназы — ворье, все сефарды — молодцы", и динамит, втиснутый в щели, высверлен-ные в скалах, грозил рвануть и схоронить лагерь вме-сте с его обитателями. Бич полиции, внезапно появляв-шейся на шоссе пару раз в неделю, загонял этих бедо-

лаг в окрестные скалистые крепости, и там они укрывались до тех пор, пока не утихали страсти. Дробильщик по фамилии Джексон, осужденный за грабеж, каждый день менял свою внешность: закутывал лицо платком, надевал сомбреро, отпускал бакенбарды — чтобы ускользнуть от рук правосудия. Взрывник-алжирец, по прозвищу "Индокитай", рисковавший жизнью, закладывая толовые шашки в вертикальные стены ущелья, стоя над пропастью, хлопнул как-то по голове рабочего-друза так, что у того хлынула кровь из горла. Морис, хайфский сутенер, воровал из кухни мешки с сахаром и по ночам таскал их в Безр-Шеву. Будрам Халфу из Триполи, ответственный за доставку мяса, выделял себе обильную дань, пряча ее в своей палатке. Мордехай Агабаба, молотобоец, завел себе три трудовых карточки и еженедельно утраивал свою зарплату. Питьевая вода была теплой и мутной, в кружках плавали маленькие червячки. Четверых шоферов застукали как-то ночью, когда те устроили в бараке оргию с тремя девчонками, привезенными из города. Матильда чистила картошку, сидя на табуреточке у входа в склад, широко раздвинув ноги, и ребята расхаживали взад и вперед, вглядываясь в ее прелести, выставленные на обозрение. Кадки с гашеной известью отравляли воздух. Парень по имени Мендель, беженец из Восточной Европы, во время войны работавший на рудниках Силезии и Катовице, остался калекой после того, как, спускаясь по веревочной лестнице на скалистую площадку, был сброшен обвалом в ущелье. Венгр по фамилии Либович, работавший на отделке обочин, без конца говорил о нервах, рефлексх, о коитус-резерватус. Парни в красных платках пели возле котлов с кипящей смолой: "Жозефина, Жозефина". Как-то ночью Саломон-Саломон, новичок из Индии, сообщил двум товарищам, стоявшим с ним в карауле, что ему "все осточертело", зашел за одну из скал и застрелился. Шоссе со стонами и вздохами пробивало себе русло сквозь две глыбы иссохшей горы, исчерченной гусеницами бульдозеров, и подступало к нагромождению

скал на вершине, с которой виднелась широкая равнина Мертвого моря, край пылающих просторов, застывших в день творения, точно поднявшихся из морских глубин после потопа.

Давидов был распорядителем; разъезжал на джипе. Он заслужил себе здесь недобрую славу. Я проработал два дня, дробя камни, а его не видел. Рассказывали, как он поссорился с двумя парнями и выгнал их из лагеря. В степи, у асфальтовой полосы стояли одинокие, закутанные в черное бедуины, один здесь, другой там, держа в руках связанных барашков, продавая их за гроши, чтобы не довести до голодной смерти из-за засухи. Водители грузовиков, возившие каменные глыбы, щебень, воду, продовольствие, — останавливались возле них на минутку, совали им в руки лиру и получали тушки живого мяса — для трапезы или на продажу. Как-то возле одного из бедуинов остановился джип, и двое верзил выскочили на дорогу, выхватили из его рук барашка и умчались по направлению к Беэр-Шеве. Ограбленный шел полдня по пустыне, пришел в лагерь и робко слонялся между бараками, не зная, с кого спросить за кражу. Тут подвернулся Давидов и поинтересовался, чего ему надо. Когда тот поведал ему о своей утрате — взял его с собой и повез в город. Там он нашел эту парочку в одном из ресторанчиков. Выволок их, притащил к бедуину на стоянку. Велел им вывернуть карманы и все отдать старику. Потом с позором изгнал их из лагеря.

Как-то в самую жару, когда я колот щебень для насыпи, кто-то тронул меня за плечо: "Дай-ка мне на секунду молоток, покажу тебе, как надо делать". — Это был Давидов, тот же, что и на соляных озерах в Атлите много лет тому назад. Его виски поседели, потускнели угольки глаз. Но хватка осталась такой же крепкой, как и прежде. "Вы не узнаете меня?" — спросил я, когда он вернул мне молот. Пригляделся ко мне, процедил: "В Атлите, кажется, а?" Но задерживаться не стал. Забрался в джип и покатил вниз, разбрасывая щебень.

Я решил, что он забыл обо мне. Но через пару дней он снова притормозил возле меня. "Тяжело, а?" — спросил он и повез меня по грунтовой дороге — работать внизу, в ущелье, с геодезистами, вдалеке от отбойных молотков и шума раскалываемых глыб. "Покажи ему, что он должен делать, — сказал он Сасону, — и научи его пользоваться теодолитом". На голове у Сасона был коричневый пробковый шлем, сохранившийся у него с тех времен, когда он служил полицейским в Багдаде. Теодолит он считал ритуальным орудием, поднимающим его до положения священнослужителя среди этого пустынного сброда. Он отправил меня с зеленым флажком размечать углы и расстояния, а сам поглядывал в объектив. Вокруг тянулось скалистое пространство, усеянное каменными обломками, точно осколками тысяч разбитых кувшинов. Горячий ветер лязгал черепками. Я втыкал столбики в щебень. Когда Давидов вернулся, он выругал Сасона, сидя в джипе, за то, что тот не подпускал меня к теодолиту. "Я хочу, чтобы он выучился", — сказал он и покатил по верхам горной гряды. "Недобрый человек, — заметил Сасон. — И чего он сердится?" А потом добавил: "Вообще-то, все здесь такие. Все из-за этого шоссе. Человек становится зверем, жрущим камни и пьющим смолу".

Вечером я застал Давидова в опустевшей столовой, в унынии повисшей в воздухе пыли, голых досчатых столов и колченогих скамеек, зараженных желтоватым свечением. Он спросил меня — как я поживаю, что подделывал с тех времен, с Атлита, и как я очутился здесь. Когда я сообщил ему, что изучаю литературу в Иерусалиме, он сказал — хорошо, что я приехал сюда. В этой печи выплавляется новая страна. Восемьсот человек из семидесяти стран плавятся здесь, втрамбовываясь в шоссе, ведущее к Сдому. Они меняются с каждым километром. Когда дойдут до Мертвого моря — станут просто неузнаваемыми. Палящая пустыня сотворила этот народ три тысячи лет тому назад, палящая пустыня творит его и теперь. Тот, кто не пройдет через горнило этого шоссе, — не узнает этого народа. Слова его

были бодрыми, но голос безрадостным. Голос был усталый, и не было в нем той давней искры. Позже он указал мне на старика в вышитой ермолке, сидевшего в углу и читавшего книгу. "Глянь-ка на этого вот, — сказал он. — Из Туниса. Его зовут Шломо Абусдрус. Угадай-ка, что он читает, в этой пустыне?" Мы подошли к старику. Это была книга Зохар, издательства "Сияние небес", Джербе, Тунис, с комментариями на арабском, набранными еврейскими буквами, составленными Яковом Башири. Давидов, видимо, давно знакомый с ним, уговорил его изложить нам какое-нибудь из своих толкований. Абусдрус заговорил: "Есть в аду три рода огня: огонь пожирающий и впивающий, огонь впивающий и не пожирающий и огонь, пожирающий огонь. Есть там уголья величиной с гору, уголья величиной с Мертвое море и с большой камень, есть там реки, текущие смолой и серой, затягивающие и кипящие. О чем все это сказано? — О шоссе к Сдому. Потому что вот день нынешний — пылает, как печь". — "А ты, Абусдрус, — спросил Давидов, — грешник ли ты, раз жарись на адском огне?" — "Я грешник *средний*, — усмехнулся старик, обнажив желтые зубы. — Средние опускаются в ад, чирикают и возносятся. Таких Господь проводит сквозь огонь, очищая их, как серебро. Опустит в ад — и вознесет!"

Марокканцы, алжирцы, тунисцы — боялись Давидова и не любили его. "Недобрый человек, — рассуждали они, — не говорит, не радуется, не дружит ни с кем". Румыны, поляки, венгры не знали ничего о его прошлом. Немногие уроженцы страны старались с ним не сближаться. В нем была показная агрессивность, скрывавшая скованность и ранимость.

В те дни Давидов носился по горам на джипе, разыскивая новые вехи для шоссе, застрявшего на подходе к глубокой низине. Он хотел обогнуть отвесный склон, спускавшийся к долине, где машины не могли удержаться на своих гусеницах. Два дня я ездил с ним на джипе, вразнос плясавшем по камням, оврагам, уступам, по склонам скалистых гор. Иногда нам попада-

лась на глаза — за плечами сфинксов, за шеями динозавров — полоска моря рядом со Сдомом, вычищенная солнцем, а к югу от нее долина Цоар, зеленеющая тростниками, точно напоенный влагой сад за соляными горами. Иногда мы подъезжали к краю обрыва, останавливаясь над долиной. От Сдома нас отделяли глубокие низины. Как-то, когда мы с ним сидели на камнях у обрыва, Давидов сказал: "Много лет тому назад я хотел добраться до Сдома морем — и не дали мне. Теперь я пытаюсь дойти до него по суше — и снова нельзя. Вижу его издалека. Невеликий я праведник. Кончится все, видимо, тем, что я обращусь в соляной столб". На губы его легла легкая, точно мерцание свечи, улыбка; сверкавшее лицо погасло. Молодость была выдрана из него — с сыном, с дочерью.

До Сдома он не добрался. Как-то ночью в лагере послышался выстрел, а утром сообщили, что Давидов тяжело ранен. Один из часовых, молодой студент из Иерусалима, услышал шаги за оградой, спросил, кто идет, и, не получив ответа, нажал на курок. Не промахнулся.

Потом сестра из Безр-шевского госпиталя рассказала, что он просил, чтобы его похоронили рядом с сыном, в иерусалимских горах.

35

Читатель спросит — чем же кончилась история с Нили? В романах такие истории кончаются взволнованной сценой, полной слез, длительных пауз и сдавленных болью слов; или иначе — склокой, которую подслушивают из-за дверей соседи, насмешливо покачивая головами. Здесь же я обязан рассказать одну лишь правду, без прикрас, а правда, в которой столь мало поэзии и драматизма, такова, что после той печальной ночи в моей комнате, с Эвьятаром и Лвией, Нили просто больше не появлялась. Испарилась. Исчезла. Никто из наших ее не видел — ни в "Подвальчике", ни на улице, ни

в одном из баров, в которые мы иногда заглядывали. А в "Подвальчике" все пошло по-прежнему, "И юноши сидят, и жены их зевают, и все они приятны и милы". Снова велись эти пустые разговоры о каком-нибудь напечатанном стишке, о какой-то статье, которая скоро выйдет, иногда остроты, иногда укусы. Эвьятар обвивал Лвию рукой, а она клала ему голову на плечо. "И мир, и покой — и унынье". Не было уже того напряжения, заражавшего воздух, ни блеска в глазах мужчин, внимательного, нежного, насмешливого. А что касается самой Нили... Несколько недель тому назад приятель рассказал мне, что видел ее в академгородке, возле дома, с распухшим животом, с хозяйственной сумкой в руке, — она стояла и разговаривала с соседкой, тоже державшей хозяйственную сумку. Лицо ее пополнило, округлилось, а выражение его такое, как при большой усталости или после долгого сна. Да, она красива, как и прежде, шея так же высока, волосы такие же золотые, но вот то сияние, которое исходило от нее...

Я встречался еще с шестью—семью личностями после той ночи, когда я так спешно возвращался из Эйн-Харода домой: с Дотаном, Рожанским из Беэр-Тувии, с Шаулом Авраами из Иерусалима, с Галили, с Мендельсоном. Через пару дней после того, как я вернулся из Беэр-Шевы, встретившись с Хаимом Кафри, я свалился в постель. Я чувствовал боль в груди, у меня подскочила температура. Никто не заходил ко мне в комнату, и почти что целых два дня у меня не было во рту ни крошки. Голод ослабил меня, я лежал и дремал. Бессмысленно разглядывал солнечный квадрат, ползущий по стене со скоростью часовой стрелки — слева направо, пока не пропадал. Меня посещали знойные видения, в которых переплетались пейзажи страны — берег Иордана, горы Ханиты, простор Мертвого моря... Дважды в этом бреде я преследовал Нили, дважды набредал на Давидова. Сбор воспоминаний подошел к концу. Картонная папка лежала на столе, лопааясь от обилия содержимого. В нее были втиснуты двадцать семь глав. Каза-

лось, что они разбухают, точно тесто. Только на второй день вечером зашла госпожа Зильбер, так как "сердце ее чуяло". Она приступила к бурной деятельности. Подняла меня и проветрила постель, прибрала в комнате, поставила воду на огонь, вышла и принесла мне поесть. По ходу дела она не прекращала читать мне нравоучения. "Вот что случается, когда ведут такой ненормальный образ жизни", — и все в таком духе. Измерила мне температуру, и увидев тридцать восемь и две, умчалась звать врача прежде, чем я успел что-либо возразить. В семь пришла врачиха, воинственная дама с тяжелой мужской походкой. Низким голосом она приказала мне сесть, раздеться, дышать, глянула мне в горло, выслушала грудь, сердце. Тем временем спрашивала меня — чем я занимаюсь, где работаю, каков распорядок дня, не перетруждаюсь ли. В конце концов она сказала, что ничего не находит. Оставила какие-то таблетки и пообещала прийти завтра. На завтра, когда она пришла, температура уже спала, но боли в груди все еще продолжались. "Что именно вы чувствуете?" — спросила она. Я ответил, что мне тяжело дышать. Колет при каждом вздохе. Общая слабость. "Нервы, — решила доктор Густа Бухгольц. — Все, что вам нужно, — это покой. Абсолютный покой. Не работать, ясно? Не засиживаться вечером допоздна. Не писать. Недели две—три совсем-совсем не работать. Уехать в какое-нибудь тихое приятное место, за город, и отдохнуть. И побольше спать. И никаких дел с девочками, ясно?" — усмехнулась она из-за очков, защелкивая сумочку. А с порога обернулась и спросила: "Знаете, что сказал Гете? Кто придает усилиям постоянство, того лишь удастся нам спасти".

Йонина оторвала меня от писания. Вечером она вошла, попросила извинить за беспокойство и объявила, что пришла только затем, чтобы сообщить мне, что конфликт ее отца с отверженным женихом разрешился наилучшим образом. Ардити уплатил Кальфону

250 лир, и они расстались с миром. И с братом помирились. И все это благодаря мне. Благодаря мне? — рассмеялся я. — Какова была моя роль в этом примирении? В те два раза, когда я с ее отцом был у Кальфона, я почти что и не вмешивался в переговоры. Ну нет, — сказала она, — если бы не я, они бы не сговорились. Из уважения ко мне они воздерживались от грубостей. Даже само мое молчание обязывало их к умеренности, и так они пришли к согласию. Я пожелал ей, чтобы она нашла жениха по сердцу, как можно скорее. Ее глаза повлажнели. "Тот, кого я желала бы, не захочет меня", — осенила ее щеки улыбка, точно луч заходящего солнца. "О, такая чудная девушка, как ты..." — попытался я ободрить ее. Она глянула на лежавшие передо мной листы бумаги и спросила — что я пишу. "Я пишу повесть о книге, которую я не написал", — ответил я. Она рассмеялась: "Хотел написать и не написал?" — "Да, я хотел написать книгу, а книга не захотела меня". — "Почему же она не захотела тебя?" — щебетала она. "Об этом-то я и пишу", — положил я руку на листки. "Может, и ты хромаешь?" — усмехнулась она. "Может быть", — ответил я. "А вот это — то, что ты сейчас пишешь, — оно тебя хочет?" — продолжала она играть со мной. "Я еще не знаю, — сказал я. — Если буду писать правду — наверняка захочет". — "Так уж трудно писать правду?" — улыбнулась она. "Да, — ответил я. — Писатель на каждом шагу может оступиться. На каждом слове его подстерегает ложь". — "Зачем ему лгать?" — рассмеялась она. "Чтобы... Может быть, он думает, что от этого будет красивее". — "Но ведь лгать некрасиво", — заметила она. "Верно", — согласился я. Она поглядела на меня, сделалась серьезной: "Если бы я умела писать... Много чего у меня есть". Я спросил ее — о чем бы она написала. Она ответила, что написала бы о своей семье, как они жили в Марокко. У них была большая семья, и о каждом можно написать уйму рассказов. И о том, как она стала хромой. Может, как-нибудь она расскажет мне, а я напишу. Наконец, она встала, достала из сумочки нечто, заверну-

тое в бумагу, и сказала: "Это папа просил вам передать. Так, мелочь. В знак благодарности..." Я развернул упаковку и обнаружил круглые золоченые настольные часы. Вернул ей, заявив, что я ничего не возьму, что мне ничего не полагается, так как я ничего не сделал. Она поставила часы на стол и сказала, что если я их не возьму, то ни она, ни ее отец никогда не смогут спокойно глядеть мне в глаза, и это будет большая обида. Сказав это, она распрощалась и вышла. Я положил руки на часы, слушая звук ее неровных шагов по ступенькам.

36

Эпизод с потерей записей.

Сознательной потерей, разумеется! — усмехнется образованный читатель. Да, и я читал Фрейда. И все-таки я вынужден описать развитие событий по порядку:

Совет доктора Бухгольц "уехать в какое-нибудь тихое, приятное место, за город" пришелся мне по душе; не по той причине, которую имела в виду она — чтобы обрести абсолютный покой — а в надежде на перемену участи в силу перемены места. Вдали от города, — так я рассуждал, — вырвавшись из приятельских объятий, простившись со своей комнатой, со всеми воспоминаниями, впитанными ею, вдыхая воздух почище и находясь среди людей Давидовского сорта — я приду, наконец, в то состояние, в котором смогу начать работу над книгой. Я списался со своей двоюродной сестрой Юдит, живущей в кибуце Н., в Восточной Галилее, и спросил у нее, не смогу ли я у них некоторое время погостить. Вскоре пришел ответ: разумеется, она будет очень рада моему приезду, это не доставит ей никакого беспокойства, даже наоборот; а что касается упомянутого мною возмещения — Боже упаси, чтобы я и думать об этом не смел. Рано утром — это было в воскресенье, месяцев шесть тому назад — я впихнул кое-какие пожитки в маленький чемодан-

чик, а в кожаный портфель — папку с записями, пачку писчей бумаги, две—три книжки и прочие мелочи. В девять я выехал из города и к половине второго добрался до кибуца Н. Юдит встретила меня тепло, посмеялась моей бороде, которая была ей в новинку, и отвела в предназначенную мне комнату, где жило семейство, уехавшее в годичный отпуск; комнату, обставленную с великолепием, заслуженным многолетним кибуцным стажем. "Здесь ты сможешь сидеть и писать с утра до вечера, — сказала она. — И никто тебе не будет мешать. В городе ты никогда не сыскал бы такого тихого места". Окно было обращено к горам, высившимся по ту сторону границы, а вершина Хермона, окутанная легкими облаками, висела прямо над нами. Ближе к вечеру сестра зашла ко мне со своим мужем Фреди и двумя детьми, Эйтаном и Авиной, устроила мне короткую экскурсию по ферме, а потом отвела в столовую. После ужина, уложив детей спать, они пригласили меня к себе на чашку кофе. Для Фреди, здравомыслящего землепашца, насмешника, это был удобный случай — которого он, по-видимому, долго ждал — плеснуть иронией на "молодую литературу", оторванную от жизни, от всего реального, от подлинных проблем страны, и чешущей себе пуп для собственного же удовольствия, "в то время как здесь нам, прямо над головой, ежедневно грозят сирийские пушки". Юдит защищала меня; "Но чего же ты хочешь от него, Фреди, он-то пишет то, что в самом деле нужно сегодня писать!" — "Да, Давидов — это правильно, — примирительно изрек он, уступая ей, но в то же время оставляя меня под сомнением. — В этом я желаю ему успехов".

Назавтра — ясным, удивительно чистым утром — я извлек папку с записями, положил ее на стол и начал перечитывать все то, что записал много месяцев тому назад. Прочел четыре—пять страниц...

Не стану углубляться в подробности. Я пробыл в кибуце с воскресенья до четверга. Место было тихим, очень тихим, а природа — великолепной. Но этот безза-

ботный рай вскоре опротивел мне. Все мои надежды на то, что вдохновение придет ко мне само по себе, точно белый ангел, влетит через окно и станет подле стола — быстро улетучились. Видимо, что-то испортилось во мне, что-то заткнулось, и "смолкло эхо... ничего от прежнего богатства не осталось". Точно во рту больно-го, переставшего ощущать вкус пищи, притупилось во мне чувство прекрасного. Я оставлял и исписанные и чистые листы нетронутыми и выходил из комнаты, выходил с территории кибуца, отправлялся по грунтовой дороге к зеленым просторам; воздух был удивительно прозрачен, между горами лежала легкая дымка, пруды сверкали на солнце шпагами света и воды, птицы выстреливали из кустов, когда я проходил мимо них, сверчки посылали отрывистые радиосигналы в молчаливую даль — но все это великолепие только вгоняло меня в глубокую депрессию. Охваченный мрачными думами, угрюмый, слонялся Онегин по просторам, и "роща, холм и поле, его не занимали боле; потом уж наводили сон". Да, это спокойствие усыпляло меня. А по вечерам... Во второй же вечер ко мне зашел председатель совета культуры и попросил меня в ближайшую субботу сделать доклад о новой поэзии ("товарищам много чего есть сказать по этому поводу. А это подходящий случай. Более того — развернется дискуссия..."); в третий вечер заглянула какая-то девчонка с тетрадкой в руке, краснея, смущаясь, колеблясь, еле слышно попросила меня проглядеть подборку ее стихов и выразить свое мнение ("я пишу уже страшно давно, но не знаю, стоит ли это все чего-нибудь... И нужно ли мне продолжать... А ведь здесь просто не с кем посоветоваться..."); потом еще и преподаватель двенадцатого класса, и руководитель молодежного кружка... А в столовой — взгляды, шепотки... И обязанность ежевечернего посещения Юдит, игры с ее детьми и утомительные разговоры с Фреди о политической ситуации в стране... Нет, отдохнуть мне не удалось. Спокойствие природы утомило меня, уединение не изменило моей участи. Я перечитал свои записи, но белые

листы остались нетронутыми.

В четверг, в семь утра...

Я пытаюсь снова, в сотый раз восстановить в памяти подробности своей поездки из кибуца в город и уяснить — как же это случилось:

В семь я вошел в автобус, поджидавший пассажиров на площадке у столовой. Задвинул чемодан и портфель на верхнюю полку. Прибежала Юдит с большим пакетом яблок. Я отказывался взять их, утверждая, что у меня не хватит рук, чтобы все это нести. Она велела мне снять с полки чемодан и портфель — я могу положить на нее, она найдет место для яблок. Расстегнула портфель, вытащила из него картонную папку, пачку бумаги, книги; высыпала яблоки в портфель. Открыла чемодан, втиснула в него все то, что извлекла из портфеля. Снова задвинул я свои пожитки на полку и попрощался с ней. Уселся у окна — и автобус покатил по шоссе.

В 8.30 я приехал в Тверию. Вышел, купил газету, выпил чашку кофе. Вернулся в автобус. Сел, прочел газету. До Нацерета не касался ни чемодана, ни портфеля. После того, как мы проехали Нацерет, я снял с полки портфель, достал два яблока. Поискал том рассказов Мелвила, который брал с собой, и не нашел. Раскрыл чемодан, покопался в нем, нашел книгу. Ел яблоки и читал рассказы до самой Хайфы.

В Хайфе мне надо было пересесть на другой автобус. Засунул книгу в чемодан, взял всю свою поклажу и вышел. Зашел в ресторанчик на автовокзале, сел за стол, заказал кофе с пирожным. В одиннадцать я сел в автобус, направляющийся в Тель-Авив.

Снова извлек книгу, а чемодан упрятал на полку. До Тель-Авива к вещам не прикасался. На станции в Тель-Авиве я втиснул книгу в чемодан и сошел с автобуса. В два я уже был дома.

Только в пять часов вечера, выспавшись и начав разбирать шмотки, я обнаружил пропажу. В портфеле были яблоки, книга, мыло, полотенце. В чемодане были одежды, две книги, пачка чистой бумаги.

Папки с записями не было.

Кровь ударила мне в голову так, что в глазах потемнело. Я перерыл все свое добро, вытряхнул портфель и чемодан, сложил все в одну кучу и просмотрел каждый предмет — папки с записями не было. Кровь носилась по жилам, точно в ловушке. Я уселся на эту грудку развалин, пытаюсь собраться с духом и постичь: что случилось? Как это могло произойти? Где? Когда?

Может быть, Юдит не всунула папку с записями в чемодан, а оставила ее на сиденьи. Как же я тогда этого не почувствовал? Может быть, извлекая книгу из чемодана, я случайно вытащил и папку — и оставил ее на полке. А может, это произошло тогда, когда я клал книгу на место? А может быть, в ресторане? Или в Твении? Или кто-нибудь открыл мой чемодан. По ошибке. А может, я вообще не *взял* ее и она осталась в комнате, в кибуце... Но ведь я же *взял* ее! Я помнил, что всунул ее в портфель вместе с пачкой чистой бумаги! А может быть, все-таки не *взял*?...

Сознательная потеря — утверждает смысленный, образованный читатель. Но если бы он заглянул мне в душу в те минуты, когда в сумерках я сидел один-одинешенек в своей комнате, лишившись всего своего имущества, труда стольких месяцев, воспоминаний двадцати семи человек, целой человеческой жизни...

Испуганный, взвинченный, поспешил я на станцию. Спросил в бюро находок, в будке билетеров, в транспортно-конторе. Ни сном, ни духом. Выяснил номер автобуса, фамилию водителя, попросил сообщить о пропаже на все станции по дороге из Хайфы в Тель-Авив. Заскочил на почту и отправил Юдит телеграмму: "Пропала папка черновиками Давидове может осталась комнате сообщи немедленно".

Я вернулся в комнату потерянный, опустошенный. Ночью мне снилось, что я бегу по кособокому от Рош-Пинна к Киннерету. Спотыкаюсь о камни на опасных поворотах. Забегаю в какую-то рощу, около Мигдаля. Обезумев от солнца, ищу тень. Там стоит Менахем Швайг и грозит мне палкой. Я проснулся. Снова поко-

пался в портфеле, в чемодане, порылся в барахле, точно это был гривеник, который может застрять в складке.

В десять утра пришла телеграмма от Юдит: "Не нашла".

Я пустился в обратный путь, в кибуц Н. Выехал в двенадцать. В Хайфе я походил по станции, спрашивал в бюро находок, у билетеров, в кабинете начальника вокзала, в ресторане. Оттуда — в Тверию. Спрашивал в бюро находок, у билетеров. Часов в пять приехал в Н. Все вместе — я, Юдит, Фреди, дети — отправились в комнату, в которой я жил. Перерыли все вещи, пораскрывали все ящики. "Но я уверена в том, что положила картонную папку в чемодан! — удивлялась Юдит не меньше моего. — Две пачки и несколько книг!" Мы сидели ошеломленные, точно у смертного одра. Вечером мы пошли к водителю автобуса. Он утешал нас, — обязательно найдется. Отнесут на одну из станций. Это ведь не может принести пользы никому другому. Написана ли на папке моя фамилия? — Нет, не написана.

Долгая ночь в чужой комнате...

А назавтра — долгая дорога домой; в глазах мелькает свет — свет белых скал и каменистых полей, свет голубого, спокойного, древнего озера, свет шоссе, текущего сквозь иссохшие колючки, свет зноя, бьющего в лицо... А может, эти записи разбросаны страница за страницей вдоль всей дороги от Галилеи до... Полное разорение... Какая слабость во всем теле...

Конечно, можно было дать в газету объявление о том, что нашедший будет должным образом вознагражден. Но что сказали бы об этом все те, кто вручил мне свои воспоминания? Что бы сказал об этом Карпинич — уж не предложил ли бы он мне снова обойти всех двадцать семь опрошенных и снова все записать?

Писатель! Выбери себе посильный предмет и хорошенько поразмысли над тем, что тебе по плечу и что нет; ни слабость в языке, ни недостаток ясности — не мешают писателю, разумно выбравшему тему.

(Гораций. Послание к Пизону.)

Как я уже рассказывал — все это долгое время, пока я собирал воспоминания, до самой их потери — я не начинал обрабатывать их, то есть не приступал к писанию книги. Но теперь, когда я перечитываю многочисленные страницы этой "исповеди", которая уже подходит к концу, я замечаю, что заключенный в ней материал о жизни Давидова, восстановленный мною по памяти — частью моим старанием быть точным в подробностях, частью с использованием определенной писательской свободы, прельстившей мой писательский инстинкт — пусть он и составляет лишь малую часть того, что было мною собрано, отрывочен и разрознен, — он все же может послужить основой для написания книги, появления которой желали бы столь многие: знакомые Давидова, любившие его, его поклонники и почитатели, а также все те, кто сокрушается о том, что до сих пор не было дано литературного изображения такой изумительной эпохи в истории нашей страны. Я более не коснусь этого сырья в силу названных мною причин, я передаю его собратям по перу — если среди читающих эту книгу найдутся писатели, лучше и смелее, чем я, а главное, свободные от всех тех противоречивых чувств, раздражающих меня и рвущих из моей руки перо, — я оставляю им его, не прося ни гонорара, ни возмещения, ни благодарности. Пусть они примут эту пыльцу, собранную мною, и превратят ее в мед, а я буду среди тех, что придут зачерпнуть его ложкой. Но прежде, чем я расстанусь с ним, — несколько слов:

Во-первых, о том, что касается *имени*: даже если книге суждено стать биографическим романом, повествующим о жизни *известного* человека, в самом деле жившего и умершего, — имя героя *должно быть вы-*

мышленным. Ни в коем случае не *Абрам Давидов!* Пусть в этом имени будет намек на него — Давид Авраами, Авраам Бен-Давид или даже Ицхак Сурков — но только, ради Бога, не Абрам Давидов! Употребление точного, полного имени человека, скончавшегося немого лет тому назад, человека, которого при жизни знало такое количество людей, — это ловушка, в которую рискует попасть писатель. Даже если он всем сердцем будет стараться в точности воспроизвести все подробности — всегда найдется множество знакомых и друзей героя, которые будут говорить (или даже письменно заявят редакциям газет): не так это было. Всегда найдется кто-нибудь, объявляющий ложным свидетельство другого. А из тех, кому дорога память о покойном, всегда найдутся такие, которые станут обвинять тебя в том, что ты недостаточно осветил ту или иную черту этой разносторонней личности; а другие — о, сколь многие! — осудят тебя за то, что ты исказил его образ, измельчил его или, напротив, сделал его слишком уж прекрасным; и вообще — это не он! Его невозможно узнать! Фальшивый снимок! Так или иначе, шансы на то, что твой герой будет полностью соответствовать известной личности, что его портрет удовлетворит всех, знавших его когда-либо, — самые минимальные. "Полноценная биография — явление столь же редкое, как и полноценное существование", — сказал Карлейль. Следовательно, необходимо, чтобы имя было вымышленным. Если тебе удалось воспроизвести Давидова — все довольны; если нет — никто не станет предъявлять тебе претензии!

Во-вторых: только не дурацкое преклонение перед расчудесными былыми временами. Только не сентиментальный ностальгический вой. Только не раскаяние грешного сына перед почтенным, добродетельным отцом. Не говори, что те, первые — настоящие люди, а мы против них — бездельники. Бездельники? — Чушь! Возьми каждого из тех, кто тянет эту ношу сегодня... Или даже нас, компанию из "Подвальчика", другие такие же компании — нет, не компании, не всех

вместе, а каждого в отдельности, наедине с самим собой — неужели он всего лишь...

Да, мне следует рассказать об одном разговоре, произошедшем в моей комнате несколько недель тому назад, через пару дней после последнего заседания суда. Вечером, когда я сидел за столом и писал, ко мне вошли трое: Эвьятар, Шаул и Гумпель, — намереваясь выразить соболезнования. Они прослышали о том заседании, о словах, которые были зачитаны от моего имени. Удивлялись: как это обвинению стало известно о том, что я сказал навеселе, в доме у Накдимона, в узком кругу?

— Может быть, сам Накдимон... — робко предположил Эвьятар.

— Нет! Ни в коем случае не он! — замахал руками Шаул. — Он бы этого не сделал! Он не способен на такое! И вообще — все вы ошибаетесь на его счет.

— Ошибаемся?... — усмехнулся Эвьятар, зажмурившись, точно от дыма. Он сидел в углу съжившись, разогреваясь сигаретой, зажатой в пальцах.

— Да! Ошибаетесь! Ошибаетесь! Какие глупости! Весь этот цинизм — ведь это так, для шику! Маска! Снимите маску и... Неужели я должен вам рассказывать — писал бы он такие стихи, если бы в самом деле был таким...

— И вообще, — обратился он ко мне, — какое имеет значение, что ты там, по пьянке, сказал? Все равно же ты так не думаешь. "Тирания праведников"... Чушь! Давидов не был праведником, и нет тут никакой тирании. Почему ты не пишешь книгу?

Я отделался улыбочкой.

— Черновики-то у тебя готовы, — навел на меня Гумпель из-за очков осторожный взгляд.

— Пропали, — ответил я.

— Пропали?

Они не поверили, решили, что я их дурачу. Морочу им голову. Как? Когда? Что значит — пропали?

Когда я рассказал им, как несколько месяцев тому назад потерялась картонная папка, да так и не нашлась,

они погрузились в молчание. Шаул поглядел на меня большими глазами, точно пытаюсь разгадать загадку. Гумпель сидел, положив руки на стол, уставившись на меня. Стекла его очков потускнели. Дым сигареты Эвьятара витал вдоль стен, по которым еще бродили тени горьких воспоминаний.

— А может, так и лучше... — задумчиво протянул Шаул. — Вообще-то, так оно и лучше...

Гумпель вопросительно глянул на него.

— Вообще-то, так лучше! — укрепился Шаул в своей мысли. — Для чего нужны записи со всеми этими подробностями? Кому это важно — что именно было в таком-то и таком-то году в таком-то месте? Он был человеком, этот Давидов! И интересным! Противоречия! Борьба! Трудности! Кому нужна книга воспоминаний о "герое своего времени" или я там знаю что? Забудь все то, что тебе рассказывали! Опиши его таким, каким ты видишь его, — все прочее совершенно неважно!

— Это не то, что от него требуют, — процедил Эвьятар.

— Ишь ты, требуют! У кого это есть право требовать? Он пишет потому, что ему это заказали? Можно заставить его?... Я не понимаю тебя, — обратился он ко мне. — Ты полтора года собирал материал о нем. Ты хорошо знаешь его! Что же тебе мешает? Зачем тебе связываться с судами?

— Я уже ничего не напишу, — сказал я.

— Почему? Почему не напишешь?

— Запутался.

— В суде?

— В самой теме.

— Так это же хорошо! — воскликнул он. — Осложнения! Личное отношение! Это именно то, что нужно! Как же ты думал писать о нем? Круглым почерком? С завитушками? Высокими фразами? Глядя вытаращенными глазами на титанов, которые проживали в этой стране? Напиши о человеке, которого звали Давидов — вот и все!

— И это все? — обратился к нему Гумпель свой профиль с глубокой тенью.

— Да, это все! — уверенно повернулся к нему Шаул. Но, точно ударил ему в глаза слепящий луч, смутился: — А что ты имеешь в виду?

— Я спрашиваю, так ли уж важна *личная* сторона дела. Может, все-таки, что-то другое?

Шаул вперил в него взгляд. Казалось, что он дивится на самого Гумпеля больше, чем на то, что он сказал.

— Я не знаю — что значит важно, — презрительно буркнул он. Потом сузил глаза: — Кому важно?

Гумпель поежился:

— Нам. Сегодня. Вообще.

— Важно, неважно — какая чепуха! И вообще, я не понимаю, чего ты хочешь? Я прочел все твои статьи и ничего в них не понял. Теории! Исследования! Зачем все это? В литературе нет теорий. Есть побуждения — и только!

Гумпель не ответил. Эвьатар сидел понурившись, окруженный призраками, и пытался отогнать их сигаретой, прилипшей к губе. Наконец, он сунул пачку сигарет в карман и встал. Тут же вскочил и Шаул. Уже с порога он сказал:

— Произошло чудо, Йонес. Если бы черновики не пропали — ты должен был бы сжечь их. Теперь ты можешь приступить к книге.

Гумпель остался. Сидел, понуриив голову. Тонкая, бледная кисть его руки лежала на столе.

— Все-таки жалко... — криво ухмыльнулся он.

— Чего?

— Да, записи эти... и вообще...

Я вспомнил о его "Против идеократии", о составленных им "Тринадцати принципах неверия" и удивился — о чем это он сожалеет. Он снял очки и достал из кармана платок. Без очков глаза его выглядели более узкими, строгость взгляда исчезала.

— Не поверишь, а ведь я когда-то преклонялся перед ним, — прилежно протирал он очки, держа их возле колена.

— Перед Давидовым...

Гумпель приехал в Израиль с другими детьми из Тегерана когда ему было двенадцать лет. Первые четыре года в Стране он провел в кибуце. Туда, рассказал он мне, как-то приехал Давидов на целый месяц, — руководить курсами ротных командиров. Все это время Гумпель мог, — правда, издали, — но все же видеть его. Давидов был воплощением его — подростка Гумпеля — идеала; он был человеком именно того Израиля, о котором мальчик мечтал *там*. Когда в школе задали сочинение на тему "Мой любимый герой", Гумпель написал о Давидове.

— В последнее время я вспомнил о нем и о книге, которую ты собирался писать, — снова нацепил он очки, — в связи со статьей, которой я сейчас занимаюсь — о проблеме самоопределения. Назову ее "Дерево и крона". Это из одной талмудической дискуссии.

— Дерево и крона? — удивился я.

— Когда-то я был знатоком Гемары... — усмехнулся он. — В трактате Маккот есть такие рассуждения: если крона дерева выходит за пределы участка, на котором находится ствол этого дерева, то оно не принадлежит хозяину участка. Если же, наоборот, крона находится над участком, а ствол — вне его, то оно — собственность хозяина участка. Я же убежден, что определять надо по корню.

Я заметил, что это находится в полном противоречии с тем, что он писал два года назад.

— Противоречие? — выпучил он на меня глаза. — Может быть. Все меняется.

Ему было неловко. Сидел, поживаясь, точно на колючках.

— Беда в том, — сказал он, — что у нас нет ощущения настоящей культуры. Мы находимся в состоянии "иронического субъекта", как писал Кьеркегор. Мы создаем, что наше существование неполноценно, но у нас нет никакой гипотезы относительно будущего, да и никакого взгляда на прошлое. И даже на самое недавнее прошлое. В этом смысле книга о Давидове...

Неловко убирая руку со стола, он опрокинул стакан

с чаем. Желтоватая жидкость намочила его рукав. Он испуганно вскочил и вытер рукав платком. Потом смахнул платком остаток чая со стола.

Выходя, проговорил:

— Когда ты сказал, что записи пропали, — я прямо похолодел. Как будто он умер...

38

Утром я проснулся от нестройного стука шагов, поднимающихся по лестнице. Снова та же тревога: посыльный из суда? Представитель издательства? Налоговые чиновники? Дверца на крышу скрипнула на ржавой оси, и я услышал, как госпожа Зильбер приглашает кого-то: "Пожалуйста, сюда, господа". Я встрепенулся и вскочил в брюки. Шаги остановились прямо у моей двери и кто-то прохрипел: "А это что? Его?" Госпожа Зильбер ответила: "Это всегда стояло так, завернутое. Он никогда не разворачивал его". Минуты две продлилось молчание, потом шаги пошли дальше по площадке, и я услышал гнусный скрип двери кладовой. Слава Богу, не ко мне.

Я вышел на залитую солнцем крышу и приблизился к этому хламовнику, который сейчас был заполнен широким снопом света, влетающим через раскрытую настежь дверь и украсившим нимбом золоченой, сияющей пыли головы трех мужчин, зашедших внутрь. Они молча рассматривали глиняную статуэтку, поставленную на вытянутую ладонь одного из них. "Это господин Йонес, квартирант, он живет теперь в его комнате", — указала на меня хозяйка; ее лицо выражало одновременно и радость, и тревогу. Трое на секунду обратили на меня взгляды, слегка кивнув головами, и снова вперились в лепное существо — девушку с кувшином на плече. Госпожа Зильбер подошла ко мне, отвела меня в сторону и возбужденно зашептала: "Комиссия из музея. Хотят устроить выставку Полищука". — "Да? — удивился я. — Как это они

вдруг про него вспомнили?" — "Мне кажется, что какая-то дата или что-то такое, — ответила она. — Вчера пришел специальный представитель, чтобы предупредить меня, а вот утром... Я так счастлива. Наконец-то!..." — "И заберут отсюда все это?" — "Для того и пришли. Посмотреть. Может, все. Может, только то, что понравится. Увидим".

Я снова подошел к двери и увидел, как коротышка с венцом седины вокруг лысины копается в корыте, вылавливая из него кружок пляшущих хору; плясуны выставили левую ногу и положили друг другу руки на плечи. Он вцепился в подставку обеими руками и вопросительно глянул на остальных. Великан с густыми бровями и орлиным носом запыхтел: "Неплохо... Есть ритм... Интересная организация пространства... Напоминает романтику "башни Давида"... Ваше мнение, доктор?" Доктор, стоявший с кислым лицом, засунув руки в карманы пиджака, презрительно пожал плечами. "А там что? Тоже его?" — повернул он голову к полке в углу, на которой стоял мраморный бюст женщины с толстой косой, венком лежавшей на голове. Все трое уставились на бюст. "В манере Аристиды Майоля, а?" — произнес высокий после долгого раздумья. Лысый коротышка снова склонился над корытом, извлек из него высокого стройного юношу, занесшего молот жилистой рукой, и выставил его на обозрение. "Разумеется, подражание Родену, — снисходительно улыбнулся высокий. — Но очень пластично. Чувствуется владение материалом. Обратите внимание на ступню. Щиколотка..." — Послушайте, господа, — нетерпеливо заговорил доктор. — Вопрос в том, что мы хотим предложить публике — воспоминания или произведения искусства? Если воспоминания — пожалуйста. Вытащим все, что есть в этом корыте, и можем наполнить целый зал. Но вы знаете, что я думаю по этому поводу: это будет катастрофа! Ну, взгляните, — взял он молотобойца в руки и повертел его туда-сюда. — Даже в Союзе теперь так не лепят! Нельзя же, в конце концов, повернуть стрелки часов вспять, к вре-

менам "башни Давида"! — он поставил статуэтку на старенький столик и стряхнул с рук пыль. "Вы ошибаетесь, доктор, если считаете, что публика этого не примет, — усмехнулся великан. — С восторгом! Старое нынче в моде. Старые песни, воспоминания о временах..." — "Если так — давайте им всякую чушь! — сердито замахал доктор руками. — Давайте им всякую чушь! Вопрос в том: опускаться ли нам до вкусов публики или же наша задача — *направлять* ее. У меня тоже есть свои сентименты к эпохе Шаца, но я не поставлю свою подпись в защиту такой... такой патетики... провинциального героизма... Это невозможно, господа, при всем моем уважении к покойному..." Лысый был весьма огорчен. Госпожа Зильбер кипела от возмущения и изредка бросала на меня взгляд, зовущий к борьбе. Доктор собрался было уходить, но высокий вытащил из корыта юношу в шерстяной шапочке, сжавшего в руках автомат. "Вгляните, доктор, — попросил он. — Интересно, все-таки... Угловатые линии лба..." Тот повернулся к статуэтке и, взявшись за нее двумя руками, отломил юноше ногу. "Раскрошилось", — виновато пробормотал он, по-детски пытаясь приставить ногу на место. Отчаявшись, положил обломки на стол. Госпожа Зильбер готова была взорваться.

Трое вышли и, подойдя к моей двери, вновь задержались возле большой статуи, завернутой в мешковину. Доктор ухватился за свисший край тряпки, пытаясь отодрать ее, но она накрепко прилипла к глине и расплзалась на волокна. "Нет ли у него наследников, чтобы позаботиться об этом добре, чтобы оно не погибло?" — обратился он к госпоже Зильбер. Та не ответила.

Когда они спустились по лестнице, попытался и я отодрать тряпку от мощного, высоченного тела статуи. Она прилипла, как бинт к засохшей ране, и когда кусочек его оторвался, то похоже было, что с ним оторвался и кусок живого мяса. Никогда я, видно, не узнаю, чье изображение стоит у моих дверей.

Мне следует рассказать еще о последней, печальной встрече — с Ципорой, женой Давидова.

Я приехал в эту эвкалиптовую рощу на краю города во время заката, когда мерцающее из-за деревьев золото сумерек еще лежало на опавших листьях и веточках, разбросанных по пыльному двору. На тропинке я увидел женщину, подметавшую метлой из прутьев каменные плиты перед баракком. Когда я подошел, она оторвалась от своего занятия и, взглянув на меня так, точно давно уже не видела человеческого лица, протянула: "Да?"

Я разъяснил ей — кто я и что мне нужно.

Она покосилась на меня, опершись на палку метлы. В ее непричесанной шевелюре переплетались черные и седые волосы.

— Книгу? Про Абрашу? Зачем это — книгу про Абрашу? — разглядывала она меня. У нее был острый взгляд, неожиданно молодой при такой запущенной внешности.

Я сказал, что книга пишется по просьбе многих, знавших его и преклонявшихся перед ним. Я спросил ее, не могла бы она уделить мне некоторое время и рассказать...

— Нечего мне рассказывать, — решительно ответила она. И, задумчиво поглядев на меня: — Да что я знаю о нем? Ничего ведь не знаю, — и снова пустилась подметать плиты, словно я уже ушел.

Я постоял еще немного, надеясь на то, что она передумает, потом извинился и поплелся прочь.

Пройдя несколько шагов по тропинке, я услышал ее голос:

— Эй, постой-ка!

Она быстро подошла ко мне, держа в руках метлу, и спросила:

— Тебе уже рассказывали о нем?

Я ответил, что записал воспоминания более чем двадцати человек.

Она долго, задумчиво разглядывала меня, опершись подбородком на рукоятку метлы. Потом улыбнулась странной улыбкой, чертиком скакнувшей в ее глазах, и спросила:

— И что же рассказали?

Я ответил, что мне поведали события его биографии от приезда в страну и до последних дней, заметил, что все были полны почтения к нему.

— Рассказывали, что он был героем, а?

— Рассказывали о том, что было, — ответил я.

— Так... — помолчала она, разглядывая меня.

— Ну ладно, заходи, раз уж пришел, — сказала она и зашагала впереди.

Ее высокие ботинки были запачканы сухой грязью, а серое широкое платье обнажало сильные мускулы ног над щиколотками. Из-за барака, прикрытые дражным толем, выглядели грядки с сочным высоким салатом, а за ними — скотный двор. Она поставила метлу у входа в дом и вошла первой.

— Садись, — на ходу бросила она и прошла во вторую комнату, служившую, по-видимому, кухней.

У стены стоял длинный стол, по обе его стороны — две скамьи. На одной стене висели на гвозде две сухие тыквы, а к другой стене кнопками был прикреплен рисунок углем без рамки, на котором были изображены ботинки с разлезшимися подошвами и распущенными шнурками. В углу стояла этажерка, сделанная из веток кипариса, а на ней в беспорядке громоздились старые книги, лежавшие одна на другой, тетрадки, квадратные и замасленные матерчатые мешки. За окном виднелся высокий коровник, сколоченный из грубых потрескавшихся досок, кривые кольца забора, несколько неподрезанных цитрусовых деревьев, могучие вершины эвкалиптов, на которых языками колоколов висели плоды.

— Это Нимрод рисовал, — заметила она войдя и указала на рисунок. — Есть еще. Много, — показала свертки на этажерке. — Я их не вынимаю. Сгнили, наверно. Он умел рисовать. Так вот.

Села против меня, уставилась тлеющими глазками и спросила:

— О Нимроде ты знаешь? Рассказывали тебе?

Я рассказал ей кое-что из того, что слышал сам. Она рассеянно слушала, потом вдруг прервала меня:

— Ты знаешь, что он был близоруким? Что *нельзя* ему было воевать? Нет, он не *должен* был умереть. Это было *жертвоприношение*. Ты *помнишь* этот рассказ: отец, Авраам, берет своего единственного, любимого сына и ведет его на гору Мория. Так это и было. В точности. Только ангела не было. Этой правды никто тебе не рассказал, — она выпрямила спину, ее маленькая рука вздрагивала на краю стола. У нее было лицо колдуньи и красивые, полные, потрескавшиеся от солнца губы.

— Кто тебя ко мне послал? — очнулась она.

Я упомянул Дотана, Харари, Швайга...

— Менахем Швайг? — жестко рассмеялась она. — Он тебя ко мне послал? Трудновато мне в это поверить. Ну, что он тебе рассказывал?

Я вкратце изложил ей сказанное Швайгом. Не дождавшись конца, она хлопнула себя по щекам и воскликнула:

— Так вот что он тебе рассказывал! Что Абраша поехал защищать Иерусалим, потому что здесь было тихо? Но это же *враки*! Он уехал потому, что дома ему не сиделось! *Никогда* ему дома не сиделось! Всю жизнь! На Мертвое море, в Негев, на Кипр — только бы не дома! Даже в тюрьму — но только не домой! Да ведь и в могиле он возле дома лежать не захотел! Зачем, ты думаешь, он просил закопать его в иерусалимских горах? Из-за Нимрода? Нет! Чтобы от *меня* подальше! Да, как можно подальше! Всегда! Даже после смерти! — Про бахчу он тебе рассказывал, Менахем-то? — подозрительно ухмыльнулась она.

— Про какую бахчу? — пытался я припомнить.

— Да нет, конечно не рассказывал! Зачем рассказывать о том, как у меня отсудили целый урожай арбузов за долг в сто лир в лавку, когда Абраша был на Се-

верной стене? О стене тебе, конечно, рассказывали, но не о том, что было *здесь*! Не о том, что я одна должна была — годами! — возиться с коровами, каждый день ходить в город с бидоном молока, копать в этих несчастных грядках, которые мы засеяли; не о долгах, которые он после себя оставил, не о мусоре, который я должна была сгребать, когда в бараке орала девчонка; и не о том, как я ночи не спала во время столкновений, в то время как он слонялся... Ты думаешь, я не знаю? Я все знаю. Все. И что на Мертвом море было, и что в Ханите, и на Кипре. Знаю. Птички носят весточки, а птиц у меня полно, слава Богу. Куда ни плюнь. С утра до вечера только об этом и слышала. Но зачем же об этом рассказывать? Это *некрасиво*! Некрасиво рассказывать о том, что жена Давидова носилась как ошалелая по городу, чтобы найти Реуму! — тут она наклонилась ко мне, придвинула лицо вплотную, и искры заискрились в ее глазах, когда она зашептала: — Ты знаешь, что в пятнадцать лет Реума уже была беременна, и нужно было делать ей аборт?... Об этом ты, конечно, не напишешь. *Нельзя* об этом писать!

Угольки ее глаз жгли мне лицо, в ушах звенело от тишины.

— Что же еще тебе рассказать? — когда она выпрямилась, снова появилась на ее лице та же странная улыбка.

Я молчал. Я стал бояться ее.

— У брата его ты был?

Я сказал, что был у него дома, и что он рассказал мне о приезде Давидова в страну.

— Он тебе, конечно, о скрипке рассказывал, о беженцах, о том, как много он для них сделал, о солдате-татарине... — усмехнулась она. Потом помрачнела: — Это же все смешно. Ты и в самом деле думаешь, что он мог бы принести себя в жертву, чтобы спасти какого-то солдата-татарина? А для *дочери* своей мог он пожертвовать чем-нибудь? Хоть *чем-нибудь*? Да ведь он *бросил* ее! А когда приезжал домой — он же *бил* ее! Он ее *погубил*! Почему, по-твоему, она в Австралию удра-

ла? Вот и *нет* у меня дочери!

Кисти ее рук лежали на краю стола, две маленьких, заячьих лапки; кончики пальцев были шершавы от земли.

— Ты знаешь, как на идиш говорят: кто хуже покойника? Слепая, вдовая и бездетная. Слепой я была вначале, вдовой — всю замужнюю жизнь, а бездетная я — вот уже долгие годы. От Реумы даже письма единого не получила.

Она не жаловалась, но говорила тяжело, как бы примирившись с горем. В жестких чертах ее лица была красота, в черных зрачках кипела буря.

— Ты писатель, верно? — глянула она на меня. — Тогда скажи мне, может ли человек любить *весь* еврейский народ, *все* человечество, а семью свою — не любить?

Потом, задумчиво поглядев на меня: — Да, Нимрода он любил. Верно. Но что он делал для него? Ты знаешь, что он всех нас готов был оставить во время войны и удрать в Европу? Он бы это сделал! А если не сделал — только потому, что я грозила ему! Угрожала, что детей придушу! Бессердечная я, верно? — хохотнула она так, что у меня по спине мурашки пробежали.

— Ты знаком был с Абрашей? — спросила она.

— Да, — ответил я, и рассказал ей о двух своих коротких встречах с ним.

Она не слушала. Лицо ее стало мягче, озарилось приглушенным светом.

— Красивый он был, а? — улыбнулась она.

Я кивнул головой. Ее улыбка задержалась на мне, точно она решала, могу ли я понять, что у нее на сердце.

— Книга уже написана? — спросила она.

Я сказал ей, что писать еще не начинал. Я собираю материал. Для того-то и пришел к ней.

— Вот, слушай, — тихо сказала она. — Про Абрашу много есть легенд. Много. А правду я знаю. Но зачем мне это рассказывать? Ты же все равно не напишешь. Что это будет за книга, если ты напишешь там ту прав-

ду, которую знаю я? Это будет мрачная книга. Нужна ли еврейскому народу мрачная книга о Давидове? Ему нужны легенды о героях! А раз так — пусть будет еще одна легенда! Напиши о дорогах, о Хагане, о Стене, о кораблях с иммигрантами... Напиши, что он был смелым, преданным родине, гуманистом и...

Она опустила голову и постучала пальцами по вискам, словно отгоняя внезапный приступ головной боли. Наступила глубокая тишина. Стайка птиц слетела с одной из верхушек деревьев и волной прокатилась вдоль окна.

— Все, — подняла она голову, щеки ее горели. — Нечего мне рассказать.

Я спросил ее, не смогу ли я получить какие-нибудь письма, фотографии...

— Нет у меня ничего! — рассмеялась она. — Ты же видишь, что нет у меня здесь ни одного его снимка, — указала она на стены. И снова я увидел в ее глазах печальные искры. — Все сожгла я, все. Снимки, письма, — все. Ледяное сердце, верно? Ты прав, все у меня давно отмерло. Ты видишь — был у меня сын, которого я любила, была дочь — любила и ее, был у меня Абраша... Было, и нет.

Встала и проводила меня до дверей. Когда я выходил, сказала:

— Забудь все, что я тебе наговорила. Это пустяки. Абраша принадлежит *народу*, как говорится. Для меня он умер давно. Не шесть лет тому назад. Шестнадцать, а может и больше. Народ любил его, и ты должен писать о нем только хорошее. Я-то все равно не стану читать, что ты там напишешь, — рассмеялась она.

Дойдя до конца тропинки, я оглянулся и увидел, что она стоит на пороге, прислонясь к косяку и приложив руку к щеке.

Что-то сжимается в горле. У меня такое ощущение полной опустошенности, словно я разрезал себе вены и вытекла кровь. Может быть, это осознание того, что пройдет еще очень много времени, Бог знает сколько, прежде чем я вновь возьмусь за перо. Вновь будут ничего не значащие слова, пугливое ожидание очередного заседания суда. Вставать буду поздно, ложиться — за полночь, по вечерам буду сидеть в "Подвальчике", болтая, зевая, размышляя об утраченном, продумывая рассказы, которые я не напишу. Полтора года оторвало от меня, точно руку. Боль-то утихнет, а чувство утраты?

Меня охватывает горечь разлуки. Я рассчитывал написать эти страницы за пять недель. Прошло пять месяцев. Я не спешил от главы к главе, чтобы растянуть удовольствие. О, это наивное заблуждение, что "исповедь" может послужить искуплением греха... Ведь я не вступил на путь праведный. Все равно я должник, удравший от своих кредиторов. Все равно с меня непреклонно требуют уплаты — словом, молчанием, вопросительным или осуждающим взглядом — все те, кто отдали мне все, что у них было, и те, кто хотят получить от меня то, чего не хватает им. Фунт плоти и крови подавай нам! Но никто не сможет отнять у меня то, чего у меня нет. Любил ли я своего господина или ненавидел его...

Итак, мне не остается ничего другого, как обратиться к ветру, разметавшему собранные мной воспоминания, и сказать ему:

Ветер, ветер, если ты найдешь рукопись книги о Давидове, рваные и мятые страницы которой носят где-то там по стране, — лист повис на кусте, лист скачет со скалы на скалу, лист прижался к каменной ограде или барахтается в песках, валяется на обочине какого-то шоссе, — не возвращай ее мне! Пусть уж лучше разлетятся эти буквы, чем собираться им у меня! Я не желаю держать в доме западню, гнездо копошащихся воз-

ле кровати воспоминаний, глаза, следящие за моими мыслями! Я хочу быть сам себе хозяином. Мне нужен покой.

Покой, — говорю я... Утром я был у своего адвоката. Он сказал мне, что разбирательство гражданского иска может растянуться и на годы. Бывает, что ему и конца не видно. Этим он хотел успокоить меня, сказать, что мне нечего бояться, что я могу твердо полагаться на отсрочки. Этот дурень не понимает, что пока на мне висит суд, я не могу начать ничего нового.

עיריית חיפה
מערכת חריבות הסכני
מרכז תוכנית עבודה
בית ארדסטין + ספריה
מס. מלאי.....

342

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД МОЙ
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов.
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ. Роман. Пер. с французского.

Автор (р. 1928) – французский писатель-еврей. "Последний из праведников" – его первое произведение. Это трагический мартиролог европейского еврейства, начиная с событий 12 в. в Йорке и кончая Освенцимом. События разворачиваются на фоне старинной еврейской легенды о тридцати шести праведниках.

Исаак Бабель. ДЕТСТВО. Сборник рассказов.

И.Бабель (1894–1939?) – писатель, павший жертвой сталинских репрессий, один из лучших прозаиков, которых выдвинуло наше столетие. Снискав всеобщее признание как величайший русский стилист, Бабель остался истинно еврейским писателем. Это выразилось не только в выборе сюжетов и персонажей, но и в самом глубинном смысле его произведений.

Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА. Роман.

Автор романа родился в Москве в 1938 году. В Израиле с 1972 года. "Присказка" – первая книга автобиографической трилогии "Легкая жизнь Симона Ашкенази". Трилогия отражает двадцатилетний период: с 1952 года, когда отец писателя, Перец Маркиш, был расстрелян, а члены семьи "врага народа" – высланы из Москвы в Казахстан, и до 1972 года, когда после длительной борьбы автору и его матери удалось вырваться из России.

МАКОВЫЙ ХОЛМ. Избранные рассказы. Пер. с иврита.

Семьдесят лет тому назад в районе Киннерета в Галилее были основаны первые кибуцы – и за истекшие годы они доказали свою жизнеспособность. Рассказы Ализы Амир, Ц.Арада, Ц.Луза, А.Мегада, А.Оза, М.Шамира, Н.Шахама и др. познакомят читателя с правдивой картиной жизни в кибуцах.